

ISSN 0132-0637

Октябрь

11 1996

Октябрь 1996

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1996

НОЯБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Главы из книги	3
Алексей ПУРИН. Пять стихотворений.	43
Валерий БЫЛИНСКИЙ. Июльское утро. Повесть.	46
Ольга АРЕФЬЕВА. И после смерти петь... Стихи	99
Генрих САПГИР. Два рассказа.	103

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под созвездием Близнецов. Анна ПРИСМАНОВА и Александр ГИНГЕР. Стихи. Вступительная статья и публикация Вадима Перельмутера	117
Возвращение к Вордсворту. Вступление Дмитрия Бака. Перевод с английского Игоря Меламеда	127

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- В. А. ТИХОНОВ, академик.
«...Я давний и убежденный рыночник». Предисловие
Николая Шмелева. Публикация Ю. Е. Тихоновой 130
- Алексей СКВОРЦОВ.
Достоевский и Ницше о Боге и безбожии. 142

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Алексей ЭТКИНД.
Хлысты, декаденты, большевики. Начало века в архиве
Михаила Пришвина 155

Панорама

- Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.
Бесконечная цитата. 177

Записки литературного человека

- Вячеслав КУРИЦЫН.
Любите сохранять добро 187

ОТКЛИК

- на книгу Дмитрия БЫКОВА «Военный переворот»
(Елена Иваницкая) 190

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 01.10.96. Подписано к печати 18.10.96. Формат 70x108¹/₁₆.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 700 экз. Заказ № 1042. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Славный конец бесславных поколений

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ*

ВРАНЬЕ ВРАНЬЮ ВРАНЬЕМ

Этот человек сейчас довольно известен, а я собираюсь рассказать о нем разные разности, и не все к его украшению, так что, чтобы не вышло сплетни, пусть он будет М.М., по первым буквам имени и фамилии.

Он появился в 8-м классе, здоровый бугай, года на два старше тех, кто пошел в школу семи лет, в частности, меня. Возрасты, перемешанные войной, уже выравнялись, но трое-четверо таких, как он, двигались к аттестату зрелости вместе с нами. Например, за одной партией со мной сидел малый, через год вступивший в партию. У М.М. был зычный голос, резкие жесты, стремительная походка и какая-то постоянная ошалелость. О чем бы он ни говорил, всякая тема дышала страстью, обидой и яростью — хоть черчение спичечного коробка в эксонометрии, хоть необходимость приходить в этот убогий класс и сидеть на тоскливых, мертвых уроках, хоть та жизнь, из которой он к нам приходил, полная взрослых мужчин, ночных приключений и женских имен. Глаза всегда горели, длинные волосы мотались по сторонам. Учителя его не любили и при этом старались не связываться: скажем, длинные волосы не то чтобы были под запретом, но никому в голову не могло прийти их отпустить, а он хоть бы что, и учителя косились, однако помалкивали.

Он хорошо, легко рисовал, нес свой полноватый крепкий торс с привлекающим внимание изяществом, умопомрачительно танцевал — не на школьных вечерах, куда ни разу не пришел, а на переменах, чтобы потратить энергию: вдруг высоко подпрыгивал, в воздухе ударял ногой об ногу, с места крутил несколько широких фуэте и, подпевая себе, проделывал серию отточенных агрессивных па гротескно рокового танго. Но все это шло сопровождением к главному таланту и замыслу: он был певец.

У него был баритон мягкого тембра, чуть сладковатый и порядочный репертуар, три программы: песни советско-патриотические, неаполитанские и интимные. Он начал петь в детстве, переждал, не тревожась, несколько месяцев, когда голос ломался, и сейчас был нацелен на великую артистическую карьеру. Это и многое другое он мне рассказывал, когда мы вместе возвращались домой после школы. Он уходил из школы в самых разных направлениях, я так и не понял, где он живет, но несколько раз наш путь совпадал, и тогда я, торопясь, время от времени подбегая, подпрыгивая, чтобы догнать, слушал его горячую, моторную речь.

Речь прерывалась — то к случаю, то по вдохновению — вокальными вставками. «Понимаешь, и никто, никто-о на свете не умеет,— запевал он по-

* Первые семь рассказов книги были напечатаны в журнале «Октябрь», 1995, № 11.

среди улицы, расставляя руки в стороны, как на сцене, — *лучше нашего влюбляться и шутить*. Никто! Лучше нас — никто. А они нас не пускают. Все оцеплено двухрядной колючей проволокой, заминировано ходом коня. Эстрада — их, и нам туда ходу нет... Слушай, ты не можешь со своими поговорить, чтоб меня-то хоть пропустили? Я все равно прорвусь, но поспособствуй, мы же друзья». Я спрашивал, с какими *своими*. «Значит, не хочешь помочь? *Помоги мне, помоги мне! Я тебя просла-авлю во псалме и гимне*. Не строй из себя это самое. С какими *своими*! С евреями — с какими еще? Их — власть сейчас, их — эстрада, их — опера. Даже русский балет, классический — их». Я сбивчиво объяснял, что у меня мама — врач-педиатр, папа — инженер-технолог... «Да шучу я, просто проверял. А ты всерьез. Вижу твою преданность *из далекого предмета Мадрида*».

То, что не пускают, не дают хода, затирают — было постоянной темой. Так же как призыв ко мне не зарывать собственного таланта. Обнаружить и дать ход. Убеждать, внушать, навязывать. Не давать им роздыху, подавать дарованием. Я спрашивал, какой же он предполагает во мне талант. «Да какой угодно! Покопайся в себе и найдешь. А не найдешь — выбери! Акварель, белые стихи, бег на сто метров с барьерами! Евреи будут скрежетать: «Талант — как деньги: или они есть, или их нет». Врут! Запомни: все всё врут. Запомнил? *Кармен не поет за деньги, потому что она — как птица*. Выбери и начинай долбить. Долбай, долбай, долбай! Сколько надолбаешь — твое. Говорят, в Америке есть художник, Бекасб фамилия. Заготовит в тазах жидкую краску, доведет себя опиумом до бешеного состояния и давай швырять горстями на брезент. И он у них — абсолютно первый. Курицу нарисовать не может, а спроси, кто лучший художник, — Бекасб. С детства решил: вы там рисуйте — король Альфонс в латах, барышня кушает черешню, балкон на закате дня, а я буду тюбики зубами перекусывать и краской харкать. И докажу. И доказал. Талант — не рисование, а плюс б в квадрате. А плюс б в квадрате все знают. А талант — это чего ты докажешь. Есть в Москве поэт непризнанный, но силы страшной, Пастернак фамилия. У него есть стих: *напор и темперамент — точка! напри — и бейся до конца!*»

Из девятого класса он ушел в вечернюю школу, так, во всяком случае, объявил, но через два года появился с разрешением из роно сдавать с нами экзамены на аттестат как «обучавшийся экстерном». Первый экзамен был русский письменный, сочинение. Страх перед ним нагнетался месяцами, годами, он обставлялся как принятие присяги царю и Богу, как литургия с человеческим жертвоприношением и одновременно как кульминационное сражение великой войны, как Бородино, когда в один и тот же миг, а именно в девять часов утра, по всей территории Советского Союза должны были взрывать пушки, танки, самолеты и помчаться по белому листу бумаги наши авторучки. Три темы сочинения на всю страну, и кто-то якобы уже звонил во Владивосток и узнал: «Обличение феодально-крепостнического строя в поэме Гоголя «Мертвые души», «Нравственно-психологический путь Ниловны в романе Горького «Мать»» и вольная — «Образ настоящего человека в «Повести о настоящем человеке» Полевого».

Без одной минуты девять. Открывается правая половинка дверей в актовый зал. Строем, вслед за директором школы, он же председатель экзаменационной комиссии, он же учитель этой самой словесности, входим в огромный двухэтажный зал и рассаживаемся по партам — по одному за каждую. На каждой стопка бумаги, листы нумерованы. Времени отводится шесть часов, три — на черновик, три — переписка набело. Три помарки — одна ошибка; две ошибки — минус балл. Члены комиссии занимают места (на пулеметных вышках занимают они места); за списывание — немедленное изгнание, за вопрос к соседу, равно как и за подсказку, — немедленное... Сталин умер ровно три месяца назад — тем строже к себе и друг к другу, тем бдительнее, тем беспощаднее станем сдавать русский письменный.

Директор вскрывает конверт (сейф). Что там: досланная — наконец-то! — с военной базы Лос Аламос спецификация к чертежу атомной бомбы? Списки намеченных на расстрел осенью 1953 года? Сверхсекретно, к сведению только членов Политбюро: темы сочинения на выпускных экзаменах в средних школах. Зря тратил деньги звонивший во Владивосток, да и не звонил он, трепач, никуда. Потому что: ««Лишние люди» в произведениях Пушкина, Лермонтова

и Герцена» (из бездны отчаяния, в трансе: «Герцен, Герцен-то причем?» — и задыхающийся шепот сбоку, заливающий бездну ипритом, фосгеном, жидким азотом: «Бельтов»), «Нравственно-психологический путь Павла в романе Горького «Мать»» и вольная: «Дед Шукарь как выразитель народного духа в романе Шолохова «Поднятая целина».

Десять минут десятого. Быстрыми шагами директор спереди, завуч слева сходятся у парты М.М. Встать! Выйти из-за парты! Где шпаргалки? Нет шпаргалок. А в кармане что? А в кармане ноты, ария Герцога из оперы Верди «Риголетто». Знаете: *Та иль эта, я не разбираю — красотою, как звездочки блещут, мое се-ердце любовью трепе-ещет, но не знает любовных цепей. Ласки милой для нас наслажденье, повторенье наскучит подчас, я сегодня от одной в восхищенье, но что делать, завтра то же скажу о другой.* Спел, ну не как со сцены, не в полный голос, а в аккурат для школьного актового зала. Так: от сдачи экзамена отстраняетесь, выйдите из помещения. А жаль, говорит, я бы блеснул на вольную тему «Дед Шукарь и Юлий Цезарь». И уже от дверей, через плечо: «Найман, ты-то хоть не трухай».

В то же лето с аттестатом, купленным за двести рублей и хитроумно им самим заполненным, то есть тройки-четверки, а по черчению, для правдоподобия, двойка, он поступил в Холодильный институт мясо-молочной промышленности, называемый в Ленинграде Холодилка — с оттенком теплоты. И вообще теплое местечко, куда шли типы вроде М.М., с фальшивыми аттестатами и талантом по вокалу, танцу и легкой атлетике и где их принимали. М.М. утверждал, что его зачислили на факультет мороженого, в группу эскимо. Эскимо на палочке стоило тогда 11 копеек. (Как говорил готовившийся свергнуть Ельцина Ручкой, «я помню страну, в которой колбаса стоила 2.20 килограмм».)

Как певцу ходу ему по-прежнему не давали. Правда, имя уже начинало звучать — на каких-то студенческих фестивалях и молодежных смотрах, переходящих один в другой и потому кажущихся постоянными. Но никаких консерваторий-филармоний, без которых пение ощущалось не до конца настоящим. Его пригласили (так он говорил — может, и сам напросился — короче, взяли) в знаменитый студенческий мюзикл «Весна в ЛЭТИ» городского, а потом и чуть ли не союзного ранга. ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт, почти сплошь мужской, и парни почти сплошь красавцы, этакого сочинского типа. Чемпионы города, и какое-то там место в первенстве страны по баскетболу — Мамонтов, Кутузов, броски с центра поля. Олег Мамонтов и Кутузов, если не ошибаюсь, Олег. Тогда имена их каждый знал лучше собственного, не ошибались. И наш М.М., стало быть, в их компании.

Но ненадолго. Сразу предложил одно заменить на лучшее, другое отбросить как пошлое, третье вставить как доходчивое. Пошлое начиналось, по его мнению, с увертюры: *Весна в ЛЭТИ, ты на пути, как птица, к лету, лети, лети, весна, в ЛЭТИ.* Как доходчивое же он стал пробивать — *доярка Марьяна в ЛЭТИ пошла, сто литров сметаны ЛЭТИ дала.* Практически шлягер, говорил он. «Я им предлагал шлягер, два, три, — рассказывал он после разрыва. — Нет. А) — нет связи со студенческими реалиями, пропадает эффект узнавания, и как результат — слабеет контакт с аудиторией. Б) — заглушается лирическая тональность, и как результат — слабеет контакт с аудиторией. В, Г, Д, Е. Я им говорю: уроды, я выйду, открою рот, и как результат — контакт будет, как вольтова дуга. Они мне: звонок, пой, что тебе говорят, и молчи. Вот именно, отвечаю, это у вас эстетическое кредо — пой и молчи. Они и слов таких не знали: эстетическое да еще кредо».

Перед последним курсом он взял академический отпуск по болезни — нарушение функций вестибулярного аппарата. «Отрегулировать надо аппарат, чтобы меньше вестибулировал... А вообще-то пора оглядеться, обдумать дальнейшую стратегию, свести кое с кем знакомство». На полгода уехал в Москву и вернулся «другом, помощником и учеником» (как позднее принято было говорить о Беккете по отношению к Джойсу) драматического тенора Георгия Нэлеппа, эстрадной звезды Марка Бернеса и чемпионки романса Тамары Церетели. Так он говорил. Бернес был его божеством. «Если бы он еще сам себе песни писал!» М.М. признался, что сочинил ни больше, ни меньше как два десятка собственных «песен — не песен, в общем, стихотворений» и ищет композитора.

На последнем курсе он женился. Лиза. Само собой, из Москвы. Глаза — антрацит, круглые колени, курит. Знает наизусть Кузмина и Ходасевича. И все оперы. Какую ни спросишь — может пропеть от начала и до конца. Больше без слов, а где и со словами. *Не испугаюсь я, не испуга-юсь я, и будет — так, как — я — хочу-уу.* Домашним контральто, немного в нос. *Если б милые девички...* И так далее.

1 мая я столкнулся с ним, выходя с Мойки на Невский после демонстрации — я уже работал на заводе тогда. Он выглядел немного несчастным, сказал, что вот-вот защита диплома, и, конечно, ему все, что нужно, начертят, и, конечно, он защитит, но от этих холодильных установок у него постоянно болит горло, и он так и не понимает, почему дымовая труба сверху сужается. Я запомнил число и в день защиты пришел по дружбе, так сказать, и для поддержки. Защита диплома на четверку считалась неудачей и была заметной редкостью, тройка ставила под сомнение сам диплом. Неся перед собой очередной чертеж, чтобы приколоть кнопками к демонстрационной доске, М.М. забыл про ступеньку кафедры, споткнулся и, спасая чертеж, стал валиться враскорячку на локти. Аудитория хотела сдерживать смех, но из-за нервного напряжения он вышел спазматическим, лающим. Заведующий кафедрой оглянулся, увидел М.М. задом вверх и произнес: «Вы что, клоун?» Один из чертежей он все-таки прикрепил вверх ногами. Когда наконец соискателей и гостей, после защиты выставленных в тесный коридор, позвали обратно, чтобы объявить результаты, имя М.М. не было произнесено. То есть пауза после последнего была такой долгой, что казалось, что список кончился. Как радиодиктор Левитан, объявляющий, что после кровопролитных боев нашими войсками оставлен город Харьков, завкафедрой решил: «М.М.— удовлетворительно». Тройка. Мы стояли порознь, встретились уже за дверьми и вместе вышли на улицу. «Ты там был?» — спросил он. У меня как раз развязался шнурок на башмаке. «Сволочи,— сказал он.— Четверку влепили. Мстят, потому что бездарности, я ведь изобрел совершенно новое в мировой практике эскимо — без палочки».

Дальше случилось то, что случилось: он получил известность. Об этих десяти годах его карьеры я знаю, в общем, столько же, сколько все остальные — по газетам и радио. Кроме консерваторской, была еще одна возможность выбиваться — из самодеятельности, или, как это официально называлось, из *народной* самодеятельности. Для народной он был, конечно, излишне замысловат, непрост, понимаешь. Что открытость на грани придурковатости у него напускная, видно было за версту, особенно на это именно натасканному начальству. Зато он брал горением, беззаветной преданностью искусству, уже непонятно, искренней или тоже наигранной, готовностью пустить руки в ход из-за неоправданной купюры в оперной партии, из-за недооценки и, наоборот, переоценки чьего-то голоса. Часто он так вел себя же во вред, путая начальству карты, наживая врагов, но этим-то и снижал, если не все исключал, их к себе подозрительность. Творческое рвение вписывалось в их концепцию искусства, больше того, придавало всей картине необходимое богатство красок.

Рассказывали, что при этом он сделал и то, чего можно было в конце концов не делать: подписал, не то даже сам написал письмо в осуждение Синявского и Даниэля. Я его никогда не спрашивал, но однажды он сам заговорил насчет неких посредственностей, которые, чтобы получить место под солнцем, действуют «левым образом», через Запад, и «нас всех подставляют». «Они, видите ли, Терц и Аржак, а я, значит, кусок помета. При моем корешении с Бродским мне это вообще торт именинный» — и палец вверх, на потолок, что тогда означало КГБ, присутствующее в виде устройств подслушивания.

Еще рассказывали — и в это я сразу поверил, — что на первом официальном творческом вечере, когда его вводили в должность, или, если угодно, он заступал на место разрешенного наконец вокалиста, после того, как он отпел программу от «Сагана там правит бал» и «Дывлось я на нэбо» до им самим сочиненного, начались вопросы с мест, и на вопрос «Кто ваш учитель?» он повернулся к представлявшему его во вступительном слове народному артисту, лауреату и т. д., весьма в ихнем певческом ведомстве могущественному, поклонился ему поясным поклоном и простер в его сторону руку торжественным жестом, который был покрыт аплодисментами зала. Я слышал эту историю несколько раз от разных людей с одними и теми же подробностями, и только в имени учителя они расходились: одни клялись, что он поклонился Рашиду Бей-

бутову из Баку, другие — Павлу Лисициану из Еревана, третьи — что Юрию Лаптеву из Киева.

Какого качества было его «корешение с Бродским», толком не знаю. Бродский до высылки был общителен выше средней нормы, знаком с множеством разнообразных персонажей, число которых еще увеличилось после его возвращения на заре славы. М.М., в свою очередь, знал пол-Ленинграда. Может быть, я их видел вместе, может быть, нет — сейчас не поручусь. Позднее, когда Бродский уже эмигрировал, М.М. говорил, что навестил его в ссылке: с гастролей в Котласе, где он пел вместе с хором Военно-морского флота, специально заехал. Я встречал людей, которые встречали людей, которые своими ушами слышали, что Бродский и до Нобелевской премии и после называл имя М.М. среди выдающихся не только певцов, не только исполнителей авторских песен, но и поэтов.

Меня он просил познакомить его с Ахматовой. Более того: взять с собой на день ее рождения. Вообще с завязыванием знакомств и с посещением дней рождения что-то было у него неблагополучно. Однажды мы столкнулись на улице, когда я шел с букетом и подарком к прелестной Стелле Вагич на двадцатипятилетие; он сказал, что пойдет со мной, хочу я этого или не хочу. Я не хотел: были причины мне с ним не являться, а лучше сказать, уж если с кем и являться, то не с ним. «А вот пойду, и что ты сделаешь?» Войдя, церемонно и медленно поцеловал ей руку и произнес: «Подарок — от него, а цветы — от нас». Так же точно он прилип ко мне через несколько лет в Москве, когда узнал, что я иду на скольколетие Аксенова, но к этому времени у меня уже был опыт, необходимая резкость выражений и, наконец, примитивно обманные уловки. Впрочем, торжество происходило в ресторане Дома литераторов, на этот случай закрытом для посетителей, но после полуночи мне показалось, появились лица, до того отсутствовавшие, и поди знай, не было ли среди них М.М..

Умоляя меня взять его на день рождения Ахматовой, он стал на колени. Правда, на ковер и, правда, тотчас взглянув под диван, откуда вытащил давно разыскиваемый мной «Паркер», который он, само собой, сунул во внутренний карман пиджака и отдал после десяти минут препирательств, в которых я выглядел как жадный и тупой сквалыга, а он менял амплуа от легкомысленно комического до хамски злодейского: «Чё ты, в могилу его с собой собираешься взять? Да и вещь-то — *мэйд ин Шанхай*: я тебе настоящий штатский подарю. Ой, ну ты для меня с новой стороны открылся: из-за куска дерьма так хипешить! Да нету у меня твоего «Паркера», на, обыщи». И при этом продолжал наседать с Ахматовой. Впоследствии, когда она умерла, он говорил, что побывал у нее «вместе с ансамблем рижских скрипачей». «Ну? И без твоего крохоборского сводничества провел с ней два часа, из которых час пел, как сумасшедший. И еще приглашала». Еще через несколько лет «еще приглашала» превратилось в еще одно посещение, осуществившееся. А недавно он позвонил (по случаю своего дня рождения, 60 лет соловью тем временем: сообщил, что я приглашен, но в ресторан и платит каждый за себя, и я ответил, что в этот день занят, а он: «Это твои проблемы»; научился уже) и сказал между прочим, что заканчивает книгу о «Петербурге как мифологическом феномене» и половина ее — о его встречах с Ахматовой. Я спросил, об одной или о двух. «Как выяснилось, я встречался с ней девять раз, — важно сказал он. — Не притворяйся, ты прекрасно это знаешь. Тем более что я тебя у нее несколько раз заставал».

«Паркер» и «платит каждый за себя» были, кстати сказать, таким же органичным его качеством, таким же всегдашним проявлением его налегающей на тебя натуры, как присвоение небывшего или бывшего не с ним его памятью, или в просторечии — вранье. Собственно, это была другая сторона такого присвоения. Он мог попросить твой новый носовой платок «один раз высморкаться, срочно» и, не сморкаясь, прятал за пазуху. Приходил в гости, удалялся на кухню и съедал-выпивал что-нибудь из холодильника. Когда вышел «Бег времени», Ахматова спросила, сколько взять на мою долю экземпляров, я заказал десять и несколько успел раздарить, а потом мама сказала, что заезжал М.М. и увез три книжки, как он объяснил ей, по договоренности со мной. Если отправлялись компанией в ресторан, он за момент до момента, когда приносили счет, ускользал в туалет или в гардероб: «в пальто за кошельком». С деньгами у него тогда действительно было туго. «Ты что, всерьез думаешь, что есть твое, мое, ее? — говорил он. — Тибетский хурулдан совместно с сионским синедрио-

ном выделили на нас определенную сумму. На кого на нас? Да вот хоть на нас с тобой. Сегодня ты из нее четвертной получил, завтра я. Подумаешь — «Бег времени». Ты бы мне так и так подарил, логично? А два экземпляра верну я тебе, верну, не плачь. Я сейчас пишу песню «Бык времени», это будет такой бемс, что все забудут этого твоего «Сероглазого короля». Ты не будешь знать, как избавиться от оставшихся экземпляров».

Смешно сказать, но «Бык времени» — как многие из читателей должны помнить — в самом деле стал песней десятилетия. Припев «С рюкзаком, с рюкзаком мы пешком за быком» разносился по всей территории Советского Союза — с эстрад, с клубных сцен, из забегаловок. Фокус был в путанице, которая из сюжетной «ты за кем? мы на ком?» превращалась в грамматическую «я на кем? вы по ком?» Оптимизм молодежи — туристской, геологической, советской — получался неподдельным. Песню перевели на венгерский, чешский само собой, но и на французский ведь. М.М. стал благополучен, переехал в Москву, вместо «пишу песню» стал говорить важно «делаю вещь». Исключительно ради объективности замечу, что той части, что из тибетско-сионских денег пришла на него, ни я, ни кто из знакомых так никогда и не увидел. На вождельные дни рождения он являлся с неизменной жестяной банкой «Абрикосового компота», который сам тут же и поедал. Двое мстительных наших приятелей проделали с ним его же номер: ушли из «Метрополя» за миг до того, как появился официант со счетом. Через четверть часа вернулись узнать, чем акция кончилась, готовые пойти выругать его из милиции. М.М. без тени беспокойства, уверенный, что никуда не денутся, придут, ел торт «Наполеон», прихлебывал кофе, прихлебывал ликер и курил сигарету «Герцеговина Флор», пачку которой заказал через буфет. «Я заплатил ожиданием и унижением, так? — оповестил он их беззлобно. — Доставайте вашу «капусту».

Его переезд в Москву выглядел закономерным следствием — и показателем — успеха, но толчок, подоплека имели отношение не к победе, а, наоборот, к поражению: от М.М. ушла жена. Забрала младенца сына и «вернулась на базу», как любили тогда шутить. Поговаривали, что узнала о его измене — или изменах — из его же собственной песни с рефреном «ты скажешь спасибо за чай, за сахар, а я заплачу за стол и белье». Тоже, кстати сказать, популярная была одно время песенка, в оруджавском духе, под гитару. Где-то такое *он с ней* снимает комнату на берегу залива, и пора уезжать, расставаться, и «чай-сахар» понимай символически и расширительно. Я слышал так, что якобы песню пустили по радио, когда М.М. и Лиза были дома, она вдруг повернулась к нему и *посмотрела*, и он чего-то забормотал, а потом прибавил, что «честное слово, все кончено» и «когда это было!».

Толком ничего не было известно, но через полгода она вышла замуж за Саню Тодоровича из нашего, то есть, стало быть, и из его, М.М., класса. Саня в школе был *никто*, один из, и только однажды стал знаменитостью, на несколько дней, когда его маму пригласили на пионерскую линейку рассказать, как она участвовала в заплыве по Волге Саратов — Астрахань. Уже в старших классах он открыл мне, что еще раньше она пробовала переплыть Ла-Манш — она тогда училась в Англии, но это страшный секрет. Задним числом вспоминаю, что мальчик он был нежный, интеллигентный и что у него был румянец, тоже нежный. Он стал инженером-химиком, вполне незаметным. Для М.М. это был сокрушительный удар — и из-за потери, и по самолюбию, причем дважды: *его* осмелились бросить и *ему* кого предпочли. Словом, как написал Пастернак Сталину, когда тот застрелил Алиллуеву, «кто знает горе мужа, лишившегося любимой жены!».

Горе мужа горем мужа, но как раз в это время мы с ним оказались за столом у общих знакомых, и один из гостей, провинциал, страшно смущаясь, сказал, что на днях помогал переезжать с дачи из их мест «такому Тодоровичу» с женой и сыном, и тот упомянул, что нас обоих знает, вместе учились. Я потупился, а М.М. неожиданно воодушевился невероятно. «Ты представляешь! — просяив, воскликнул он и стал внушать провинциалу: — Его жена — это же моя жена, его сын — это мой сын! Найман подтвердит. Вот это совпадение! Санькина жена — моя жена, Санькин сын — мой сын!»

В Москве М.М. стал жениться, разводиться, снова жениться, говорил напаво и налево, что у него шестнадцать детей, все его обожают, но не может же он всех содержать, а потому, чтобы никому не было обидно, не содержит ни од-

ного. Я встречал двух: один действительно любил, другая не могла слышать его имени. Их матери, как мне показалось, гордились главным образом тем, что он знаменитость, а они были его женами. Лиза, что называется, «пропала», иначе говоря, жила не в общей толкучке, а своей жизнью, с Саней и детьми. Я как-то раз с ней столкнулся в метро, спросил видится ли она с М.М., она сказала: «Что ты, там же сплошное пятидесятилетие комсомола», имея в виду присвоение ему народного РСФСР и бенефисный концерт по телевидению.

Он получил дачу от Союза композиторов в Барвихе, вернее, сперва полдаци, пополам с народным артистом по фамилии Цоб — украинец, играл на домре в оркестре народных инструментов. Дочка Цоба, энергичная дивчина, сошлась с ним и женила его на себе. Цоб, чтоб не мешать, переехал в городскую квартиру. Сейчас М.М. шестьдесят, молодой жене уже сорок. Оперных арий он давно не поет, репертуар все больше скатывается к задушевности, но выражающей чувства многих, не то класса, не то племени, не то возраста, хотя и с его собственными патентованными трогательностями:

Не угодно ли вдаль-с
Поглядеть из окошка?..
Ностальгический вальс
И всего понемножку.

Это, как вы догадались, из его главного *альбома* «Ностальгический вальс». В «Культуре» (когда-то «Советской») появилась о нем статья «Пафос прошедшего времени» — дескать, взгляд М.М., как правило, обращен назад, и это было бы печально, если бы он не отыскивал там, в былом, вещи, как правило, обращенные вперед.

И что? И все? Хе-хе! Не тут-то было. А талант!! А «долбай!»! Он позвонил, когда умер Бродский: «Все. Одного он меня оставил, в одиночку дальше идти. Ты моих ожиданий не оправдал: не было в тебе величия замысла, как мы с ним говорили. Появились сейчас новые, каждый день появляются, да что толку. Племя младое, незаконное, ублюдки. А я продолжаю быть под прожектором, понимаешь? И, пока я жив, прожектор с меня не сведут!» И что-то было в этих словах не то.

Что-то было новое, фальшь, которой прежде не было. Какое-то такое вранье в обычном его вранье, от которого обычное теряло статус вранья, превращалось из вранья в тухлую ложь наподобие пропагандистской. Из небывальщины в недействительность. (В завершённом виде я наблюдал нечто подобное несколько лет назад, столкнувшись на улице с поэтом, четверть века властвовавшим над умами и сердцами современников главным образом через слух. Вообще-то он всю жизнь вчуже внушал мне скорее симпатию: в конкретном зле не замечен и человек одаренный. Он начал говорить со мной об обидах, нанесенных ему нашими общими знакомыми. Слова свидетельствовали о боли, но он никак не мог попасть на подлинную интонацию. Взбирался из сентиментальной и сразу соскальзывал в патетическую, из одной неискренней в другую, в каждой фразе, в каждый миг. Все проходили мимо цели. Я видел, что он хотел, но уже не мог — не знал, какая какая. Всю жизнь употреблял интонации публичные, массовые и перестал чувствовать, своя это или чья-то, — чем подлинная и отличается от неподлинной.)

М.М. до такой полноты не дошел, но полнота в этом случае не главное. Главное — разрушение всех оппозиций, на которых стоит мир: белого — черного, целомудрия — разврата, правды — вранья. Пока он врал — ярко, естественно, постоянно, — не было сомнений в правде. Чем ярче и естественней, тем ярче и естественней становилась на другом конце диаметра правда. Это было сродни физическому наслаждению — слушать, как он врет, и постанывать: «Врешь! Ой, врешь!» Даже когда это задевало тебя и ты злился, правде ничего не делалось. Правда все-таки не истина, ее края размыты. В 7-м классе, еще до появления М.М., мы с восторгом наблюдали, как Олег Королев на спине ползет под партами к последней, где сидят студентки-практикантки из Герценовского института, как ползет обратно, ногами вперед, вылезает и, выдержав паузу, торжествующим шепотом объявляет: «Розовые!» Цвет трусов, которые тогда назывались трико. Как и все мои школьные и нешкольные истории, я рассказывал эту раз сто или тысячу. Через много лет она мне попала — без

имени Королева — в эссе Бродского «Меньше единицы». Когда мы встретились — в конце 80-х,— я сказал, что узнал свою байку, на что он отозвался: «Да? А я был уверен, что это случилось при мне». И я подумал: «Да? А знаете: может быть»,— потому что когда я в сотый или тысячный раз слышу рассказ про человека, друга рассказчика или его самого, который в детстве проглотил мамину серьгу, мне все равно, чей пищевод и из какого металла серьга, а не все равно только, кстати или некстати рассказано. А что до реального Королева, ныне, увы, покойного, то он, полагаю, сейчас предпочел бы оказаться безымянным героем у Бродского, а не персонажем моей исторической правды.

Когда я сдуру пересказал все это М.М., он заорал: «Да Оська мне звонил раз в неделю, и я ему по часу диктовал. Он только успевал записывать — и сразу в эссе. И про Олежку Королева он слово в слово за мной изложил. (Я: «С Королевым было до тебя».) Ты меня будешь учить, когда это было! И Нобелевскую речь половину я ему придумал».

По моим наблюдениям, с Бродского и начался распад его великолепного вранья. Когда объявили о Нобелевской премии, М.М. обезумел. В тот день я был за городом, вернулся поздно и по лицу жены понял, что что-то не в порядке. Она сказала про премию, я апробированно пошутил, что это не причина расстраиваться, и она прибавила, что звонил М.М. в маниакальном состоянии, захлебываясь: «Поздравь Тольку! Это наша общая победа, наша общая премия!»; тогда она сказала, что нет, его, Бродского, и он прорычал: «Будьте вы оба прокляты!» и — шваркнул трубку. В те дни он дал несколько интервью, в которых между прочим упомянул, что по приглашению лауреата летит в Стокгольм на церемонии вручения. В Стокгольме его не было, но он стал рассказывать про галстук.

Вообще-то про галстук рассказывал Рейн. Что, дескать, он, то есть Рейн, отыскал галстук, который в 1958 году был на Пастернаке, когда ему в Переделкине вручали королевскую грамоту о Нобелевской премии за «Живаго», отыскал и переслал с оказией Бродскому в Стокгольм. Через некоторое время то же самое, но от себя стал живописать М. М.: «Борис Леонидыч» перед смертью подарил этот галстук ему, он теперь «Осе», «Ося» прислал ему фотографию в этом галстукке. И тут как раз и я получил письмо от «Оси», и в нем абзац про этот достопримечательный подарок. Как говорит у Пушкина монах Варлаам, «давно не читывал и худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит»,— до галстучной в нашем случае. Стало быть: «...галстук, который якобы Б. Л. надевал при вручении ему того же в Переделкине. Галстук, конечно, от Ива Сен-Лорана, каковой фирмы тогда и в помине не было».

Уже не некий ползуций под партами Королев, да? И не некая фигуральная «наша общая премия», она же победа. Был галстук-то али нет? А если нет, то премия-то хоть от Нобеля была или от Ива Сен-Лорана? И «Живаго» называется роман или, наоборот, «Мертваго»? И Пастернак, тот, который, как получается, никаких галстуков М. М. не дарил и вообще в глаза не видел, сам-то он был? Или это, как сообщал в 1958 году через кроссворд журнал «Огонек», «по горизонтали: однолетнее огородное растение», девять букв, первая — пэ, последняя — ка? Петрушка не подойдет?

И тут звонит ни больше ни меньше как Саня Тодорович. Я бы сказал — ниоткуда: вот уж кого *никогда нигде никаким боком* не было, разве что в плюс квам перфекте, что, как известно, выражает полную смерть когда-то бывшего. Звонит узнать, видел ли я вчера по телевизору интервью М. М., и поскольку я не видел, а он тоже не видел, но ему рассказали видевшие, то он спрашивает моего совета, как поступить. Интервью было опять-таки о Бродском, и М. М. выступал в двух ролях, близких по содержанию: местоблюстителя и того «одного», которого нам покойный теперь оставил. Во второй он, естественно, должен был говорить о себе и о себе как о фигуре выдающейся, потому что не стал бы Бродский оставлять вместо себя человека обыкновенного. И, вспоминая детство, М. М. рассказал, что его мать была известным в Европе философом, училась в Лондоне и переплыла Ламанш. Что все это она — и тем самым М. М. — долгие годы должна была из страха перед репрессивным режимом скрывать, и даже звания чемпионки СССР по дальности заплыва ее лишили, а между тем она преодолела расстояние между Саратовом и Астраханью вольным стилем без остановки.

«Ты знаешь, я ему позвонил, — сказал Тодорович, — все-таки это моя мама. Моя единственная мама, и я ее очень любил, понимаешь? Я ему сказал: как же так, это моя мама, а ты говоришь, что она твоя; мало того, что ты бросаешь на нее двусмысленную тень, ты же и память своей оскорбляешь. И он мне отвечает, совершенно дружелюбно: «Санек, мы все, что могли, давно поделили, так? Сейчас-то че ты в бутылку лезешь: ну, твоя проплыла, но и моя могла проплыть, верно?» Я ему тогда в школе тоже по секрету рассказал, как и тебе. Хотел понравиться. И вот не знаю, принимать какие-то меры или не обращать внимания. Или, может быть, нам с тобой совместно выступить с протестом?»

Я подумал, что дошел он в своем шалаше до представлений о мире несколько идиллически-утопических, если собирается «выступить с протестом» и меня приглашает в свидетели. Оказалось, были у него на такой план основания вполне реалистические. Потому что рассказал М. М. в том же интервью, как он навещал Бродского в ссылке. «Я хотел приехать на его двадцатипятилетие, но гастрологи задержали. На двадцатипятилетие там были Найман и Рейн. Они уехали, я на следующий день приехал. Оси нет, забрали в местную тюрьму за то, что не справлялся с заготовкой силоса. Я в тюрьму. Подхожу, и вдруг он выходит из дверей с конвоиром, а в руках два белых эмалированных ведра, на одном написано «вода», на другом «хлеб». Я навещал его каждый день, и так тяжело было смотреть: ватник, тяжелые ватные штаны и два этих ведра в руках».

«Не у тебя ли, — говорит Тодорович, — я это читал в книге об Ахматовой?» Отвечаю, что, кроме ватных штанов, слово в слово и звоню М. М. Или говорю ему, я вру или ты, или Бродский всем навстречу выходил с белыми ведрами «хлеб» и «вода». И он мгновенно отвечает: «Про ведра — это ты придумал. Я только использовал». И я, конечно, рассмеялся. И он. И в тюрьму, продолжаю, ты не ходил. «Я?! Вы же уехали, так или не так? А я приехал. Он все еще в тюрьме. Верней, тогда, когда ты был, его выпустили, а потом опять посадили, за другое уже, за силос. И я каждый день его навещал. Двадцать дней я там провел». Тюрьма, говорю, в тридцати без малого километрах от деревни. С искренним изумлением: «Да? И без паузы: «И я двадцать дней, каждый день: тридцать километров туда, тридцать обратно. Вы-то уехали. А я — сколько? — тысячу двести верст ради него нагулял».

А заодно, говорю, скажи своей жене, чтобы не распускала про меня злокачественные слухи. Будто я вычеркнул твое имя из книги Аманды Хэйт, когда ее переводил. Во-первых, я ее не переводил, а предисловие к ней писал, а во-вторых, нет твоего имени в хэйтовской биографии Ахматовой. Нет, потому что не занимал ты, дорогой, в жизни Ахматовой места. «Ты, значит, занимал, а я, поэт с мировой славой, не занимал?» Я опять не удержался, рассмеялся. «А жена моя, урожденная Цоб, — продолжает он как ни в чем не бывало, — которая сейчас как раз рядом со мной, — женщина, чтоб ты знал, во-первых, исключительно энергичная, а во-вторых, психически ненормальная, и я ее словам значения не придаю».

Вот это «придумал» и «вычеркнул» было самым восхитительным. Все на свете было придумано — ведра «хлеб» и «вода», — придумано мною, и если бы мне удалось убедить его, что так-таки было, он сказал бы, что, значит, кто-то другой придумал, инсценировал этот выход Бродского из бревенчатой коношской тюрьмы — начальник тюрьмы или секретарь райкома: возьми, мол, ведра и выходи на крыльцо — там сию минуту твой дружок в калитку войдет. Если же все придумано, а не было, то принадлежит всем и в то же время не принадлежит никому, потому что придумано — как Дон Кихот и Анна Каренина. И у меня был друг, который (а еще достоверней: и я) наквасился один раз так, что, вот те крест, полез останавливать ветряные мельницы. И у меня одна баба знакомая под поезд бросилась. И, как всякий вымысел, это может быть куда угодно вписано и откуда угодно вычеркнуто.

Его жена — это моя жена, и его сын — это мой сын. В некотором *высшем* смысле так оно и есть, потому что в некотором *высшем* смысле Лиза — блудница и как таковая может считаться женой и ничьей, и обоих, равно и сын с известной натяжкой, как Моисей — сыном и еврейки, и дочери фараоновой. Но ни в каком самом трансцендентном смысле мать Сани Тодоровича не может сделаться матерью М. М. В Высшем смысле — не некотором, а единственном — у Бога, как любому известно, каждый — на исключительном учете и каждый его миг и шаг, то есть его *прошлое*. То прошлое во всей неуменьшаемой полноте и

во всякой неускользающей подробности, с которым каждый является на тот свет и на тот суд. Кто с ведрами, кто — глядя на эти ведра, а кто — глядя на свое телевизионное интервью.

Я представил себе, что говорю это М.М. Вернее, я мысленно так и говорил ему. Все эти годы со дня его появления в 8-м классе, думая о нем или вспоминая его, я мысленно к нему обращался. И на этот раз он ответил:

— Не любому, не любому! Не любому известно, что все у Бога на учете, да еще на таком. Мне вот неизвестно.

— Но что-то в этом роде все же допускаешь. Сочинил же ты на смерть Стеллы Вагич «Мы встретимся с тобой в небесном Сестрорецке, мы поглядим со звезд на Оксфорд и Вермонт».

— Скорее фигурально, общепозитически. «Тот свет, тот суд». Будущего, как любому известно, ни подтвердить, ни опровергнуть.

— А как насчет прошлого?

— Все что угодно. Все подтверждаю и все опровергну.

— А хоть про что-то мог бы сказать, что точно оно у тебя было или точно не было?

— Не-а. То, что было, ничтожно по сравнению с тем, что что-то вообще было: это, другое, со мной, с кем-то. Было — единственная истина. А что — это то, что перемальвает одно другому кости: мама, папа, Борис Леонидыч, Ося, «Паркер». Помнишь, как сказал Мандельштам — «вранье вранью враньем хребет ломая».

— Но тогда почему все себе в барыш: и мама, и Ося, и «Паркер»? И все за чужой счет — хорошо ли, а?

— Небось от вас не убудет. У меня, как видишь, своего прошлого нет и не было никогда. Но у меня есть Прошлое. Просто Время, Прошедшее, шестьдесят лет, тридцать с чем-то миллионов минут. И вот у меня его отбирают, скоро отберут. Ты знаешь, как это ужасно? Не знаешь — у тебя же есть еще *тот свет*. А у меня, как у Базарова, только таблица элементов. Дайте пока-то пользоваться. Что мне делать, что того света нет!

— А мне что делать, что он есть?

— Вот именно. Что нам делать, что делить!

ТРИ-КОТЕЛКА

Послевоенные годы — сороковые — лучше всего было прожить ребенку или подростку. Старших жизнь колотила-молотила, каждый день придушивал, будущее подавляло беспросветностью. Молодым людям, увлеченным своими молодыми делами — влюбленностью, внешностью, тоской и восторгом, — она наносила внезапный тупой удар, называя его «пришло время»: пришло время выбирать между неприятным и неприятным, ломать голову над беспощадными абстракциями книг, зарабатывать, вместе со всеми подлечь или — с другими всеми — страдать. Детей же и подростков все это касалось, как ветерок, летом нежный, зимой румянящий щеки, иногда надувающий в горло ангину, но и в ангине был свой чай с малиной. Даже постоянное подголаживание становилось видом развлечения: все эти «со'рок» и «рубани'» на переменах, то есть дай долю от принесенного из дому завтрака, и на этой основе завязывание и распад дружб и вражд.

Ежедневная забота взрослых, как прокормить семью, их фанатическая сосредоточенность, например, на мукé, которую на Ноябрьские и Майские, а то и на Новый Год, *выдавали* по числу членов семьи, присутствующих в занимаемой с ночи очереди, порождала в нас, пяти- и даже восьмиклассниках, отвлеченный душевный подъем и веселье, апофеозом чего становилось хоровое пение всем классом, когда учитель появлялся в дверях: «Отпустите нас домой! За мукой, за мукой!» — и снова, и снова с подстукиванием крышками парт. Дисциплина в школах была, мало сказать, строгая — почти армейская. Второгодники считались отпетыми мужиками, считалось, что их путь — через ремесленное училище в колонию для малолетних. Четверка по поведению в четверти каралась вызовом родителей на педсовет и сообщением на службу, четверка годовая — исключением из школы, тройка — «волчьим билетом», то есть запретом на поступление в другую школу. В табелях успеваемости была графа «прилежание».

Прилежание! Уроки чистописания продолжались до четвертого класса. Говорили, что Сталин обожает дореволюционную систему образования и хочет ее превзойти. Родители за двойки пороли, учительница математики в седьмом классе била по рукам выдвигающейся на два метра линейкой. Но за мукой отпускали. Делали, так сказать, послабление, улыбались — это было как негласное разрешение за шинелью в обтяжку оставлять этакую пазуху: все мы, дескать, люди, все мы человеки.

Чистописание естественно и свободно сочеталось с ремесленными училищами и школами ФЗУ, фабрично-заводского ученичества, этакими диккенсовскими работными домами, куда центрифуга пролетарской диктатуры отшвыривала сомнительное юное сырье. (Бывало, что приезжала в городок, в рабочий поселок команда на грузовике, отлавливала прямо на улице мальчишек — как дворняжек, — забрасывала в кузов, отвозила в городишко покрупней, а то и в крупный, потом сообщали родителям, где дети и по каким дням можно их навещать.) Отцов ремень и линейка уживались с бритвой между указательным и безымянным отроческими пальцами, которой можно было «расписать» сумку, пальто и просто физиономию. Хожение по кругу в рекреационном зале под наблюдением дежурного педагога — с колонией, куда забирали прямо с уроков, откуда, отсидев, приходили обратно к школе, чтобы что-нибудь отнять, «сделать облом», «научить свободе». В круг чтения более или менее на равных входили Вальтер Скотт, «Пионерская правда» и описание женского устройства и применения — затрепанные листки, полуслепые копии, которые читали, сгрудившись, в школьной уборной.

Так было уже в 47-м году. 45-й — 46-й, оставаясь еще взбудораженными войной, заряженными ее анархией, пусть и на излете, никаких правил не соблюдали и из всех рамок выламывались. В четвертом классе сидели рядом десятилетние сопляки вроде меня и фронтовики лет восемнадцати в гимнастерках и с медалью. Маменькины сынки, *гогочки*, не так давно родившиеся, и уголовные рожи, сами уже всюю производящие потомство. Через год они «отсеялись», попросту говоря — исчезли, как и многие второ- и третьегодники, которых война органически производит и накапливает.

Действительность — вся, а не только школьная — оказывалась мужской. Женский пол был исключительно функционален: матери, учительницы, продавщицы, врачи. Женщин на улице двигалось и по очередям стояло количественно больше, но они выглядели скорее частью пейзажа, как окна домов, или трамваи, или кустарник в сквере. Людьюми, публикой, той жизнью вокруг, которая всем видна без специального взглядывания, были мужчины. Решительное, по большей части агрессивное выражение лиц, настроенность на действие, взведенность внутренней пружины, готовой выстрелить жестом, дракой, отчаянным криком, делали заметными только их или тех женщин, которые были на них похожи. Многочисленные инвалиды, или, как их уважительно и почти официально называли, «калеки» («Калека, вы выходите на следующей?»), привлекали к себе внимание не только сами по себе как существа с человеческим телом необычайной формы, но и истериками-спектаклями с разбиванием витрины костылем, со скорпионоподобными, не щадящими ни кого, ни себя бросками в толпу.

Полуметром ниже, на высоте глаз подростка, насыщенность мужским еще увеличивалась. Школьное обучение было отдельным, и с раннего утра до первых сумерек жизнь состояла из мальчиков, мальчиков, мальчиков, сотнями в тысячах комбинаций мечущихся вокруг. Улица кишела ими же, только более озабоченными, напряженными от инстинктивно ощущаемой, хотя и неопределенной угрозы, от постоянного ожидания стычки. Тут, на поле, мало что — отсутствие униформы да тень физиономической индивидуальности — отличало их от низкорослых, злых, с землистыми лицами, человечков в черных мятых гимнастерках и штанах — *фезеушников* и *ремеслухи*. Эти, в свою очередь, сливались, особенно на ненаметанный взгляд, со *шпаной*, быстрыми, беззвучными малолетками, в чьих отсутствующих глазах единственным человеческим чувством изредка вспыхивала безжалостность. Пространство, в котором находились взрослые, было более разреженным — они смотрели поверх наших голов.

Женские школы находились невдалеке, в нескольких домах или кварталах от мужских, в нашем случае и вообще за стеной: старое большое здание Петер-

школе когда-то поделили пополам, так что на каждом этаже осталось по общей двери. Их не просто заперли, а и заколотили, но мгновениями визг перемены у девочек, приглушенный, все-таки, врывается в рев нашей. Украдкой от дежурящих учителей можно было заглянуть в скважину, первоначально также забитую, но с годами расковырянную, и увидеть на миг подола платиц и косицы. Это видение да еще стройная или, наоборот, пышная телесность молоденьких учительниц и на неделю учебной практики появлявшихся студенток довольно точно выражали содержание и долю самостоятельно женского в мире.

Класса с 7-го начиналась пора совместных вечеров, взаимных — в разных видах — приглашений, пробных контактов. В тесных границах нескольких улиц, на площади в один квадратный километр, размещалось по три—пять мужских и столько же женских школ. Предварительно вели переговоры о встрече разнополюсные председатели советов пионерского отряда, вскоре неуследимо превращавшиеся в секретарей комсомольского комитета. Пионерами были все, почти все становились комсомольцами, так что организацию вечера вполне могли взять на себя старосты классов, но надвигающаяся игра кровей и гормонов обещала такое падение идеологической температуры, что идеология, чтобы хоть как-то возместить грядущие утраты, брала фору, выставя своих лучших бойцов на самых отдаленных подступах к событию.

Событие совершалось в актовом зале школы, на которую падал жребий. Часам к семи вечера, что само по себе было волнующим вызовом суточному распорядку, на это время назначавшему *ужин, внеклассное чтение, помощь по дому и чистку зубов перед сном*, в школьную дверь, толкаясь, вваливалась ватага юнцов или впархивала стая девиц, бросала мгновенные дикие взгляды на антиподов или, наоборот, решительно не замечала их, рассаживалась, не перемешиваясь, по рядам деревянных скрипучих стульев, и силами хозяев начиналась художественная часть. Обычно это было не больше двух декламаций — «Песня о буревестнике», «Русь-тройка», вокальный номер соло или хором, «Варяг», «Слышу жаворонка пенью», иногда — гимнастическая пирамида и в заключение всегда литературная композиция — высокопатетические лозунги в стихах и прозе с музыкальным сопровождением, сочиненные анонимом и рекомендованные райкомом. Короткая, последняя атака идеологии. Потом начиналось то, ради чего все и затевалось, — танцы.

О, о, о, о! Ряды стульев сдвигаются к стенам, раздаются первые патефонные через усилитель звуки па-де-граса. Правственность, вкус, галантность. Первые пары выходят на центр, девочка с девочкой, девочка с девочкой — где они, профурсетки-пионерочки, этим па научались? И наконец с девочкой мальчик!

Теплые влажные ладошки, локоток, плечико. Алеющие щечки, не говорю уже губки, в каком-нибудь буквально полуметре. Легкое, но и энергичное дыхание, которое трудно назвать иначе как девичьим. Однако самый дурман — это то, где у нас брючки, у них юбки и оттуда ножки в чулках в рубчик. Гимназический, бляха-муха, стиль.

Па-де-грас — грациозный, хотя и несколько абстрактный танец. Гнуснее его только па-де-патинер, имитация конькобежной — то есть ледяной — близости, бездарная арифметика шажков. В сравнении с ним па-д'эспань казалась откровенной, на грани приличия, разнuzданностью чувств, особенно еще и потому, что за нею маячил мотивчик песенки, сопровождавшей эти па на прежних, до-, а значит, контрреволюционных, танцульках — «Однажды мменя пригласили на бал, хороушенький ммальчик со мной танцывал».

Па сменяли па, постепенно все дальше уходя от бальности и медленно приближаясь к действительности, все больше случалось нерегламентированных прыжков, случайных толчков, неловких зацепов. Дыхание превращалось в пыхтение, пыхтение в улыбочки, улыбочки в шуточки. И чем естественней воспринималось раскрепощение, тем напряженной ощущалась интрига вечера: произойдет или не произойдет? Дадут под конец поставить фокстрот и танго или нет?

Потому что вся эта выражавшая себя в публичном танцевании сублимация инстинктов и чувств, сублимируясь еще раз — из танцев в балет, требовала возврата хотя бы к первой своей стадии. И — вот оно! — «Без меня не забывай меня» или «На карнавале под сенью ночи» — грянуло с балкона, брючки бросаются к юбкам.

Танго!
Ты штурм-унд-дранга
Огранка тонкая вне градуса и ранга!

Что-то в этом роде, на эту, в общем, мелодию. Ну, что худого, чего запрещать? Нет, точно, товарищ Сталин не знает, что нам запрещают танцевать «Брызги шампанского».

И в девять, ну полдесятого, по домам — кто-то кого-то провожает, назавтра каждую перемену рассказы, как она ко мне прижалась, потом отжалась, сжалась и пережалась, а я, как надо, прищемил, придавил, прихватил...

И после всего этого, представьте себе, никакого продолжения, нуль, ни-че-го. То есть мы их к себе пригласили, а от них в ответ ни звука. А через неделю выясняется, что они уже позвали седьмой-б из 203-й. А? Профурсетки! Один Олег Ро правильно себя с ними поставил. Па-де-грас заиграли, он к Стелке-ко-рейке раскатывается: «Вы танцуете?» Она встает, на плечо уже ручку кладет: «Танцую». А он каблуками щелк и: «А я нет», — и через весь зал обратно. Правильно ты, Олежка, сделал. И красавец Олег Ро — во какие фамилии бывали! — оглядывает всех стальными глазами Нибелунга: еще бы не правильно!.. А может, из-за этого нас и не пригласили? Может, и из-за этого, но 203-ю, тварей позорных, мы теперь где ни встретим, ремень на руку бляхой вверх — и до кровянки! Ремней ни у кого нет, так, ремешки, но — до кровянки, отныне и навеки!

Зато ни с того ни с сего приходит приглашение от 208-й. Но вдруг накануне вечера пролетает слух, что не нам одним, а и седьмому-а из 199-й. А 199-я имени Феликса Дзержинского — это чума, они контролируют площадь Искусств и Инженерную улицу. Даже трамваи на этом участке — их: кого хотят, отменяют, очищают карманы, а то и спихнут на ходу. Вооружаться!

Вооружились перочинными ножами, подобранными во дворах железяками, цепочками, большинство — рукавицей с пятаками внутри: в десять раз, говорят, умножает силу удара. А переросток Савва Глинин, бугай, отломал от лестничных перил узорную чугунную балясину, завернул в газету и спрятал на грудь под рубашку. Подходим в крайнем возбуждении, входим, по словам поэта, «как буря, как дыханье». Действительно, 199-я. Но три четверти — знакомые: здорово, Валера, здорово, Толик. Оружие остается в пальто в гардеробе. Кроме чугунной лиры литья начала века. Глинин мотается с ней, а лучше сказать — в ней, по залу, придерживая левой рукой внизу живота, чтобы не упала, а правой пихает ихний седьмой-а, хочет задраться. Имея такой снаряд на поверхности тела, не только нельзя о нем забыть — нельзя его не употребить. Наконец Рахманов, цыган из 199-й, напротив Радиокомитета жил: «Да. Я вас слушаю», — и тык ему в плечо. Глинин, на голову выше, двумя руками — тык обратно, Рахманов отлетает, балясина со звоном падает на пол, Глинину на плюсну, перебивает косточку, Глинин вопит, девочки сбегаются, ах-ох, две — сразу две! — соглашаются вести его в травмпункт на «Софье Перовской», начинаются танцы.

В общем, вот с этим, как тогда говорили, человеческим материалом предстояло работать новому классному руководителю. 1 сентября на первый урок английского языка он пинком открыл дверь, полноватый, лысоватый, краснолицый, сделал, ни на кого не глядя, несколько энергичных шагов по направлению к учительскому столу, с расстояния трех метров швырнул на него фибровый чемоданчик, так что подпрыгнула в гнезде и немного брызнула чернильница, и рявкнул: «Всем достать дневники!» С большим или меньшим достоинством мы достали. Он заорал еще громче: «Открыли первую страницу! Все пишем в графе «классный руководитель» — Дурнопейко! Александр Иванович. И в графе «иностранный язык» — Дурнопейко! Александр Иванович».

И пошло-поехало. Он был к нам абсолютно и ровно беспощаден, даже не делая вида, что собирается разбираться, кто хороший, кто плохой, а, наоборот, выказывая презрение и ненависть к любому, кто попадал в поле зрения. Он так открыто и говорил: «В-вы — материал для колонии. Мясо, мясо. Даже не пушечное — тюремное. Я таких, как в-вы, на фронте своей рукой в штрафбат отправлял». Когда хромой Коршунов воткнул, усыпив бдительность впередисидящего Гапеева, испачканное чернилами перо ему в щеку и на гаркнутое Дурно-

пейко: «Дневник!» — оттянул: «Сам бери», — тот, не промедлив ни секунды, скомандовал: «Гапеев, ну-ка возьми-ка дневник у этого кривого расплясуя. Ну-ка принеси-ка его мне сюда». И после выполнения несчастным приказа отошел на середину класса, продолжил: «Ну-ка подбрось-ка мне его под правую. Подбрось, подбрось», — и с яростью и с наслаждением вбил с носка трепыхающийся, как вспугнутая курица, дневник в стену.

Английский он знал превосходно. По праздникам являлся в гимнастерке с медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. И мы, и он понимали, что ни он не победит, ни мы, все погибнем — типичная ситуация трагедии.

Однажды, после: «Моя бы воля — один за одним в штрафбат бы пошли», — он прибавил неожиданное: «Да нет, пулю на таких тратить фашистскую — и то много чести. Три-Котелка вас бы, как цыплят, передушил». И мы, и он притихли и напряглись. Потом кто-то вякнул: «Какие три котелка?» Он еще некоторое время не заговаривал, прохаживался у классной доски. Потом произнес тоном проникновенным, отрешенным и торжественным: «Три-Котелка — великий человек. Супермен. Прыгал с крыши и не разбивался, кулаком пробивал листовое железо, один переносил вагон с пути на путь, любой сейф открывал за 24 секунды. Его заковывают в цепи — он через четверть часа на свободе, его бросают в огонь — хоть бы что». Уже почти с грустью: «Великий человек был Три-Котелка. Он съедал за раз по три котелка любого блюда, почему его так и прозвали». С внезапной лютостью: «Все пишем в тетрадях формы прошедшего времени десяти неправильных глаголов!» Все раскрыли тетради и стали писать.

Но, написав, опять-таки все завопили: «Три-Котелка! Расскажите про Три-Котелка!» Он нахмурился, чего никогда прежде не делал, — переменной выражения лица он ответил на наше какое-никакое копошение, он проявил чувство по отношению к нам, мясцу, падали, не заслуживающей взгляда, самой ничтожной мысли, а только инстинктивного, необсуждаемого отвращения. Он посмотрел на часы — мы уже знали, что швейцарские, трофейные, — и отчеканил: «Завтра за двадцать минут до начала занятий. В 8.10».

Началось невообразимое — не только то, чего нельзя было вообразить между ним и нами, а невообразимое на этой земле. Два-три раза в неделю мы теперь вставали не на 20, а на 45 минут раньше обычного — чтобы не проспять, бежали по ледяным, черным в желтых фонарях, безлюдным улицам, влетали в пустую школу — и отдавались неге разбитого на короткие утренние порции бесконечного рассказа о приключениях справедливого всемогущего супермена, справляющегося с тем, с чем справиться невозможно никому. «Сорвав висевшие по стенам японские обоюдоострые мечи, они стали бросаться на него со всех сторон, но он успел окружить себя магически вызванным невидимым цилиндром. Начали стрелять — пули расплющивались в воздухе в полтора ярдах от его тела. Они бросили его в колодец. Приземлившись, он обнаружил ведущую неизвестно куда горизонтальную трубу, ввинтился в нее и перестал дышать, почувствовав запах миндаля. «Цианистый газ», — автоматически отозвался рассудок, и он пополз вперед. Внезапно руки уперлись в металлическую крестовину: труба сужалась четверо. Он мог не дышать до получаса, но в состоянии покоя, а не когда от него требовались чрезмерные усилия. Поэтому он не стал разрывать металлические стержни, но неуловимым движением ладони обрушил свод трубы. Толкая перед собой упавшие вместе с крестовиной камни...»

Лет через 15 я прочел о том же у Сэллинджера — это значит только, что и Человек-Который-Смеялся, и Три-Котелка — такая же правда, как те, кто про них рассказывал. Вероятно, это были комиксы, которые наша Шахразада где-то прочла и запомнила, а теперь дополняла нехудшей отсебятиной. Три-Котелка был — нынче бы я сказал — комбинацией Геракла, Гарри Гудини и Волшебника Изумрудного Города, но и при нынешней моей разъедающей цельное знание осведомленности я готов, открыв рот, слушать любую байку, в которой справедливость всемогуща и всемогущество справедливо.

С того первого утра, а может, и с того ниоткуда взявшегося упоминания о Трех-Котелках Александр Иванович Дурнопейко мог делать с нами все, что хотел. Облупленный, с висячей лампочкой без абажура, привинивающий пóтом и мочой из уборной в конце коридора класс на 20 минут превращался в опиумную курильню, и с каждой новой наркотической дозой мы все больше от него

зависели. Мы его не любили, но мы перед ним преклонялись. Уже на уроке, в середине дня, он мог сказать: «Коршунов не выполнил домашнего задания, завтрашний рассказ отменяется», — и Коршунов мог быть бит и, уж конечно, к следующему уроку успевал у кого-нибудь списать все упражнения.

Так продолжалось до конца учебного года. В начале нового вместо него пришла молоденькая и хорошенькая учительница. Музыка переменялась, стала ближе к па-д'эспани: не портовая жига с поножовщиной, предвестница фокстрота, но и не па-де-грас безнадежно ангелический. На перемене особо разбегавшихся она останавливала, брала за руку, помещала ладонь себе подмышку, так что ногти могли ощущать мякоть груди, и так прохаживалась туда и сюда, пока у *шалуна* один жар не сменялся другим. То есть это было наказание, которое надо было заслуживать, как награду, — идиотскими выходками, криками, дерзостью. На место педагогики рукопашного боя пришла педагогика регулируемого флирта, вепря сменила кошечка. Желанию ей нравиться не мешал даже немедленно пущенный слух, будто видели, как она *зажималась* с директором.

Но пепел Трех-Котелков нет-нет и постукивал в сердце. В конце первой четверти я вошел в учительскую и спросил у секретарши, что случилось с Дурнопейко. После подозрительный «с кем, с кем?» и «а тебе для чего?» она сказала, что заболел и больше на работу не выйдет. Я попросил дать адрес, она попросилась в ящиках стола и продиктовала: «Дурнопейко Арон Иехильевич...» «Александр Иванович», — поправил я. «А вот именно, что Арон Иехильевич», — с улыбочкой и торжеством в голосе подтвердила она.

Он жил на Лиговке, в коммуналке. Я крутнул вертушку звонка три или сколько там на «Дурнопейко А. И.» полагалось раз. Открыла старуха, нельзя было ошибиться, что мать, так похожа. Пахнуло кислым, сырым, тряпичным. Она провела меня в темноте по коридору и еще немного по комнате за шкаф. На высокой железной кровати лежала грудa тела и с шумом дышала. Грязное окно выходило во двор, в тесный колодец, прошло несколько минут, пока я в сумраке различил *его* черты. Угол сбившейся простыни свисал до пола, серый, в мерзких пятнах и потеках. Под кроватью стояло поганое ведро, из него шла ровная, как бы давняя, вонь. Он повернул ко мне голову, посмотрел выкаченными глазами. Я положил на тумбочку, между аптечных склянок, пачку печенья «Мария».

Мой приход был ему в тягость, мешал спокойно лежать, тяжело дыша. С неприязненным выражением на лице он показал мне пальцем сесть в ногах и от этого малого усилия задыхал быстрее и громче. Через несколько минут прохрипел: «Высокое давление. — И сказал по-английски: Хайпертеншн». Мы молчали, несчастная старуха входила и выходила, сумрак густел.

Вдруг он сказал: «Поправь подушку». Я брезгливо поддержал его голову и приподнял подушку. От него сильно, перекрывая все прочие запахи, пахло лекарством. Он взялся рукой за висок, поманил меня, я сделал вид, что придвинулся. Лицо немного разгладилось, он с остановками проговорил: «А вот у супермена не бывает хайпертеншн». И зашептал, часто включая в шепот одышку, часто опуская ладонь на голову, про то, как, нырнув вслед за тонущим кораблем в ледяную воду на несколько сот метров, Три-Котелка вытащил сквозь иллюминатор человека, который вез на себе из Лондона в Нью-Йорк секретные бумаги чрезвычайной важности и, появившись с ним на поверхности, не только избежал декомпрессионного вскипания крови, но и давление, и пульс были в абсолютной норме.

В кухонном окне напротив зажгли лампу, осветившую и нас. Я не глядел, но видел, что губы его шевелятся, и думал: когда это кончится? Когда это кончится?

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ

Образование и шире — воспитание (нагляднее всего — детей) — одна из тех областей, в которых не может быть и не бывает прогресса. Каждое поколение и просто каждый человек должны заново соображать, что им предпочтительнее знать и уметь, и, что бы они ни решили, какую систему и конкретно учебное заведение ни выбрали, во всех изъяны. Исправишь изъян, вылезет дру-

гой, такой же. Научился юриспруденции — прозевал столярное дело, выучился на столяра — не успел в филологии. В медицине пошел по хирургии, а тянет в психиатры. Через десять лет оглянешься — ни хирургии, ни психиатрии, работаешь в торговой фирме «Я и компания», и где твоё образование, кому оно нужно? Сколько лет убито на анатомию, а нужна была, оказывается, экономика. Я бы в духе старых лозунгов так сказал: образование — школа идиотизма.

Сколько лет, и каких, убил я в химическом вузе, сколько лет, и каких, упустил учиться в гуманитарном! Попричитаешь этак раз сто, и вдруг: да ничего я не убил, а что убил, так, может, и надо было, а не надо было, так хорошо, что только этим обошлось. И не упустил бы гуманитарный, так что-нибудь такое, ему предавшись, проворонил или, того хуже, задавил, что еще жалостнее и много дольше причитал бы. Молодость — таинственная вещь: все в ней всегда — *здесь и сейчас*, ничего потом, что-то ненужное — прежде, все плохое — не так уж плохо, через пять минут и вовсе хорошо, а уж все хорошее просто великолепно. Нет, я не прав: образование — все-таки школа жизни, одним, хотя и непрременным, из компонентов которой является идиотизм.

В течение трех десятилетий, когда я зарабатывал на жизнь переводами и когда угроза лишиться этой работы была совершенно реальной и буквально ежедневной, я успокаивал себя тем, что всегда смогу пристроиться каким-никаким инженером на химический завод или — на худой-благой конец — в артель. А если, скажем, война или просто победа социализма во всем мире, вследствие чего навеки отключатся электричество и водопровод, то где и кем ни окажусь — беженцем, ссыльным, в глухом городишке, в деревне, — сразу налажусь варить мыло. Этому — в числе еще нескольких полезных вещей — меня научили в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета.

Мой тогдашний друг Рейн обкатывал эту идею еще раньше и в другой связи, а именно в поисках универсального способа получать постоянный доход с предпринятия, запущенного однажды и навсегда и не требующего дальнейших усилий и затрат на поддержание производства. Поэты опытные, постарше просвещали нас, что самое прибыльное — книжки для детей: дети всегда рождаются, книжки в их руках всегда рвутся, то есть всегда переиздаются. Дескать, Маршак и Чуковский — вот кто настоящие миллионеры. Попробовав себя в этой отрасли, не преуспев, но самой мысли не забрав, Рейн от нее оттолкнулся, чтобы довести до совершенства, увы, несбыточного, как всякое совершенство. «Пятое евангелие написать, — сказал он не до конца решительно. — Будет издаваться до последних времен, а?» Я поддержал в том смысле, что при его повышенном интересе к мужской моде по крайней мере один пассаж уже сейчас представляется бесспорным: «Не берите с собою ни золота, ни серебра и так далее, ни двух одежд, однобортной и двубортной, ни обуви, итальянской ни же английской...»

Его мыловаренный замысел внушал подозрение, наоборот, своей чрезмерной практичностью. Разводить кошек, при них разводить мышек, чтобы прежде, чем пустить на мыло, было чем кормить, а мышек кормить остатками кошек — отходами технологического процесса. Такая жестокость, главным образом вербальная, в молодости кажется очень привлекательной. Между прочим, и другой остроумный веропроект, впоследствии пущенный Бродским на стихи, тоже принадлежал Рейну: при переходе границы, когда самая страшная опасность — собаки, захватить с собой мешок с кошками и выпускать их порциями для отвлечения псов. Это было несравненно основательнее — и изобретательнее, — чем мой совместно с Бродским план начать петь дуэтом по воинским частям, а затем по пограничным заставам. «А ну, девчата, взгляните-ка на нас» и прочее, *с подтанцовкой*, и, дотанцевав до разделительной линии, дать через нее деру. Я рассказал Ахматовой — как мне представлялось, вполне к месту — первую кошачью идею Рейна. Она только произнесла: «Чтобы больше я о нем ничего не слышала!»

(Тут гораздо более к месту, чем в тот раз, привести общеизвестную аксиому, что правда лишь тогда правда, когда она *только* правда и *вся*. Реакция Ахматовой была слово в слово такой, но значила она, что и сюжет, и мой пересказ, даже как шутка, вызывают у нее отвращение — столь же крайнее, что и выбранная ею для него формула. А не то, что она действительно запрещала упоминать имя Рейна или, когда он звонил, прося разрешения прийти, специально ему отказывала.

А теперь дайте продудеть мое заунывное «Карфаген должен быть разрушен». Точно так же, когда я сейчас наталкиваюсь у кого-нибудь на фразу из разряда «я привез к Ахматовой NN» или «эту заметку она написала по моей просьбе», для меня это неправда, потому что вот так, без оговорок, *привозим* мы кого-то только к тем, с кем состоим в коротких отношениях. Сообщение неправомерно ужато. В случае Ахматовой правда звучит как-нибудь вроде: «Мы приехали с NN в Комарово в надежде, что она нас примет и NN удастся с ней познакомиться». Или: «В ответ на просьбу, которую передали от меня Ахматовой общие друзья, она согласилась написать эти заметки». Ничего, что длинно, зато меньше легенд. Меньше «кипенья позорных любовей» на карфагенских сковородах.)

Еще из более или менее полезных вещей я научился в институте дифференциальному исчислению и интегральному (то есть умею взять дифференциал и проинтегрировать уравнение), греческому алфавиту (в курсе начертательной геометрии), профессиональному черчению (карандашом и тушью) и соответственно чтению чертежей и химическому анализу (успешнее качественно, чем количественно). Плюс атомарно-молекулярным представлениям о строении мира, сейчас, не знаю, может быть, уже отмененным, но меня до сих пор устраивающим в той же мере, что Левкиппа и Демокрита. (Ладно: с поправками Канта.)

Качественный анализ — это малюсенький флакончик, тот же, что в аптеках шел под пенициллин, с такой же плотной резиновой пробочкой, налитый до половины мутной жидкостью, про которую вам надлежит сказать, что в ней намешано. *Катионы, анионы* — дать ответ через две недели. Ну, понюхал сперва, постучал ногтем по бутылочке, посмотрел на свет — этап алхимии, потом — собственно химия. Часы работы с реактивами, попыток что-то растворить, что-то выделить в осадок, с центрифугой, с горелкой *Бунзена*, даже тщательнейшее мытье и сушка пробирок и пипеток незаметно приводят в состояние вдохновенное и отчасти гипнотическое. Минута, когда наконец выписываешь в строчку результат — значки элементов — и кладешь листок на стол преподавателю, пронзительна, «страшной бездны на краю». «Да» — и восторг, ты победитель, и всегда будет да, во всем, во всей жизни. «Нет» — и «Как же это? Вы проверьте! Не может быть!» — крах, катастрофа, тоже всей жизни, никогда ничего ты не добьешься, если не сумел эту вонючую задачку решить.

Конечно, не у всех так, господа, не у всех, а лишь у химически чистых. Свои преимущества, свою прелесть имели и другие методы. Найти у соседа задачу с таким же цветом, консистенцией, с совпадением какого-нибудь алюминия, элементарно дающего реакцию на ализарин: промокашка, кап — и алое пятно с концентрически усиливающейся яркостью. Поиски кода в раздаче флакончиков: число вариантов ограничено, задачи повторяются — собери побольше результатов и с умеренной долей гадательности выйдешь на свой. Наконец просто: улучшить момент, когда преподаватель отойдет, и подсмотреть в тетрадке, что там против инициалов, которыми ты примитивно зашифрован.

Как это все лихо выходит в 19 лет! Обман еще не стыден, унижение не унижает. На курсе был парень с недостатком речи: ко всем согласным, кроме шипящих, привязывалось «х» — последствие волчьей пасти в младенчестве. Для обычного, разговорного общения — легкие помехи, не больше. Но на экзаменах или на таких зачетах, как анализ, он сводил артикуляцию до уровня невоспринимаемого и непереносимого. Подходил с листочком к преподавателю и, не выпуская из рук, произносил: «Хахий, хахий, хахий и хохий». Это должно было значить «калий, натрий, магний и кобальт». Это могло значить «кальций, барий, кадмий и молибден». Даже на купрум и бисмут годились хахий и хохий. Это был спектакль: его просили показать запись, он не отдавал и твердил свое. Волчья пасть издевалась над человеческой, вынуждая на ответное издевательство и, как следствие, на жалость к себе.

Мягкий Женя Серов, слегка заикавшийся, на экзамене раскручивал шелк и клекот немислимые. Стервятником нависал над столом, по-соловьиному закидывал голову с закрытыми глазами и заводил: «Цеке, цеке, цеке, цеке» — без конца, пока экзаменатор не подсовывал ему список группы, и он пальцем тыкал в свою фамилию. На первый вопрос билета ответ начинался «цеке, цеке», на второй — «цеке». Экзаменатор делался такого же пунцового цвета, как

он, — кто из них Пульчинелла, кто Доктор, было не разобрать. Тройку, как он сам говорил, он всегда имел, бывало, и четверку.

На первом курсе, в октябре, уже когда мы, собирав в колхозе картошку, вернулись и даже с неделю поучились, в группе появился *новенький*. Не совсем подходящее слово для кудрявого красавца с нагловатой улыбочкой, в зеленом гэдэровском пиджаке и с именем Эрик. Мы подружились настолько, чтобы после занятий вместе проходить пешком несколько трамвайных остановок. Он оказался из семьи, что называется, с достатком, хотя это и не афиширующей, — его отец был «инженер по текстилю». Он был сообразителен, схватчив, но в учении, во «всей этой институтской чихне» интереса не находил. Давал понять, что есть у него сфера интересов, есть, особых и для остальных, для меня, в частности, едва ли доступных. В действительности сфера его интересов было ничего неделание, лень с уклоном даже в сибаритство, завидное, никому не мешающее.

Сквозь зимнюю сессию он как-то еще протискался, в весеннюю провалил математику, первый экзамен. Был больше удивлен, чем расстроен, почти изумлен: как это «неудовлетворительно»? Кутузов считал его прирожденным математиком, ставил одни пятерки. Кутузов, в школе. Он попросил меня поехать вместе с ним на дачу, в Сестрорецк: при мне отец и мать, полагал он, должны сдерживать чувства, не будут, в общем, вопить. Мы только появились в начале улицы, а семья вся уже вышла за залитку. Крики начались издали: «Ну что, Эрик? Сколько? Пять?» Он молчал, выражение лица было, как будто он перенес нечто такое, от чего уже никогда не сможет быть прежним, что вам и во сне не привидится. Он уже подошел к ним, стал проходить мимо них во двор и все еще молчал. Их одни и те же вопросы, выкрикиваемые все более нервно, слились в гвалт, и наконец, поравнявшись с матерью, на ее мольбу: «Ну, Эрик!» — процедил, как бы проигравший, да, но не сдавшийся гангстер из американского фильма, сквозь сильно сжатые губы: «З-завал».

Сестренка, голубоглазая кудрявая гретхен, запрыгала радостно, забила в ладоши: «Это двойка! Получил двойку!» «Убер-рите ур-рода!» — скрежетнул именинник. Мать стенала. Отец подошел к нему вплотную и, расширяя ноздри, сказал: «Сейчас же поезжай в институт, и чтоб тебе поставили нормальную отметку!» Глухая бабушка отставала от развития событий и всех тербила: «Что? Четыре? Четыре или пять?» Из дома вышел дядя, военный юрист, в настоящее время заведовавший пивным ларьком, совершенно лысый. Он сказал горько: «Сволочь. Я же говорил, нужно его в армию сдать. Послужил бы, как я, узнал бы, что почем, — тут он часто похлопал ладонью по лысине, — не говорил бы «з-завал», сволочь». Вдруг все замолкли и обратились ко мне: «А... вы?» Эрик бросил с вызовом: «Пять!» — показывая, что в общем у нас с ним дела неплохи. Отец мгновенно повернулся к нему: «Видишь? Мог же человек...» Ясно было, что продолжение — «подмазать», «уладить», «устроить», «списать» — что угодно, но не «выучить». Мать запрочитала: «Но Кутузов! Кутузов же ставил ему наивысшие оценки!» И бабушка неожиданно впадал засвидетельствовала: «Сплошные пять». Дядя перевел на меня тяжелый взгляд: «А вы не могли помочь? Друга не могли выручить?»

Это было несправедливо: я выручал этого друга и любого, когда мог. Один попросил меня сдать за него «тысячи», то есть 30, или сколько там за один семестр полагалось, тысяч знаков по английскому. Я пришел на кафедру иностранных языков и предъявил чужую зачетку — *неправильно понятая дружба*. Жуткий момент, могли из института выгнать в один миг. Расчет был на то, что первый курс, нас еще не знают в лицо, а вглядываться в фотографию не станут. Я выбрал стол в углу потемнее, сел спиной к окну. Принимала старшая лаборантка, красивая интеллигентная женщина. Пока я читал и переводил то, что она дала, пришло ощущение удачи и безнаказанности. Она поставила зачет, и я сказал, что хотел бы сдать и за следующий семестр. Она ответила: «А теперь идите отсюда...», — заглянула в зачетку и, выделяя каждый слог, прочла написанные в ней имя, отчество, фамилию.

Эрик же настолько привык и находил естественным, что я всегда подскажу, что, когда его спрашивали с места или вызывали к доске, становился, не стесняясь, в наиболее удобную для приема подсказки позицию, а если мог, то и шлепал меня по плечу: мол, давай, соберись. Тот, за кого я сдал английский, тоже считал, что имеет на меня права, и даже более исключительные, чем Эрик,

по причине особого риска, пережитого совместно и тем самым нас сплотившего. Он стал уговаривать меня как-нибудь однажды, в ситуации достаточно безобидной, подсказать Эрику какую-нибудь совершенную чушь. Не все же за него пахать, надо на нем и развлечься. Он показал мне и пример: на политэкономии стал отвечающему Эрику шептать: «Возьмем станок (и тот добросовестно повторил: «Возьмем станок»), пусть он стóит пятьсот долларов-рублей». Тот, как эхо: «...долларов-рублей»,— и давай перебивать преподавателя, перебивающего его, и уже орать на него, орущего: «Садитесь! Садитесь и сию минуту выберите денежную единицу!»

Я повеселился, но самого этак развлекаться не тянуло. Тем не менее черное свое дело все-таки сделал — не для забавы, как месть. На семинаре все по тому же английскому Эрика спросили что-то элементарное: какой вспомогательный глагол употребляется во временах Continuous? Я в тот момент писал, и тогда он под столом пнул меня ногой, гневный мой взгляд встретив наглой ухмылкой: ну, ты что, забыл? Сидевший рядом дружок провокатор, как бес, подмигнул мне. Я прошептал: «Ту»,— и он уверенно повторил. Преподавательница спросила: «Ту что? Ту, а дальше?». И я шепнул: «Ту — и все». Он так мне верил, что сказал ей назидательно, не без насмешки даже: «Ту — и все»,— дескать, что ж ты, тетка, не знаешь? Она, закипая, произнесла с излишней звонкостью: «Что за неуместный розыгрыш! To have, to be или to do, наконец?» Он взглянул на меня испуганно, как сбитый с толку Гамлет: to be or not to be? Я повторил с печалью, но твердо: «Ту. Просто ту!» — ничего не поделаешь, хотел бы пойти навстречу, но истина такова, что — *ту*. И девочки уже нашептывали со всех сторон: «To be. To be!»,— и он уже понимал, что to be, но *мое* слово было сильнее, авторитет неоспорим, и он обреченно выговорил: «Просто ту». И наконец-то наш очистительный регот.

В 19 и в 20, и в 22 все нас любят. «Кто меня не любит, тех я ненавижу»,— выразился мой тогдашний друг, и я его понял не буквально, а в том смысле, что нельзя не ненавидеть тех, кто посягает на фундаментальный закон любви к нам. Нас так все любят, что и разговор об обиде или прощении поднимать неуместно при такой любви. Когда мы вдруг наталкиваемся на то, что кто-то нас не любит, и активно не любит, и за дело, за то, что он не допускал от нас подвоха, а мы его выставили на смех, то сперва в это не очень-то и веришь, а честно говоря, совсем не веришь. Но нелюбовь нужно себе объяснить, и единственное объяснение — это что любовь может быть и с неприязнью, и с сильной неприязнью, со ссорой даже, с отказом здороваться, но все равно любовь. Ну, как сказал бы Зоценко, принимает такие причудливые формы, и только. При такой великой любви к нам мы никого не можем обидеть, потому что любовь покрывает все. Нас, да, обижают,— о, пронзительные юношеские обиды! — но не те *все*, которые нас любят, а *они*, чужие, кого естественно ненавидеть.

Из таких семей, как Эрикова, состоятельных-несостоятельных (потому что с чем коммунисты действительно разделились, так это с самим понятием «состояния»), а, как бы сказать, при деньгах, студентов были считанные единицы. Отцов — после войны — оказался *некомплект*, матери работали кто конторщицей, кто уборщицей, кто, как моя, врачом, денег не хватало всем одинаково. Мать «провокатора», бухгалтерша, при мне раза три возвращалась с рынка (часто ходила, напротив Кузнечного жили), все три, не раздеваясь, садилась посреди комнаты на стул и начинала вслух считать: «Рубль сорок килограмм, семьдесят копеек полкило...— И сразу взволнованно, не веря себе: — Рубль сорок килограмм, семьдесят копеек полкило?! — И окончательно успокаиваясь, удовлетворенно: — Рубль сорок килограмм, семьдесят копеек полкило».

Уровня Эриковой семьи было еще две, девочек Карины и Марины, подружек. Они ходили к парикмахеру укладывать волосы, а однажды подъехали к институту в такси — не к главному входу и остановились на другой стороне улицы, но *я это видел*. В Карину влюбился, смешно сказать, Корин. Он был из Великих Лук, из известной там медицинской семьи, и сам страстно хотел стать врачом, но родители настояли на химии, считали, что более перспективно. У него были актерские дарования, он играл в институтском театре. Первый герой-любовник был Юра Берг, знаменитый ритмическим проходом через сцену под руку с героиней в пьесе Эдуардо де Филиппо, а второй — Корин. Он был нервный, бывал капризным, однажды на комсомольском собрании послал председателю записку с просьбой отпустить на репетицию, тот спросил зал:

«Отпустим?» — все из легкомысленного зловредства закричали: «Нет!». Корин послал вторую: «Я требую...» В очередном номере вампирической нашей многогранный появился фельетон «Корин требует».

На последнем курсе они с Кариной поженились, она из Масловой стала Кариной Кориной, он переехал к ним жить. И тут же папа и мама Масловы в нем разочаровались. Мало того, что получал 650 рублей в месяц (это до реформы 1961 года, послереформенных 65), он еще провозглашал принципы вроде «лучше бедно, но честно», чем косвенно ставил их честность под сомнение, завалированно колол им глаза. Ладно бы только колол, он к тому же еще артачился, не соглашался, то ли чтобы за него кого-то просили, то ли сам у начальства за кого-то похлопотать. Они перестали с ним, он с ними разговаривать. Карина ежедневно плакала, пыталась помирить. Тут в кино пошла «Голубая рапсодия», она купила билеты, вчетвером, натянуто улыбаясь, отправились. Шикарный голливудский целлулоид, Витторио Гасман и Элизабет Тейлор, он непризнанный, но гениальный скрипач, она богачка, но меломанка, любовь, ее родители против, у нее слезы текут по щекам, медленно, но изнуряет себя скрипозой. И вот играет концерт Мендельсона, ну на убой, ошеломляющий успех, контракты, гастроли, курорты, Альпы, он в сером фланелевом костюме, а тут и она в соболях, родители уже за, фуникулер — красный к белым вершинам, слезы — произвольные — счастья, собственно, даже одна, слева.

Эти выкатились из зала: о чем еще теперь говорить! — все в сто раз надежнее, чем было до сеанса. Без звука пошли по улице, черной, ледяной, разбитой. Корин первый собрался с духом, выдал: «Папье-маше сплошное», — на что тесть трагически: «Молчите, негодяй!»

Некоторые, правда, делали карьеру, начиная с института, но немногие. Методы делания были на любителя, их разнообразие сводилось к минимуму: по комсомольской линии, по профсоюзной, по линии студенческого НТО — «научно-технического общества», в котором тоже изволь демонстрировать общественно-политическую активность. Самой великой удачей считалась аспирантура со священной в конце защитой диссертации. Назначения на «перспективные» заводы или в НИИ выглядели пожиже. Еще случались карьеры чисто партийные или, что, в общем, то же, профсоюзные, в обоих случаях с шансами вырлиться в КГБ, и не только осведомителем завербованным, а полноправным рыцарем революции.

Ощущать и называть всех их естественнее, чем студентами, было *представителями студенчества*. Студентами же были — «в одной руке держу бокал, другой сжимаю нежный стан», то есть, разумеется, никакие не держащие и не сжимающие и вообще не распевające хором старорежимную муру, а душой подпевающие и исключительно в подобном подпевании готовые держать и сжимать. Впрочем, и держащие тоже, и сжимающие, и распевające, но в таком случае под расширительной рубрикой «молодежь».

Потому что если уж когда и время юным годам короля Генриха, то в юности. Юность и молодость по большей части — да! да! да! — жестоки, глупы, пусты, безличны, в них источник «многих и лютых воспоминаний и предприятий» и в них же — наивность, доходящая до чистоты, безудержность, доводящая до конца, до восторга, до слез, решительность, ничем еще не отягощенная, безграничное будущее — словом, юность и молодость. Когда потом мы говорим про это время «ложь», «предательство», «подлость», «грязь», мы забываем, что наше понятие о подлости, измене, обмане раз и навеки сложилось именно тогда, что «ложь», «грязь», «пошлость» — это слова юности, опорные киты того, что тогда представлялось — а потом подтвердилось — как Жизнь. Даже тем, что молодость навсегда запирает в себе то, чем она отталкивающа, она привлекательна. Кто не уложился в срок, позднее выглядит в лучшем случае смешно и наводит на мысль, что что-то тут не в порядке. Как заметил герой Сэллинджера: слюнка во сне изо рта у ребенка — умиительно, у взрослого — исключительно противно.

Дружба в те годы не взвешивалась заранее, дружить было нормой, все, кроме считанных не-друзей, были друзья (как во взвешенной-перевешенной, но до седых волос инфантильной Америке, где каждый знакомый — my friend). Подготовки к экзаменам становилась апогеем этой дружбы. Лекционные записи носились в общую кучу, налетало множество ничего никогда не писавших, набивались в комнаты общежития, сутками зубрили, урывками спали, ели хлеб

с консервами и непрерывно заваривали чай. Чех Густав, пожилой и жадный, предложил Владу Кацу, который валялся в гриппу с высокой температурой: «Владислав, я в булочную, хочешь батон принесу, давай деньги». Вернувшись, от двери объявил: «Владислав, твой батон упал в лужу». — Без всякого юмора и в доказательство подал ему извалянный в грязи батон.

Общежитий было два — меньшее на территории института и большое на Благовещенском. На Благовещенском нечетные этажи были мужскими, четные — женскими. Посланный вниз к титану за кипятком эстонец Арво набрал полную железную кастрюлю и побегал с ней обратно. Руки жгло невыносимо, он мчался, отсчитывая лестничные марши, но забыл, что бежит из подвального, свернул в коридор этажом раньше, ворвался в комнату и брякнул кастрюлю на стол, провяв: «Пейте, пфляди!» Разных степеней раздетости девицы издали разных степеней восторга вопль.

Если всю тоску, тошнотворность, всю не-приятность, которую вызывали все преподаваемые в институте дисциплины, в первую очередь, конечно, политэкономию, но и начертательная геометрия, ТММ, сопромат, теплотехника, военное дело, привести к общему знаменателю, то есть скрипу зубов, с которыми мы их переносили, и взять среднее арифметическое, оно выразилось бы так называемой общей физической подготовкой, или, менее академично, физкультурой. Кафедра физкультуры состояла из не столько спортивных, сколько с могучими грудными клетками, шеями и конечностями мужиков и теток, от которых всецело зависело, остаешься ты на следующий семестр студентом или вылетаешь вон. Теплотехнику можно было пересдать. Самого теплотехника можно было загипнотизировать оценками по другим предметам — как в случае со мной, когда после моего мычания, сопровождаемого жалким рисунком конденсационного горшка, больше похожего на ночной, он открыл мою зачетку и, устранный пятерками по химиям и математикам, пробормотал: «К сожалению, на этот раз только четыре». Но пробежать двенадцать кругов по стадиону или двадцать километров на лыжах быстрее, чем можешь (если вообще можешь), ты не мог, а это означало незачет и автоматическое исключение из института.

Иогансон Юра, впоследствии известный оперный либреттист с тем же именем, но совершенно иной фамилией, бежать не мог вообще. Так по крайней мере говорил. Весело играл на рояле, много острил, писал в стенгазету статьи о композиторе Мясковском, но перелезть через забор, не говоря уже о забраться на дерево или просто подтянуться на турнике, как он сам говорил, *жамэ*. На какую-нибудь даже только имитацию бокса, на обычное дурацкое пихание в институтском вестибюле под часами, с готовностью косо отступая, отвечал затверженно: «Все физические шутки относятся к разряду глупых». Три курса он добывал из ведомственной поликлиники отца справки об освобождении от физкультуры по ревматизму, но на четвертом был послан на обследование в общегородскую и там приговорен к немедленной сдаче всех прежде пропущенных беговых, плавательных, гимнастических и так далее *нормативов*. В первую очередь беговых.

Осенью и весной часы физкультуры мы должны были мотаться (кто мотался, кто делал вид) по стадиону. Стадион был Кировского завода, разбитый поблизости от — наш рассказ это инкрустирует особенно изюном — мыловаренного завода, в свою очередь, рационально пристроенного впритык к городской свалке. Воздух на стадионе, может, был и чистым, но с непременным сладковатым тошнотворным запахом. Иогансона доставили туда в полувменяемом состоянии, почти всей кафедрой, но в сопровождении и немалой группы болельщиков, оруженосцев, шутов и просто зрителей.

Он был высокого роста, полноватый, а когда остался в трусах и майке, обнаружилось телосложение гитароподобное: узкие плечи, широкий таз. Кроме трусов и майки, он оставил на себе носки на резинках. Резинка вокруг икры, от нее вниз к носку другая, с пряжкой, — тогдашняя техника. На носки он надел тапки, не спортивные, а домашние, мягкие, но все-таки с задником. И вышел на старт. Вместе с ним вышли и мы трое: Яцек, поляк из его группы, еще один мальчик с его курса и я. Присутствие Яцека, с одной стороны, сообщало событию серьезность, международный ранг, с другой — предпологало не дать кафедре вывести место за юридические рамки. Старт давал завкафедрой, в прошлом мастер спорта по штанге. Он объявил не без торжественности: «Дистанция пять

километров, двенадцать с половиной кругов. В связи с перенесенным студентом Иогансоном заболеванием ревматизма — без учета времени. На старт! Вниманию! Марш!» — И сам, и еще человек пять с кафедры включили секундомеры. И, перебрасываясь короткими профессиональными словцами, отправились к месту финиша. День был солнечный, сравнительно теплый для начала апреля.

Первый круг Иогансон бежал со мной. Ну, «бежал» — приблизительное слово: как-то туда и сюда извиваясь и шатаясь телом, стал продвигаться вперед по беговой дорожке. План заключался в том, чтобы, сменяясь, заставить его не останавливаться. Со второго круга мы сопровождали его по двое: один чуть впереди, другой чуть сзади. Со второго круга он был уже никакой не Иогансон, не Юра, не человеческое существо. Какая-то животная прямоходящая двуногая тварь с выкаченными белыми глазами, оскалом зубов и воющим вдохом-выдохом, попеременно выбрасывая вперед мослы в носках с резинками, топтала черный шлак, «гаревое покрытие». Голос из физкультурного профессорско-преподавательского состава крикнул удовлетворенно: «Второе дыхание открылось!»

На втором, потом на третьем и четвертом дыхании он волокся, оцепленный под конец уже всеми тремя, даже не скажешь, что дальше и дальше, потому что по кругу, а еще и еще, безучастно, автоматически. Кучка зрителей, поначалу подбадривавших с трибун, зубоскаливших незамысловато: «Юр, ты далеко? Юр, никак опять ты?» — примолкла, спустилась к бровке. В стае кафедральных тоже что-то произошло: они перестали двигаться и с каменными лицами смотрели каждый перед собой. Чего-то у них не получалось: ни торжества дисциплины, ни забавы, которых, видимо, ожидали. Этот клоун был не смешной, этот Освенцим — не функциональный. Издеваться просто так они не задумывали, но и такого варианта не предусмотрели.

Ровно за полкруга до конца Иогансон вдруг остановился и его стало сносить вбок. От трибун раздались крики, мы засуетились, стали разворачивать его. Он выпрямился, тронулся дальше, мы протопали на последнюю сотку. Он опять остановился и стал сбрасывать с ноги тапок, потом с другой. Оставшись в носках, снова двинулся. Носки стали съезжать, с каждым шагом все сильнее болтались, он наступил на один, споткнулся и упал на четвереньки. Завкафедрой сложил ладони рупором и закричал: «Все! Дистанция засчитывается!» Иогансон ничего не понимал, пытался то подняться, то ползти, но его неодолимо кренило. Потом вырвало, мы оттащили его на траву.

Он лежал с добрую четверть часа, даже, похоже, минутами засыпал. Потом сел. Потом, балансируя, встал, выпрямился, стал одеваться. Все смотрели, человек тридцать, никто не разговаривал. Не то в ожидании внезапной смерти, не то уже вокруг свежей могилы. Так, с похоронными лицами, и потянулись вслед за ним к метро. Под аркой Нарвских ворот продавали пирожки с мясом, он остановился и купил один. Добрый знак, но всех шокировал. Съев, он оглядел нас и произнес: «Все физические шутки относятся к разряду глупых». Прекрасно. Он не умрет! По лицам пошли улыбочки. Ячек сказал: «Ты испутильная жертва, Юрек. Больше они не посмеют». Я продолжил: «Ты практически Ифигения — и одновременно любимая лань Артемиды». Слова типа «практически» вводились в речь, чтобы было смешнее. Иогансон откликнулся: «Ифигенеть можно». И давай все галдеть и заливаться смехом. Ой, тапки-то, носки-то! Юр, одолжи шиповки! Шары квадратные — и тóпы-тóпы, смертельный номер! Ну, забег века! Ты чего все заваливался-то, Юр? Ифигенеть можно!

ПРОФЕССИЯ — ПЕРЕВОДЧИК

Прозу я переводил только однажды. На дне рождения Маши, впоследствии Филлимор, а тогда, году в 70-м, еще Слоним, часа в три ночи в потоке разнообразных предложений, поступавших то от того, то от другого из полусотни гостей, скинутая, к примеру, на несколько дополнительных бутылок, перелезть на нижний балкон, проплясать Танец Семи Покрывал, обменяться паспортами и проч., пришло и такое: перевести книжку рассказов малайских писателей с английского на русский для казахского издательства «Жазушы». Предлагал общий приятель, специалист по индокитайской литературе, которого издательство

во нашло в Москве. Согласилась именинница и из любви к ней еще несколько пьющих физий, в том числе, как выяснилось по пробуждении, и моя.

По пробуждении я обнаружил в кармане пальто десяток страниц английского текста с именами вроде Муй-Муй и Муй-Ленг, размещенными между растениями вроде бугенвиллий и красного жасмина, то есть точно соответствовавшими моему на тот момент психофизическому состоянию. По телефону все разъяснилось, я сел переводить. Через несколько дней пришел редактор, уже другой, прочел, сказал, что как-то не так у меня выражен момент, когда героиня прижалась щекой к стволу, как-то не смачно. Он вдруг вскочил, прыжком достиг двери и припал виском к косяку. «Потерлась щекой о шершавую кору, — произнес он. — Как-то вкуснее, нет?» Через полгода книжка вышла, в оглавлении против моего рассказа стояло «перевод Найма», а в углу титульной страницы — «индокит».

Поэзии зато я перевел тысяч 50, а то и 70 строк, то есть при интервале между строчками в сантиметр больше полкилометра. При затрате времени на 1 сантиметр 10 минут — а рифма иной раз приходит сразу, а иной — через полчаса, а не в рифму я не переводил — над складыванием чьих-то слов в стихи мной проведено не меньше 80 тысяч часов, то есть больше 20 лет каждый день при полной рабочей неделе. Не считая работы с редактором. Начинал я по 70 копеек за строчку, кончил по рубль сорок — максимальная ставка для не звезд. Про звезд ходили слухи, что получают аж по 2 рубля, но Ахматова, Мария Петровых — рубль десять — рубль сорок, а уж вроде куда звездами? Расчет у всех был на двойные тиражи. Я своих дождался тоже только под конец.

Первым моим клиентом — заочным, разумеется, — был белорус по имени Гаврусев. Ни до, ни после я этого имени нигде не встречал. Окуджаве тогда работал рядовым редактором в «Молодой гвардии», мы дружили, я нуждался в зарплатке, он дал мне на пробу одно стихотворение: если получится, обещал целую книжку. Стихотворение было написано по-белорусски и в целом понятно. «Сення» значило «сегодня», «кажух» — «кожух». Некоторые детали, правда, давали пищу для догадок и размышлений. «Без кажуха, ў, одной кашулі», скажем. Кашуля могла быть всем от шапки до лаптей. Загляни я в Далея, все разрешилось бы в пользу рубашки, но *адзін* (адзін), в чужом городе Москве, ночуя по приятелям, подгоняемый поставленным сроком, я выбрал прямейший путь, а именно: отправился на Белорусский вокзал. Небольшая очередь стояла у кассы на Гомель. Я объяснил положение. Все без исключения посмотрели на меня недружелюбно, трое сказали что-то на идиш, двое — что они русские.

Я поехал в Ленинку, тогда еще вполне *публичную* библиотеку, не требующую при записи предъявления диплома. Я прошел в зал словарей, в прихожей которого три стены были покрыты толстыми черными фолиантами, и на корешках их золотом вытиснено: «Cancer. Tuberculosis. Syphilis». Я спросил белорусско-русский словарь. Мне принесли «Словарь белорусского наречия» 1871 года, самое свежее издание, что у них было. Я открыл на «К»: «ка каць» — перевод: «какать»; строчкой выше «каканьки» — перевод: «каканьки». «Кашуля» — «рубашка». Тут же в зале я переклал (перевел — *белорусск.*) всю инвективу, обвиняющую панов в злой крестьянской доле, отвез Окуджаве, получил одобрение — и кучу текстов, на этот раз уже с подстрочниками. И мягко в них нырнул — и вынырнул через тридцать лет с насаженными на гарпун тридцатью книжечками самого невообразимого содержания.

В день, когда по почте пришел гонорар за Гаврусева, с улицы пришел дружок моей юности Юра Карташов. Выносливый гуляка, всегда заряженный на праздник и авантюру, он имел сверхъестественный нюх на любую возможность что угодно sprysnut', obmyt', pomyanut', otmetyt'. Через несколько лет, когда мы уже почти не виделись, он вот так же появился у меня ровно через час после того, как мне передали литровую бутылку коньяка «Плиска» от моего болгарского приятеля. В гаврусевском случае, правда, он был в курсе того, что я жду денег. Демонстрируя собранность и ответственность, намного превосходящие как непосредственный повод проявить их, так и нормальные о них представления, он свел обсуждение к минимуму, позвонил Володе Алексееву, в ту пору самому модному ленинградскому портному, и сказал, что мы будем через 15, нет, через 12 минут. Мы выскочили на улицу, чудом карташовского напора поймали такси и примчались в ателье на Суворовский.

Алексеев был высокий, неправдоподобно узкоплечий, что придавало его элегантности особую убедительность, похожий на персонажа брауновских иллюстраций к Диккенсу малый с грубыми чертами лица и по-балетному плавными движениями рук. Когда мы вошли, он торговался с фарцовщиком по кличке Рыжий, продававшим ему женский плащ «болонья», завернутый в газету, обмотанную бечевкой. Рыжий клялся, что плащ «без дерибаса», но разворачивать не давал, объясняя, что за ним «хвост», каждую минуту могут ворваться и плащ не в газете — это три года. Со словами «ну смотри, Рыжий» Алексеев дал деньги, забрал пакет, и тот вмиг исчез. Алексеев сорвал газету, стал рассматривать плащ и вскоре обнаружил дырочку от сигареты. Он разбушевался, обзывал Рыжего по-матерному и требовал от нас разделить его негодование. Разделив и тем немного снизив температуру, Карташов представил меня, прибавив: «Поэт и переводчик». Алексеев, остывая, пожал мне руку, на излете возмущения, но уже сориентировавшись на интеллигентность обстоятельств, произнес смягченно: «Со'лоп рыжий,— и уже непосредственно мне: — Будем шить английский континенталь, однобортный, с разрезом, черный, брюки без обшлагов, с ма-аленьким скосом назад».

Немедленно после обмера Карташов повел меня в обувной магазин, где его знакомая продавщица вынесла нам венгерские остроносые туфли. И у Алексеева, и тут, естественно, надо было переплачивать. Из обувного мы пошли в Военторг купить белую рубашку. Белых мужских рубашек тогда вообще не было в заводе, не выпускала промышленность белых — только для военнослужащих. Однако в Военторге меня ждал двойной конфуз: во-первых, мой размер был 38-й, а самый маленький военный — 41-й (и, согласитесь, трудно представить себе офицерскую шею тоньше), а во-вторых, все рубашки были с заранее вышитыми на них погонами. Все-таки Карташов нашел мне и рубашку, финскую, у фарцовщиков, по несусветной цене. Но это случилось уже через несколько дней, а из Военторга мы отправились на «поплавок», плавучий ресторанчик у Адмиралтейского моста, спрыснуть начало большого предприятия, обещающего подъем на новый светский уровень.

Вскоре мы обмывали и его прекрасное завершение. Я настаивал на первом парадном выходе в Филармонию, Карташов — в ресторан «Восточный». Знающие местную топографию легко догадаются, что компромисс напрашивался сам собою: сперва Филармония, в заключение — «Восточный». На полную экипировку плюс спрыск и обмыв ушел весь гонорар до копейки. Надо было начинать сначала.

И так каждый раз. Все годы, уже когда заработок шел не на брюки с маленьким скосом, а на ежедневное прожитье, на заурядные семейные траты, в периоды поуже и посвободнее, о получении следующего перевода надо было заботиться посередине, в худшем случае к концу, но никак не по окончании работы над очередным. В этом деле, как, подозреваю, и во всяком *деле*, в деле как предприятию, нельзя быть занятым по своей воле, от случая к случаю, поменьше и побольше, а можно только так, чтобы дело все время шло, а оно идет в зависимости от общего, общее диктует нагрузку и поведение. Можно или вообще перестать переводить, или переводить столько, сколько тебе дают. Тебе хватит 300 строчек, а предлагают только 30, а предлагают 3000, и изволь переводить — или закрывай лавочку. Садись за стол, утро, сентябрь, открываешь первую страницу, *Poissas lur dis tot en apert*, «затем он прямо говорит», к концу дня — «ради другой ее не бросит», *per altra non la laissara*, всего полстраницы, а таких страниц еще 207, наконец, встаешь вечером, «едва не падают на землю», *e per rauc a terra non vepon*, последняя строчка, последняя страница, май, и где эти девять месяцев искать, в какой жизни? Проклятие! Я был уверен, что так и кончу свои дни переводчиком не этих, так тех трубадуров, но похоже, что среди перевесов на штанге, которая сломала советской власти позвоночник, оказался уже и чугунный блинок переводов.

Первое время предлагали хорошо, если 30 строк, к концу 3000. Первое время было туго. Я показал Ахматовой свой перевод «*Lorsque vous partirez*» Аполлинера, она показала его кому-то, возможно, Нике Глен из «славянской редакции» Гослита. Тогда это была уже редакция «стран народной демократии», но ведала литературой Чехословакии, Польши, Болгарии, Югославии, ну, и Румынии, которая недалеко от славян ушла, а также — в особых случаях и до ссоры — Албании, которой куда было деваться? Посвященные в дела издатель-

ства авторы продолжали — кто по давности отношений, кто, как я, вслед за другими — называть ее по-старому. Как-то раз при мне в выплатной день в комнату редакции зашел писатель из старой советской гвардии, из рубах-парней, из шутников, гаркнул по-военному: «Здравствуйте, братья-славяне!» — и, отдельно, повернувшись в румынский угол, уже тише, обыкновенно: «Здрасьте, Абрам Аронович». Абрам Аронович был единственный в редакции мужчина, бессарабский еврей, главный эксперт по Румынии. Почти уверен, что весельчак, обыграв ситуацию, обратившись к женской части «братья», выделил не его, а *его* страну по языковой непринадлежности к «славянам», но голову на отсечение не дам.

Уже говорено и писано, что в Гослитиздате тогда сошлось — в основном на редакторских должностях — десятка два первоклассных знатоков русской, западной, классической, национальных литератур. Это были редакторы самой высокой квалификации и редкого вкуса, сами замечательные переводчики. «Братья-славяне» подобралась одна к одной, и простое перечисление их имен — в той дружеской форме, на которую я, сохранив первоначальное уважение, но уже называемый ими Толя, после нескольких лет сотрудничества перешел, — сейчас доставляет мне радость. Ника. Оля. Юля. Стелла. Ира. Валя. Лена. Наташа. Ольга Сергеевна Смирнова. Первые три в ахматовском домашнем лексиконе именовались также болгарской, югославской и польской королевами. Последняя заведовала редакцией.

Мне дали перевести два стихотворения чеха Незвала, «Ventimiglia» и «Памяти Константина Библа». Незвал был энергичный поэт, несколько, на мой вкус, многословный, несколько, на мой взгляд, дутый. Он принял — если не поставил — новую власть и, европейски известный, был провозглашен классиком. Вентимилья, о которой поэт писал запросто, пограничная станция между Италией и Францией, звучала для меня как символ недостижимости, Грааль, подземные чертоги избранных. Заглавие освещало все стихотворение, посредственное и посредственно мной переведенное. Недавно я проезжал через Вентимилью, туда и обратно, оба раза спал и утром был благодарен пограничникам, что не разбудили. Кто такой Библ, сколько раз знал, столько забывал; защитный механизм: когда узнаешь, бессознательно понимаешь, что можно и не знать. Библ, в размере четырехстопного ямба, куда-то плыл на корабле, перевозившем чай и кофе. В поэзии есть ритм, а размер возникает, когда задаешься вопросом, какого ритм размера. А в переводе размер — главный, на него насаживаются слова, в меру одаренности переводчика жестяное брэнчание конструкции слышится сильнее, слабее. «Корабль, возивший кофе, чай» — по-другому у меня тогда не получилось, так и напечатали. Один только приятель, придя ко мне в гости, сказал к месту: «Я бы сейчас выпил чашечку кофе-чая».

С редакциями, для которых я работал, у меня, как правило, складывались хорошие отношения, с некоторыми редакторами — дружеские. С самого начала мою работу принимали, потом стали одобрять, под конец — хвалить. Но были переводчики, которых в редакциях обожали, и я в их число никогда не входил. Как-то раз я сдал очередные тексты и купался в волнах симпатии, исходившей от трех сидевших за своими столами редакторш, когда из коридора стал приближаться шум, взволнованные восклицания, и в комнату внесло полного человека, распаренного, с всклокоченными волосами, болтающимся шнурками, в расстегнутой на груди рубахе. «Как вам нравится?! — кричал он, не здороваясь и как бы собираясь пройти дальше сквозь стену. — N перевел Блейка «As I wandered the forest» — «Я пошел через парк»! Через лес! Через лес, черт возьми!» Редакторши смотрели на него с любовным восторгом, млея, любуясь. Меня не существовало. Я был холодный профессионал, шабашник, сдавший объект и ждущий оплаты. А он пылал, он готов был убить N, готов был умереть за правильный перевод Блейка.

Но и те, кто отдавал делу сердце и чувства, и те, кто предпочитал обойтись мозгами и техникой, выделяли в переводе поэзии — огрубленно — три вида. Первый — перевод, почему-либо необходимый поэту-переводчику: «На севере диком» Лермонтова, переложенное на русский гейневское «Ein Fichtenbaum steht einsam». Как правило, это перевод вольный, в большой степени самостоятельная вещь, такие переводы считанные. Второй — перевод иностранного текста в русский методом подбора и проб, опирающихся на интуицию и опыт. Тут, кроме общей поэтической одаренности, требуются еще специфические

комбинаторные способности. Первым делом сознательно или бессознательно выделяется, что главное будет переводиться, что второстепенное не должно быть упущено и чем ради главного можно пожертвовать. Эти переводы и есть, собственно, то, что этим словом называется, от Симеона Полоцкого до Пастернака. И третий — это перевод поэзии народов СССР.

Какую национальную политику и дружбу культур демонстрировала индустрия перевода нацменьшинств на язык нацбольшинства и нацбольшинства между собою и куда девалась вместе с советской властью, ясно, как говорили в те времена, и ежу. В столицах и на местах были дислоцированы стройбаты переводчиков, трудившиеся ритмично, но также и аврально. Переводчики котировались по принципу имени и по принципу квалификации. Иногда эти принципы совпадали, чаще нет. Например, заполучить в переводчики Ахматову считалось огромной удачей, хотя переводческая продукция у нее была неэффективной, тексты выходили без блеска. Наум Гребнев, скажем, переводил гораздо ярче, его тоже добивались, но это была звезда небосклона переводческого, не поэтического. Пастернак шел первым номером и там, и там, но Пастернак был один.

Императором перевода народов СССР был Семен Липкин. К нему стекалось множество просьб и предложений перевести то и это, время от времени какие-то из них он пересылал мне, в работе постоянно нуждавшемуся и собственной клиентуры не имевшему. Просьба и предложения приходили как в виде конвертов, набитых подстрочниками, так и в виде самих поэтов, намеренных быть переведенными. Однажды летом рано утром раздался звонок в дверь, я открыл, в квартиру вошел высокий южный красавец лет сорока, в белых брюках и белой капитанской фуражке. Он сказал, что привез в подарок серебряный рог для вина как знак уважения ко мне одного маленького, но гордого кавказского народа. (На этом месте Мария Сергеевна Петровых, которой я первой, по горячим следам, рассказывал эту историю, меня перебила: «Не продолжайте, дальше я знаю — этот рог полон строк».) Он сказал, что думает, что я не откажусь перевести его поэму о его родном ауле, 300 строчек. Над заглавием поэмы «Родной аул» был от руки написан адрес: сейчас поэт жил в столице маленького гордого народа на проспекте Сталина. Сталина — в середине 70-х годов, от этого веяло достоверностью: кавказский *couleur locale*. Рог был мною передан все той же Маше Слоним, когда она уезжала за границу, чтобы там в конце концов стать леди Филлимор.

Липкин был баснословно любим и почитаем в Калмыкии: он перевел их эпос, он воевал вместе с ними в Великую Отечественную, он знал лично всех их поэтов и каждого когда-то переводил. Несколько он направил ко мне. Это были славные люди, честные, с ясными прямыми установками на жизнь, они мне нравились. Один для творческого знакомства принес подстрочник длинного биографического стихотворения. Я прочел: «С 1939 года служба в Забайкальском военном округе, во время войны — партизан в лесах Белоруссии», — и спросил, что это такое, то есть в плане стихов. Он произнес твердо, хотя и с легким затруднением на звуке «ч»: «Четверостишие». Помню, что задачка решалась по линии «на берегу Байкала» — «партизанский запевала».

Он же позвонил мне из Элисты и сказал, что в присланном мною переводе стихотворения «Песня» не хватает двух строф. Я был достаточно наивен, чтобы начать уверять его, что строф ровно столько, сколько в подстрочнике. Он сказал, что я его не понял, что стихи хорошие, но не хватает заключительного аккорда — строфы на две, не больше. О чем? О том, как он любит песню. Но как вы ее любите? Он ответил, опять смазав «ч»: «Оч-чень — и весь калмыцкий народ это знает».

Через месяц после знакомства он написал, что выступал на «празднике дружбы» в Пензе и опубликовал в местной «Правде» мой перевод. Я был тогда в долгах и немедленно отправил в газету письмо, прося выслать гонорар. Еще через месяц пришел ответ, что их газета за переводы не платит. Я отправил следующее, с угрозой взыскать деньги через суд. Они ответили, что ставки у них минимальные. Я написал, что ну и что, какие есть! Вся переписка заняла полгода, наконец пришел почтовый перевод на 1 рубль 34 копейки, к тому времени я уже истратил копеек 20 на почтовые марки.

Все, кого я перевел, держались с достоинством, без заносчивости, проявляли расположенность без заискивания. Все занимали какие-то посты в местных Союзах писателей, в комитетах, иногда в местных правительствах, но у всех

за плечами была трудная жизнь со множеством испытаний, иногда тяжелейших, разоренные культуры, религии, уничтоженные обычаи, взорванный быт.

Когда я жил в Ленинграде, то приспособился стричься в парикмахерской «Европейской гостиницы». Стрижка в Советском Союзе всегда была мукой, десятилетиями предлагалось фасонов лишь три: бокс, полубокс, полька. Под какой ни стригись, обкорнают, оболванят, на ближайшие две недели изуродуют, как Человека-Который-Смеется, всегда, всегда выйдешь униженный. Мой друг был зимой в Ялте, на набережной набрел на парикмахера, старого еврея. Ялта, зима, старый еврей — вроде должно было получиться. Мой друг — строгий человек, прежде чем сесть в кресло, он сказал: «Мне нужно то-то и то-то; если вы не умеете сделать так, как я говорю, скажите честно, и я уйду». Парикмахер со скукой ждал, когда он кончит, и только кивал головой. Потом усадил, удушающе завязал на шею простыню и вонзился машинкой в затылок. Через пять минут мой друг уже расплачивался и, не в силах что-либо произнести, выкатывался на набережную с фантастически искромсанной башкой. Через десять лет он оказался в Ялте и, проходя по набережной, вздрогнул, как Евгений в «Медном всаднике»: он узнал и место, и того, чьей волей роковой... Тот же парикмахер, ровно такой же старый, стоял в дверях той же парикмахерской. Мой друг собрал в кулак мысли и волю и решил победить судьбу. Он подошел и произнес, чеканя слова: «Десять лет назад... — и так далее. — Сейчас я снова сяду в кресло, но на этот раз буду контролировать каждое ваше движение». Через пять минут, рукой нащупывая парапёт, он брел, исковерканный, поруганный, от шага к шагу все глубже погружающийся в депрессию.

В «Европейской» работало три парикмахера, по два в смену. Главный — крепкий веселый мужик — был родом из Симферополя, где и научился тупейному делу у заезжего итальянца. Теоретическую базу стрижки он формулировал просто: голова должна быть круглой, уши — не торчать. «Мой» парикмахер ничего не формулировал, но стриг именно так. Во время очередного моего визита в соседнее кресло плюхнулся кагебешник из легиона, заполонившего гостиницу. Дело было после обеда, он был приятно выпивши. Говорить было не о чем, но и молчать не полагалось, симферополец прошелся по погоде, дескать, в Ленинграде жуть, а вот в Крыму благодать. Кагэбэшник оживился. Он согласен, он прожил в Крыму несколько месяцев, он был там на задании в 1944 году, выселял крымских татар. Операция прошла, как песня, за несколько часов: представляете себе, грузовик с ними только-только отошел, еще мотор слышно, заходишь в дом — еще суп на столе горячий... «Рот прикройте, — сказал крепкий с каменным лицом, держа в руках бритву, — не порезать бы».

Всех, кого переводил, я так или иначе полюбил. Думаю, и они меня так или иначе. Не нужно строить тонких психологических догадок — они видели, что я не халтурю. Я бы и халтурил, но это тоже надо уметь, а я не умел. Я знал первоклассных переводчиков, которые одновременно были виртуозы и гении халтуры. Однажды я оказался в очереди в гослитовскую кассу рядом с Симой Маркишем. Очередь едва двигалась, мы живо болтали друг с другом, и все это время он держал перед собой открытую картонную папку и что-то черкал в ней, переворачивая листы машинописи. Когда я спросил, что там, он ответил: «Не обращайтесь внимания, я делаю это механически. Это подстрочник монгольско-го романа».

Та очередь была в истории издательства особенной. Старая кассирша ушла на пенсию, и наняли новую, со стороны. Натурально никого из «авторов» в лицо она не знала и к тому же была нечеловечески пунктуальна: подпись в ведомости сверяла с паспортной через лупу. И именно ее сразу обманули: пришел человек с доверенностью и получил гонорар за статью академика Цицына — академиком он стал, удушив менделистов-морганистов, вероятно, и статья была на близкую тему. Через неделю звонит Цицын сам: где деньги? Скандал — и отныне отождествление личности шло в сопровождении припева: «А то вот тоже — зять академика Цицына, и трехсот рублей нет».

Перед нами стоял, как мы поняли из разговора, казахский поэт со своим переводчиком по фамилии Синицын. Казах был пожилой, в пальто из дорогого сукна и пыжиковой шапке; Синицын мучился с перепоя. Поэт этого не замечал или делал вид и, чем ближе к кассе, тем больше возмущался медлительностью кассирши и заставлял возмущаться переводчика, у которого не было на это сил. Наконец казах подал в окошко свое удостоверение, но оно немедлен-

но было ему возвращено: только паспорт. Он подтолкнул красную книжечку обратно и сказал прощающе и внушительно: «Это важнее паспорта». На что кассирша ответила, что не важно, важнее или не важнее, а важно, чтобы был паспорт. Тот прибавил голосу строгости: «Это ЦК Компартии Казахстана». «Да вот тоже,— возразила она не без торжества,— предъявил доверенность зять академика Цицына. А триста рублей тю-тю». «Вы думайте, что говорите!» «Я говорю, что не нужно подсовывать.— Она заглянула в удостоверение.— А это что тут написано? Ышкуты ашырар...» Он побагровел и прорычал в окошко: «Это по-казахски. По-русски — слева». «А тогда почему по-казахски, а буквы русские?» Тетка с лупой ставила под вопрос все завоевания мудрой национальной политики советского государства. Синицын, с крупными каплями пота на лбу и сдерживая перегарное дыхание, попытался вступить, но был поставлен на место сравнением с родней Цицына. Был вызван главный бухгалтер, и в конце концов она выдала деньги. Переводчик, отмечу, получил вдсестеро меньше поэта...

Возможно, стихи калмыка, который «партизанил в лесах Белоруссии» и очень любил песню, были не ахти какие: судя по подстрочникам, это так, но да не суди и не судим будешь по подстрочникам. Поэтом, в моем представлении, он был вне стихов. Невысокий, с жесткими черными волосами индейца, невероятной физической силы, он наводил на немцев ужас дерзкими налетами. Он наводил ужас и на редакторов, которых, когда они пренебрежительно говорили ему, что еще не успели прочесть рукопись, что пусть зайдет через месяц, брал под локоток и, легонько его сжимая, усаживал за стол с просьбой прочесть не откладывая. И для тех, и для этих Мишка-черный, как его звали в Белоруссии, был воплощением беспощадной азиатской дикости.

Он рассказал мне замысел поэмы, которую, вероятно, хотел, чтобы я прямо по замыслу, без текста перевел. Немцы врываются в дом к женщине, про которую им известно, что муж ее в партизанах. Где партизаны?! Не знаю. Если через полчаса не скажешь, убьем твоего двухлетнего сына. Проходит полчаса, она молчит. Они хватают мальчика, подбрасывают в воздух и ловят на четыре штыка. Еще через полчаса не скажешь, убьем второго, годовалого. Молчит. Подбрасывают — и на восемь штыков... Я пересказал это Петровых, спросил совета, как поделикатнее отказаться, она отозвалась: «Но это же все неправда». Я заверил ее, что правда, этот человек про *такое*, про *партизанское* не врет. Она уточнила: «Я не про факты. Так, может быть, и было. Но слов не найдено». Ну что ж, Вийон находил слова, Бодлер в «Мученице», в «Поездке на Киферу» находил, а он нет, но, думаю, и Вийон, и Бодлер распознали бы в Мишке-черном поэта.

Я перевел три стихотворения разных калмыцких поэтов под одним и тем же названием «Памятник Лермонтову в Пятигорске», в первом разлетевшись на 48 строчек, второе сведя к 20-ти, третье едва вытянув на 12. Потом выяснилось, что всех их возили на декаду калмыцкого искусства в Пятигорск, и никто не смог пройти мимо сюжета, как и мимо самого памятника, не остановившись. Стихотворений, которые произросли из пушкинской строчки «И друг степей калмык», я перевел два, хотя, конечно, их было столько, сколько членов числилось в секции поэзии в Элисте. Когда мне прислали подстрочник о калмыцко-монгольском родстве и дружбе, я предложил автору обыграть якобы существовавший ранний вариант «И друг степей монгол» (рифмующийся на «глагол» вместо «язык»). Дескать, не случайно — и так далее. Я не могу передать, какую это вызвало панику — несколько раз звонил автор, звонили другие поэты: какой монгол?! При чем тут монгол?! У Пушкина в степях был один друг — калмык! Своим легкомысленным изыском, необдуманным козырьем сомнительными сведениями я подвел мину под краеугольный камень калмыцко-русских отношений!

Эти и десятки других анекдотических поворотов дела ни разу не ввели меня в искушение посмотреть на кого-то из них свысока. Те мои качества, которые при желании можно было бы выдать за культурные и творческие преимущества, вполне уравновесивались, если не перекрывались, их стойкостью. Верой в то, что их место на земле принадлежит именно им, естественностью. В конце концов так ли, сяк ли это они добились, чтобы их переводили, они обеспечивали меня работой и заработком. А главное, и они, и я были «лицами» вто-

росортных национальностей, а по ведомству перевода это проявлялось со специфической наглядностью.

Их с «безобидным русским юмором», как высказался недавно один прогрессивный православный батюшка, в издательствах за глаза называли, как и везде, «чучмеками»; меня в связи с тем, что, по словам того же батюшки, «антисемитизм порой принимал болезненные формы» (в отличие то есть от форм здоровых), «евреем» и всеми производными от него. Здоровое официальное, хотя и негласное, отношение к предмету строилось на той бесспорной предпосылке, что у кого кровь нерусская, тот знает русский язык так же хорошо и полноценно, как тот, чья кровь целиком русская, не может. Была такая дама по фамилии Глушкова, одна из главных в этой области специалисток, писала неопровержимые статьи, приводила примеры того, как евреи, оккупировав переводческую территорию, по-русски выражаться не умеют, а все как-то узи-узи. Однажды выехала и на меня, дескать, а Найман доиздевался над языком до того, что брякнул: «Счесть трудно листья бука иль сосны». У сосны листья!

Прочтя, я, признаюсь, на минуту вспотел, потом заиндевел, покоржавел, пошел кухтой и так далее по Далю. К тому времени я столько перевел, что совершенно забыл, откуда эта строчка, чья. Помню, что в моих кастрюлях сварена, но, видно, в запарке не углядел, махнул «листья» через бук к сосне, права Глушкова, доиздевался. Через, наверное, месяц, засыпая, вдруг вскакиваю — и к антологии трубадуров! Сервери де Джирона, кансона о злых женщинах: *E las fuyas d'un pi e de dos faus*, — то есть даже еще определенной, «листья сосны и бука». И комментарий: трубадур называет иглы сосны листьями, как у всех деревьев, — не виноваты евреи.

Проходит несколько лет, Ника Глен просит перевести для Гослита, хотя там уже не служит, болгарина Фурнаджиева. Мне это не ко времени, но по старой памяти берусь. Сдаю переводы, и тут выясняется, что внешний редактор книги — Глушкова. Жду худшего, оно не медит. Докладывают, что Глушкова рвет и мечет, вскоре получаю тексты с ее замечаниями. В одном стихотворении на 60 строчек 17 замечаний! 16: «Мы так не говорим», «По-русски так не говорят» — через раз. Семнадцатое — к строчке «не елея налили, а крови». Поэт оплакивает разгром народного восстания, хочет перед иконой помолиться за жертв, но ему кажется, что «в лампаду не елея налили, а крови». Замечание: «Да будет переводчику известно, что в лампаду наливают масло, а елеем благословляют в церкви». Немедленно пишем ответ, только на это одно: «Елей — оливковое масло; освященный в церкви, употребляется для помазания; Серафим Саровский помазывал приходящих, окуная палец в лампадку».

Сознаю и каюсь: ответ наглым своим торжеством, независимо от национальной принадлежности отвечающего, исключительно еврейский. Из редакции звонят, говорят, что даже не вскричала Глушкова хищно, как перед тем, когда впиваются в глотку, а тихо зарычала, как после того, когда глотка уже перекушена. Еще из редакции передают, уже вполне серьезно, а на мой вкус, так серьезнее, чем требуется, что Глушкова — ближайшая подруга новой редакционной начальницы, жены космонавта, и если скандал не утихнет — читай: если я не пойду на уступки, извинения, унижение, то не только эти переводы будут выброшены из книги и я лишусь гонорара, но и никогда впредь уже не получу работы у «братьев-славян», а то и нигде в Гослите. И на это участие, взволнованность и заботу обо мне я отвечаю: пли! — и, гордый своим видным каждому достоинством, стараюсь вместе с бедным Фурнаджиевым стать на молитву.

Проходят три дня, звонит Ника Глен: «Вам неинтересно, что происходило дальше?» «Скорее нет». «А мне скорее очень». Глушкова в ярости врывается к космонавту, из-за двери доносятся взрывы неразборчивых проклятий, потом в еще большей ярости вылетает, в общей комнате раздается звонок: начальница требует переводы Наймана. Через пять минут: «Где договор с ним?!» Приносят договор. «Почему по рубль десять за строчку?! Исправьте на рубль двадцать!» Общий шок, догадки, пересуды. К шоку и догадкам я присоединился, пересуды же реорганизовал в назидательную притчу, которой патетически потчевал своих детей: «Будьте, дети, тверды, не изменяйте себе, и награда не заставит себя ждать».

А не ко времени мне был болгарин, потому что я занят был бурятом. Дамба Жалсараев обладал острым, живым умом, понимал, как инстинкты челове-

ческой натуры, так и высокие ее проявления, не прочь был гульнуть, и когда официантка в ресторане гостиницы, где он остановился, пробормотала: «До двух часов спиртных напитков не подаем», — сказал: «Зоя, зачем я тогда стал министром культуры в своей республике, если мне до двух нельзя выпить?» Сюжеты его подстрочников были построены изобретательно и давали довольно материала для перевода. Со временем мы друг к другу привязались, он хотел, чтобы я его переводил, и издателям, с которыми пил, говорившим: «Зачем с евреем связался?» — отвечал: «Чтобы только не твои жлобы меня уродовали». Он умел устроить публикацию переводов в самых разных издательствах, журналах и газетах: однажды новогодний номер «Правды» открывался стихами Жалсараева в переводе Наймана, и мой близкий друг, сидевший тогда в Потье, написал мне: «Ну все-таки, Толя, вы представьте себе — приносят в зону «Правду», ну, представляете себе, что такое «Правда» на зоне, — и там ваше имя, в «Правде», а я на зоне — вы как это себе представляете?»

Как-то раз он пригласил меня на ужин и познакомил со своим другом Баудоржей Ямпилловым, бывшим в звании народного композитора СССР. Сухонький желтый старичок сильно пожал мне руку и, не выпуская из крепкой ладошки, спросил: «Грузинчик?» Я сказал, что из евреев. Он приблизил ко мне лицо и проговорил: «Мы, восточные люди, друг друга всегда поймем». Я ухмыльнулся про себя: где я восточный человек! — идеалы английской цивилизации, петербургская культура, старопровансальская поэзия. Я восточнее Урала и не заезжал. Потом, после первых тостов, увидел наш столик со стороны: Дамба Зодбич, Баудоржа Базарович, Анатолий Генрихович, — нет, положительно, восточные мы люди и не то чтобы как восточные, а как не восточные, сидим почему-то особняком и друг друга понимаем.

Мой переводческий звездный час пробил на столетие Туманяна. Я перевел по подстрочнику его раннюю поэму «В бесконечность», армянский Союз писателей пригласил меня в Ереван — в благодарность и чтобы «ближе познакомиться с древней культурой Армении, с ее современной поэзией, прикоснуться к ее земле». Все так и было: два осенних месяца я знакомился и прикасался. С первого утра и до отлета в Москву меня не отпускало волнение: я различал в нем радость, тоску, приподнятость, значительность момента, но главное — первообразы и чувство принадлежности чему-то, чему так наглядно принадлежала Армения. За аэродромом была географическая Россия, но за горизонтом, да даже просто вот за этими валунами, вот в этих валунах — Палестина, сколько-то мистическая и вполне, вполне реальная. С Арарата должен был быть виден Синай — только и до Арарата-то, забредшего в Турцию, было не добраться. И еще проносилась в этом волнении тень Мандельштама, за сорок лет до того поселившаяся здесь среди орущих камней и хриплых гор.

Переводчиков армяне пригласили пятерых, но приехали только я и Арсений Тарковский с женой. Мы уже были знакомы по Москве. В Ереване мы жили в гостинице «Интурист» и встречались за завтраком. Тарковский был настоящий поэт, и человек красивый, и судьбы драматической, и мыслей необщих. Разговаривать и просто болтать с ним было одно удовольствие, если не обращать внимания на почти тотальную неприязнь к людям. Не то чтобы он только и ждал момента сказать про кого-нибудь что-нибудь плохое, но готовность всегда сидела в засаде. Кого ни упомянешь — бездарность, предатель, провокатор, вор. Уже и нарочно подчеркнешь: *мой друг и благодетель N...* В два голоса: провокатор, вор. Ты им: да хоть бы вы и сказали, что он убийца... Хором: а он убийца! Главный пунктик был, что все стукачи. Такого-то выпустили в Париж, а кого сейчас выпускают в Париж? Поначалу я еще отвечал: вот такую-то, уж никак не... Вот именно! Две недели просидела безвыходно в советском посольстве, стукачка клейменная. И так далее, беспроегрышно, но как-то скучно, не задевает.

Тем более что лет за пять до того он говорил разным людям, что я представлен к Ахматовой. Кто-то ей передал, она, обдумав, решила сказать мне, но предварительно взяла слово ничего по поводу услышанного не предпринимать, не посоветовавшись прежде с ней. А мне, признаюсь, ничего предпринимать и не захотелось опять-таки — не тронуло. У меня тогда были другие заботы и интересы другие. А он ведь, не чтобы опозорить меня, так говорил, не чтобы обидеть, а просто так думал. Тому же, кто это ей передал, она сразу вернула, что никогда не поверит, что «такой человек, как Арсений Александрович, про та-

кого человека, как Анатолий Генрихович, может такое подумать». По всей видимости, эти слова до Тарковского доплыли, потому что через год на похоронах Ахматовой он обнял меня и сказал: «Я так рад», — а радоваться, я подумал, если не тому, что я не стукач, особенно нечему.

Три раза в день мы ели в ресторане «Интурист» очень вкусные вещи, и, когда хотели, пили замечательные вина, и ни за что не платили. Платил Союз писателей, а мы только расписывались на счетах. Официанты чем дальше, тем больше меня любили и тем более старые бутылки приносили: «Васкеваз» 1939 года, а на прощание «Васкеваз» аж 1903-го, оказавшийся кисленькой водичкой, выдохся. Когда нас куда-то возили, в Зангезур, в Татев, на Севан, пиры устраивались в маленьких деревнях за большими столами. Одна неделя выдалась особенно ударной, сплошной: переезд, застолье, тяжелый сон, переезд, застолье. Я уже мало что соображал, и, когда очередной тамада начал: «А теперь...», — я, как мне показалось, элегантно продолжил: «А теперь выйдем поглядеть на звездное армянское небо. — И, как мне показалось, изящно закончил: — Вон уж и коньяк весь допит». После секунд жуткой тишины хозяин завопил: «Кто допит?!» — и распахнул платяной шкаф. Под тесно висящими тяжелыми зимними пальто тесно стояли, я не знаю сколько — сто! — бутылок трехзвездочного (как известно, лучшего, чем парадный пятизвездочный) коньяка. В бутылках ждала своего часа моя мука, между пальто — моя смерть. Я весело засмеялся, непринужденно встал из-за стола, вышел на крыльцо и упал в обморок.

Между тем надвигалась беда: на Тарковских — ими вызванная более или менее исподволь, на меня — ими же, чтобы уйти от своей. Общение с инородцами на своем языке дает эффект превосходства, совершенно, однако, ложный. Кто говорит с тобой неправильно, с акцентом, напряженно, само собой выглядит дурей тебя. Мы смотрели с горы на перекрученное русло реки Воротан, нам показывали деревенки по ее течению и черные пятнышки пещер в скалах над ней, и один из сопровождавших сказал: «В одном из таких пещур родился я». К тому же еще у него были огромные усы и дыбом стоящие волосы. Ну, ди-карь, *армян*. Это был один из самых пронзительных, тонких, мудрых людей на свете и писатель яркий. Но для русских он был «из армян», а армяне, ну, сами знаете, «ереванский луна выходил на небес». Калмыки, буряты, узбеки — ну, сами знаете. (Я, между прочим, как раз знал. Я всю жизнь был «из евреев», а в последние годы, выезжая за границу, «из русских», то есть где-нибудь в Англии, во Франции, после незаметного влетания речи в Indefinite вместо Perfect — тоже «из жителей пещур».)

Мы ехали по шоссе и прочли: «Село Аштарак». «Аштарак, Аштарак? Что-то это мне напоминает, — сказал Тарковский. — Это не здесь делают такое вино?» Ехавшие с нами *армяне* подтвердили снисходительно: «Здесь, Арсений дорогой». «Ой, остановите!» — всполошилась жена, а муж присоединился: «В самом деле, давайте остановимся, купим». «Арсений дорогой, зачем «остановимся, купим»? Чтобы нас аштаракцы обманули? Будет тебе вино и без «купим». Мы уже выезжали из села. Вечером им принесли бочонок «Аштарак».

Вино кисло, лаваш черствел, зелень сохла у них на балконе. Наконец и они устроили прием, за неделю до отъезда. Накануне за завтраком Тарковский сделал мне предложение, смутившее меня: лестно отозвавшись о моих переводах, он предложил перевести литовского поэта, но под его, Тарковского, именем. После Армении их ждала Литва, он обещал приехать с готовым переводом, но пропустил время, и вот... Гонорар, разумеется, мне. Он знал, что мне нужен заработок, мы с женой тогда только что переехали в Москву и жили с ее матерью и маленькой дочкой вчетвером в маленькой комнатке в коммуналке. Как ко всем, я обращался с просьбой достать переводы и к нему. Но переводить за кого-то я был не готов, не хотелось. Путано извиняясь, я отказался. Приглашения на вечеринку, сделанного прежде, это, однако, не отменило.

В ту осень грузины праздновали 1750, что ли, лет — кажется, не ошибаюсь — основания Тбилиси. Едва это число было названо, армяне, сдерживавшие до того кавказский соревновательный пыл, нашли камень, на котором было выбито, что урартский царь такой-то тогда-то закладывает на сем месте крепость Эребуни, то бишь Ереван. «Тогда-то оказалось точно за 2700 лет до дня находки, надпись — превосходной сохранности и легко читалась. Вокруг камня построили фанерный макет города в натуральную величину, покрасили в яркие цвета, из которых выделялся синий, и запустили публику. Привезли и нас, мы зна-

чительность минуты прочувствовали, исторически затуманились, а через пару дней Арсений сказал, что написал по этому поводу стихотворение. Оно и стало предлогом и должно было стать центральным моментом устраиваемого приема.

«Прием» — применительно к случившемуся и даже к предполагавшемуся — неудачное слово, употребляю его за неимением лучших. Чай. У Тарковских была спиртовка, на ней они в номере кипятили воду, варили кофе, заваривали чай (см. стихотворение Незвала о Библие). Итак, гостей позвали на чай: спиртовка, чай, кофе, печенье — другая культура. После платяных шкафов с коньяком это было трогательно, выглядело обаятельно, это был прием *по-этно*. Пожалуй, только с приглашением вышел перебор: излишне торжественно приглашали.

Разговор шел сдержанный, соответственно обстановке. Видимо, чувствуя себя не в своей тарелке, хозяйка вдруг сказала, что не знает, почему армян очень любит, а азербайджанцев не очень. Настал момент стихов. У Тарковского был чудесного тембра голос, серебряный, певучий, страдальческий. Он начал с легкого кокетства, мол, читать свои стихи не умеет, и попросил меня прочесть написанное им. Да ну, что вы, Арсений! Читай сам, Арсений дорогой! Нет, честное слово... Нет, нет, дорогой! Наконец он стал читать. Стихотворение было красивое, печальное, кое-где проступал мандельштамовский синтаксис. Срединная строфа была — «они хотели всем народом распад могильный обмануть и арагатским кислородом продуть страны большую грудь». Он кончил среди могильной тишины. Прошло с полминуты, тишина была отнюдь не восторженная, он забеспокоился, стал спрашивать одного, другого: ну как? Наконец самый старший произнес: «Армяне никого не обманывают», — и опять угрожающее молчание. Он стал объяснять, я подхватил: распад могильный хотели обмануть могильный распад, смерть... Повернулись ко мне, и старший повторил: «Никого. Никого не обманывают. И не хотят». И потянулись к двери.

Перспектива остаться утешать выглядела совсем непривлекательной, я тоже попрощался и вышел. На лестнице меня догнал один из гостей. Это был европейского склада тип, умница, очаровательный, по-русски говорил с московским смаком, легкий акцент только прибавлял красноречию прелесть. Он был филолог, критик, в России с ним многие из поэтов дружили, мы с ним приятельствовали. На этот раз он был мрачен, я пошел его провожать. Он молчал, потом пробормотал: «Азербайджанцев она не любит, а армян любит! Просто Иисус Христос».

Тарковские позвонили утром до завтрака, просили срочно зайти. Они не понимали, что случилось: вчерашняя реакция, сегодня ни по одному телефону никого нет. Я пытался объяснить, но они не верили, что те действительно обиделись на строфу — не важно, справедливо или нет. Что недовольство на них нарастало постепенно, из-за всех этих аштарак и васкевазов, ни я не мог сказать, ни они допустить. И вообще слишком мы заговорились, слишком привыкли ездить в горы и расписываться на ресторанных счетах. Я хоть еще старался что-то переводить, стихи моих сверстников, туманяновскую «Ануш». (Уже существовал десяток ее переводов, но *че*, нет, не дотягивали до подлинника, и в ожидании чуда заказывались новые.) Тарковские же просто отдохали, и я их понимаю и тогда понимал, а армяне уже не хотели понимать, *че*.

Арсений попросил меня привести моего приятеля-филолога, чтобы объяснить. Я позвонил, тот сказал: «Эй, здесь Ереван. Здесь другие люди. Когда они сердятся, они сердятся, как львы. Держись подальше, чтобы тебя не зацепило». Я наврал Тарковским, что он уехал в деревню. Назавтра я улетал, он меня провожал из гостиницы, они это видели. Через месяц в Москве я встретил знакомого, который спросил, как меня угораздило влезть в такой скандал. Потому что Тарковские рассказывают направо и налево, что я покупаю кооперативную квартиру и потому, нуждаясь в деньгах, поссорил Арсения с армянами, чтобы перехватить предназначавшиеся ему переводы... Это была первая настоящая клевета, с которой я столкнулся в моей жизни, чистый жанр, классический рецепт — четкое чередование правд и неправд: да, покупаю, нет, не перехватывал, да, нуждаюсь, нет, не поссорил. Так да или нет? Что-то ты, парень, запутался.

Я только-только переехал из Ленинграда в Москву, только еще приставал к бурлацкой артели переводчиков, впрягался в общую лямку. Хуже начало

трудно было придумать. Я рассказал все Петровых. Она знала Тарковского с 30-х, они дружили. Мой рассказ звучал почти трагически, и я не притворялся: я был сражен, убит. «Ну Арсик, ну чего вы хотите! — сказала она, закурив. — От него только такое и привыкли слышать. Вы не знаете, как вам повезло, что вы отказались взять литовца. Вот это была бы жуть — как у ..., — она назвала имя поэтессы, которая на это согласилась. — А что он сейчас про вас говорит, через неделю никто не вспомнит. Это касается не вас, а его. Еще один случай подтвердить репутацию. У Арсения такая репутация, но я его все равно люблю».

Это было как чудо: никогда после я не встречал никаких следов этой истории, в те дни казавшейся катастрофой. Все пошло как надо, я налег плечом, поймал шаг, железная баржа поползла — первый миллиметр, полметра, метр. «Зазубрил ли ты, переводчик, арифметику парных строчек?» — как писал в свои лучшие годы Арсений. И едва мне вспомнится это двустипшие и другие его стихи пойдут вспоминаться, и сам он, красивый, стройный, тяжело хромающий, и печать благородства на всей его внешности, на всех манерах, на самой хромоте, и голос, серебряный, страдающий — как я тоже его люблю. Все эти страсти той поры, и сильное слово «клевета», и плесневеющие лаваш и вино на балконе напротив памятника Ленина бледнеют, размываются, отступают, а он видится все ближе и отчетливей, все более чарующе. И я начинаю думать, что, может быть, лучше было бы, если бы стала тогда эта история «катастрофой», если бы выгнали меня, по его слову, из всех редакций и мне не пришлось бы волочить эту железную махину еще метр, десять, сто, полкилометра — переводя, переводя.

МОСКВИЧИ В ЛЕНИНГРАДЕ И ЛЕНИНГРАДЦЫ В МОСКВЕ

Безобразие распространено по земле наравне с благообразием, и, сколько от него ни отворачивайся, обязательно наткнешься на что-нибудь по-другому, но тоже безобразное. Так что даже, когда это слово восклицают в сердцах, не о чистоплюйстве идет речь и вообще не об оценке, а о естественном назывании вещи ее именем. Благообразие может наскучивать, безобразия — восхищать: оно не перестает от этого быть «безобразием».

Ленинградец. Приезжает. В Москву... Никуда он больше не приезжает — ну, в Таллин — Ригу раз в два года, ну, в Ташкент раз в жизни. Так что Москва тебе и Париж, и Нью-Йорк, и, возвращаясь в Ленинград, изволь возвращаться не просто с впечатлениями, а *обогащенный*. Так что повидался с друзьями-приятелями; погулял, или, как говаривали *баре*, особенно в *златоглавой*, пображничал с ними; почитал в каком-то доме, где собираются хмурые обоего пола молодые люди в свитерах, стихи; стрельнул в том-другом издательстве переводиков или хотя бы обещаний их получить; куда-то еще разок-другой *попал* — на «левую» выставку, на прогон спектакля — и... И, ну, позвонил, например, кому-нибудь из тоже знакомых, но уже социально продвинувшихся, уже, например, чьих-нибудь заместителей — главного, там, редактора, а то и секретаря *писательской организации*. Чтобы, так сказать, «быть в курсе» — хотя куда этот курс применить в твоей абсолютно и принципиально иной жизни, не имеешь никакого понятия.

Звоню В. — в 22 года познакомились, отнюдь не покорешились, а так, общались. Жена, Стелла, тогда еще не первая, а просто жена: «Голечка, братик, кровинка моя, псалмопевец, ты где? Немедленно! Сию же минуту! Мы все! Все же ждут!..» Времени 11 часов утра, понимаю, что пьют с вечера. По пути заехал в журнал «Знамя», бульвар в белом снегу, девичьи лица ярче роз. Гаяля Корнилова с хрупкой стройностью, с нежной не без иронии стрункой, Аннинский: блямс — парадокс, хрясь — афоризм, но все про каких-то мартемьяновых, передувых, которых творческий путь он один и наблюдает. Сшибаю три подстрочника молдаванина, один начинается «Алиготе. Фетяска. Алб-де-кодру», сплошь сухонькие, но все равно видно, что симпатичный человек, — и я, стало быть, так начну. Слово за слово, уже два, до «Аэропорта» добрался около трех. Писательский дом, консьержка, по-простонародному — вахтерша, на подоконнике перед ней кактусы, фу-ты ну-ты.

Дверь в квартиру приоткрыта, и оттуда гул. Гуд, гудят люди. Стелла по-новой: «Кровинка, братик, лироносец...» Лироносец, только так. В трех комнатах человек шестьдесят, из половины льется речь, из другой — безмолвие, глаза горé, пьяны, как зюзи. Разбились на пары, самое большее — тройки, и кто гулит, кто, повторяю, гудит. И все, даже кто не курит, держат в руках сигарету и стряхивают пепел: главное тут — в рюмку с остатками питья стряхивать пепел, не глядя и про что-то неудобопонимаемое что-то несусветное неся. Бутылки: на полу пустые, на столе пустые и неполные, одна к другой вплотную. Наливаю в фаянсовую чашку — стеклянное все разобрали — коньяку, становлюсь в угол у дивана. На диване, подо мной, — о, да это Талызина Ира из Ленинграда: в годах уже, у нее в Ленинграде архитектор, член партии. Сделал проект морского вокзала: с пристани входишь внутрь, перед тобой глухая стена и во всю стену «решенный», как он говорит, «в смальте» красный флаг с серпом и молотом. Будь ты хоть разантикоммунист-разантисоветчик, все равно пройдешь у меня под знаменем под нашим — это он так свой архитектурный замысел объясняет. А тут сидит она с лысоватым брюнетом в усах, который ей внушает: «Пойми, Ирина, наша связь была ошибочной». А она: «Возможно, но ведь была же». И снова он: «Пойми, Ирина», и опять она: «Возможно, но», — и этак раз сто.

Неточным шагом Айседоры Дункан подруливает Стелла: «Игорек (это ее муж, тогда еще не первый, просто муж) напечатался в «Юности», вчера номер вышел, мы и собрались». Допиваю, озираюсь и вижу, что действительно все собравшиеся — авторы журнала «Юность»: их там с портретами печатают, так что кто — кто, непонятно, но физиономии явно виденные. Должен заметить, что всю жизнь слова — все без единого пропуска — для меня значимы примерно так, как для ребенка, когда он учился говорить. Например, «юность» или «молодость», сколько ни пой «коммунизм — это молодость мира», должны после всех пений и причитаний сохранять пусть небольшую, но улавливаемую органами чувств дозу содержания чего-то юного и молодого. Что-то от «юности» была — как молитва воскресная», что-то от «молодость моя, моя голубка». Чтобы Сафо могла сказать: «О, юность (у нее, правда, попронзительнее: «О, девственность»), куда ты от меня уходишь!» — и сердце все-таки сжалось, несмотря на старания журнала «Юность». А то берешь газету «Русская мысль», а там статья «Гастроли виннипегского балета в Дижоне». Русская мысль может быть плоской, пошлой, убогой, но ни при каких условиях гастроли виннипегского балета в Дижоне не могут стать русской мыслью.

А тут сидят развалившись, стоят, покачиваясь, и даже, всхрипывая, лежат в самом безобразном, самом обратном юности виде лысоватые прохвосты, и они — цвет юношеской прозы и, того лучше, юношеской поэзии. Согласитесь, душа протестует. Раздается телефонный звонок, Стелла говорит в трубку: «Сирень моя, ну немедленно!» — и через двадцать секунд в комнате появляется молодая женщина в строгом английском костюме с грудным младенцем на руках. Это соседка по лестничной площадке: услышала шум, решила принять участие. Появление младенца приводит всех в какое-то неистовство, все, даже самые немошные, задвигались, вскочили, кинулись к маме, протягивая руки. Давай расчищать середину стола, крайние бутылки давай грохаться на пол. И вот младенец уложен в центре, между стекол, окурков, огрызков, шевелит ручками-ножками, и над ним наклоняются, колеблясь, носы, клыки, клоки волос, слюнявые рты. Босх.

Нет, не сравниться нашему ленинградскому доморощенному безобразию со столичным. Могут быть и у нас всплески разнузданности, и мы не чужды культуре свинства, скажем, приходишь к приятелю на день рождения, звонишь в дверь, и он тебе открывает — в строгого покроя пиджаке, в жилете, застегнутом на все пуговицы, в галстук той же расцветки, что и платочек из верхнего кармашка пиджака, но при этом в трусах и босой. Вроде бы разгуд налицо, но проглядываются в нем какая-то мысль, преднамеренность и картинность. И какой-то всегда подтекст есть у такой ленинградской пьянки, и надрыв, никак до конца не уясняемый. А чтобы вот так от души, не ради свинства, а *вследствие* — за этим надо ехать в Москву.

И за другим, и в первую очередь за другим, не ловите меня на слове. Но мы ведь не трактат сочиняем, не анализ проводим, не теорему доказываем, а всего лишь именно этого самого слова не выкидываем из песни, из прошлых куплетов, из дешевого шлягера. Можно бы уравновесить, а еще лучше — перебить

описание пьянки рассказом о домашнем обеде с Солженицыным в доме у Чуковских, о первой перепечатке по просьбе Ахматовой «Реквиема» и первом разговоре о нем — это тоже было в Москве. Однако могло это быть и где угодно, и в Ленинграде, и описанию этого — свое место и свое время.

Или можно рассказать, как, не сговариваясь, съехались в Москве мы четверо, очень тесно тогда в Ленинграде дружившие, на виду друг у друга писавшие стихи — Бобышев, Рейн, Бродский и я, — и нас пригласил к себе Давид Самойлов, которого, если ты жил в Москве, надо было — и уютно было — хотя бы за глаза называть Дэзик, острого ума и привлекательной одаренности поэт. Он был женат тогда на Ляле, красивой, пышной, с тугой косой вокруг головы. И вот мы сидим вшестером вокруг стола и пьем какое-то винишко, не то чай с печеньем, и он все повторяет: «Ляль, ты посмотри, вся ленинградская школа разом, а! Ты только посмотри!» — и никак не может с этого слезть. И тем для нас необъяснимей его волнение, что мы слышим в этом только фразу, что «школа» применительно к нам, просто Диме, Жене, Осе и Толе, звучит искусственно; что это в Москве (мы тогда еще не знали, что в Москве в *ЦэдээЛ*) «так говорят»... И что? Интересно ли, забавно ли читателю, если только он не архивен юноша, читать, а мне, если я не анкету заполняю, писать про то, что интересно было единственному хозяину? Или все-таки про ребенка на столе ну на чуть-чуть поинтереснее? Я хочу сказать — *пообщееинтереснее?*

Случались и выездные сессии — *таковой* Москвы в *этакий* Ленинград. Поэтесса А. Б. и таланта пленительного, и прелести редкой, наша ровесница, вышла замуж за Н., знаменитого прозаика и вообще заметную в Москве личность, внешне и манерами похожего на киноартиста, а впоследствии режиссера Юрия Любимова. И они приехали в Ленинград, и А. Б. позвонила из гостиницы «Европейская»: все, во всяком случае, я и друг мой, поэт Дима Бобышев, приглашены выпить, обменяться творческими достижениями, познакомиться с писателем, оценить новый брачный союз. Швейцар и еще два человека в одинаковых тугих костюмах и ондатровых шапках-ушанках безжалостно смотрят на нас, а мы, провальсировав сквозь зеркальные вращающиеся двери в теплый с ресторанным запахом полумрак вестибюля, смотрим нежно на золотые, в стиле арт-нуво, буквы LIFT справа от входа, и Дима, подумав, произносит зачарованно: «Лывт».

Н., с привлекательным тиком и обаятельным всхлипыванием, пожимает руки, наливая, подкладывает осетринки и семужки и, все это производя, не прекращая разговора с альбиносом Лёкой Ипатьевым, своим давним испытанным дружком. Обоим лет по сорок, за сорок. С Лёкой мы знакомы мельком, ни я, ни кто толком не знает, Лев он, Леонид или даже Лука, известно только, что происходит из немисливо древних дворян, кровей не славянских и не скандинавских, а греко-римских, которые еще при Грозном писались как Гиппатиевы, что он фантастически беден и болезненно аккуратен. Однажды он подсел за мой столик в кафе «Отдых» на углу Горького и Столешникова, и когда подошла официантка, поднял на уровень глаз стоявшее перед ним блюдечко, неторопливо повертел, осматривая на предмет чистоты, что-то с него сдул, поставил на стол и наконец сделал заказ: «Кофе, пожалуйста. Без молока». А сейчас богатому Н. он рассказывал — в самых общих чертах — замысел киносценария, грандиозного, который хочет переслать в Голливуд, хотя Ленфильм предлагает купить его на корню за бешеные деньги.

Вернее, он не рассказывал и Н. не слушал, а исполняли они некую пантомиму, на которую должно было уйти времени и звука, как на рассказ и его выслушивание, и по окончании которой дело должно было выглядеть так, будто Ипатьев замыслил сценарий и Н. согласен, что замысел могуч. Когда время и звук отошли, Н. прибавил еще несколько секунд на молчаливую перемену темы и потом сказал: «Значит, так. Мосфильм со мной заключил договор на три сценария: про ребенка, про подростка, про юношу. Октябренок, пионер, комсомолец. Про ребенка — это мой рассказ «Репкин». Подросток — в тумане, но что-нибудь замастырю. Про юношу — ноль по Кельвину. Не хочешь ли подкальмить? Без имени в титрах, естественно».

Лёка Ипатьев дал те же несколько секунд на обозначение того, что он взвешивает и обдумывает слова друга и товарища по цеху, и заговорил легко, без запинки, как если бы давно ждал именно этого предложения. Да, тема ему близка, он много размышлял о современном юношестве, о путях, которым сле-

дует. Прямо-таки чудо какое-то, что он именно о юношах уже даже начал писать сценарий. Для себя. Между прочим, тоже хотел отдать на Мосфильм. Юноша, простой парень, комсомолец, работает в колхозе, помощник тракториста. Есть у него мечта — самому стать трактористом, влезть в пропахшую соляркой кабину, рвануть рычаг и вспахать поле. Но — молод еще: подожди, говорят, годик, поучись у старших.

Однако случается непредвиденное: ночью на МТС начинается пожар, самовозгорание ветоши. Юноша первый прибегает к сараю. Трактор стоит в таком сарае, в дощатом, в амбаре таком, ну, в общем, как сарай. Ветошь сильно надымилась, дым распространяется, доходит до соседнего сарая, а там кони. То есть соседний сарай — колхозная конюшня. То есть конюшня примыкает к МТС, так всегда в колхозах. Кони ржут, стучат копытами в доски стойла. Стойл. Огня нет, но дым. Огня не должно быть — черный экран, и фонарик юноши выхватывает слоистые пласты дыма. Ржание и стук копыт — это метафора тракторов, желающих вырваться из удушливого плена на волю и пахать. Юноша проникает в сарай, где тракторы, в этот амбар, где они. Может быть, даже делает подкоп. Или сшибает замок ломом. Лом даже гнется, руки сбиты в кровь. Он задыхается, теряет в дыму ориентацию, только луч фонарика выхватывает то его напряженное лицо, чистый юношеский лоб, крылья носа, искаженный тяжелым дыханием рот, то руку, нащупывающую дорогу, то плуг. Плуги. Наконец, ладонь касается холодного металла — это его стальной конь!

И тут кульминационная сцена. Фонарик разбивается и гаснет. Несколько секунд абсолютно черного экрана, только дыхание со свистом и издалека ржание и топот. И вдруг взрывается мотор. Камера уже снаружи, из туч на миг выглядывает луна. Черный куб сарая со стелющимся понизу дымом. Слоистыми такими пластами. Луна исчезает, и в эту же секунду в щели между досками пробивается свет вспыхнувших фар. Рев мотора нарастает, и вот черный торс трактора проламывает стену и вырывается на свободу. Черный экран разрезается парой ослепительных прожекторов. Две горизонтальные струи света, представляешь! Высвечивают даль, поле. Кони разбивают копытами стенки стойл и тоже выбегают. То один, то несколько попадают в струи света, пересекают их! Это можно грандиозно снять, это тебе не «Белая грива»! И тут уже поспевают колхозники и гасят тлеющую ветошь. Потом смотрят вслед трактору и видят, как он пашет. Не останавливаясь. Они понимают, что испытывает сейчас юноша. И, действительно, свет падает на его лицо, на нем выражение восторга: парень крутит руль самозабвенно...

На этот раз Н. — всхлипывая, сопя, всхрапывая — помолчал уже не из этикета. Я смотрел на Ипатьева с восхищением: он не делал подлых оговорок, дескать, мы-то понимаем, что это за хренятина, не подмигивал цинично, дескать, гнусь, но вынуждены мы в их игру играть. Он рассказывал про стойла и амбары с азартом, чуть ли не вдохновенно, любя комсомольца, как должен был полюбить его зритель и, что гораздо важнее, прежде зритель — редактор и худсовет. Н. пересел с постели на кресло и сказал: «И сколько ты за *это* хочешь?» «А на сколько договор?» — спросил Ипатьев. «Шесть тысяч». «Семьдесят пять процентов». Все понимали, что он блефует, но блеф был столь очевидно неправдоподобным, что бросал тень уже и на правдоподобность самой возможности такого сценария, возможности его написать, увидеть его в виде покрытых буквами листов бумаги. «Вот видишь, лапушка, — не выговаривая «л»: упушка, произнес, обращаясь к жене, Н., — я прав: мама стареет. Это же она посоветовала: позвони Лёке Ипатьеву, он тебе за двести рублей все напишет. Не та, не та уже мама, что была. И Лёка, погляди, как переменялся». Все откуда-то знали, что мать Н. — умнейшая особа и им руководит, как мать Блока. Ипатьев выпрямлял ладонь, внимательно всматривался в ногти на вытянутых пальцах, давая понять, что хотя и оказался свидетелем столь откровенного разговора о некоем Лёке, но что на него можно положиться: никогда эти сведения не попадут к Лёке через него, Ипатьева.

Смешно. Смешной Ипатьев, смешно Н. сказал, смешная сцена. Но как-то не забавно. Смешно, но не забавно. А что и забавно, скажем, ипатьевская пыльность, с какой он нес всю эту дребедень, то, уж во всяком случае, не весело. Смешно, как бывает, например, когда видишь, как пьяный у всех на глазах, изумленно глядя вокруг, описывается в штаны. Вызывает смех, но и некоторое желание не быть в эту минуту в этом месте. Литература — дело грязное, как

проповедует в «Униженных и оскорбленных» князь Валковский, но ведь это прежде всего по контрасту с «Шиллером», с чистотой, с поэзией. Грязным бывает только чистое: платье, тесовые ворота, паркет — уголь не грязный, в болоте нет грязи. Мы ведь пришли, имея в виду, так сказать, встречу с поэтессой и ее мужем-писателем, с поэзией, с талантом. Ветчинка и рыбка очень даже способствовали радости встречи, мягкий коньячок очень кстати возгревал рождаемое ею вдохновение, но не просто же поддать и похавать в драпировках арту — ну мы явились.

И объявленные шесть тысяч за один сценарий, восемнадцать за три, сильно впечатляли, приобщали нас, всего лишь только слушающих, точнее, холуйскую сторону нашей души, благодарно готовую приобщиться к кругу «больших людей», к профессионалам, к творческой индустрии. Но ведь где-то же была «Белая грива» и «Красный шар» Ламорисса, была «Атланта» Виго и «Дорога» Феллини, и уже Годар и Ален Рене только что что-то сняли — и никто из них ни со словом «юношество» несовместим, ни с «отработать аванс», ни, похоже, в аренду за двести или сколько там рублей никто из них не сдавал сценарий Лёке Ипатьеву.

Когда, попав на сценарные курсы, я жил полтора года в Москве, то стал похаживать на беге. И потом, приезжая на неделю-другую, навещался туда в воскресенье — не из азарта уже и даже не игры ради, а больше по инерции и по привязанности к обстановке, атмосфере, воспоминаниям. Может, это потому, что я родился в конце Марата, недалеко от Звенигородской, и меня в коляске возили на ипподром гулять; может, потому что начало войны — а это все-таки пронзительное впечатление детства, на всю жизнь, — соединилось в сознании с тем же ипподромом, на который, как говорили, немцы сбросили первый парашютный десант, еще в августе, — и не стоял ли я, пятилетний, у окна, когда их, человек двадцать пять, вели под конвоем в сторону Разъезжей? Так или иначе, лошадам — и компании на сорокакопеечной трибуне, чем-то также похожей на конюшню, — я отдал дань. И однажды, сразу после последнего заезда, был приглашен неким молодым джентльменом, кстати сказать, кинооператором, с которым только что познакомился, на обед к его другу, тут же стоявшему в загадочном молчании и неподвижности.

Приглашено было еще три человека, с одним из которых я приятельствовал, и по дороге он объяснил мне, что хозяин — сын секретаря компартии одной из сопредельных и дружественных Москве стран. Мы приехали в дом у Никитских ворот, с зимним садом в вестибюле, с вооруженной охраной, все как полагается. Квартира занимала целый этаж, выходила окнами туда и сюда и еще куда-то. Я, как выяснилось, принадлежал к тем, кто «свою образованность хочут показать», и попросил разрешения посмотреть библиотеку. Хозяин ответил, что библиотеки как таковой еще нет и книги разбросаны по разным комнатам, в частности, он показал рукой за спину. Там, на полке, точнее, в проеме «стенки» — самостоятельной части мебельного гарнитура, — между хрустальной пепельницей и медной вазочкой с искусственным тюльпаном находилось две книги: одна стоямя, одна лежа — четвертый и шестой тома «Сказок тысячи и одной ночи».

Мы сели за стол, и средних лет официантка в передничке и кокошничке вкатила легкую, применяющуюся в самолетах конструкцию, уставленную глубокими тарелками, которые были покрыты плоскими дном вверх. На столе они менялись местами, в глубоких был куриный бульон с гренками, прохладный. На второе — мясо, суховатое, со скучным, хотя и сборным, гарниром. Выпивку мы принесли с собой, купив по пути. Говорили мало, искусственно и абсолютно бессодержательно. Больше всего мое внимание задержалось на съедобных, выпеченных из песочного теста розетках, в которых лежал зеленый горошек: не в ресторане же мы, чтобы в розетках-то! Почему это мероприятие под присмотром угрюмой кафэбэшницы с крахмальной наколкой на завитых перманентом волосиках кинооператор называл на ипподроме дружеским обедом, было непонятно так же, как гастроли виннипегского балета, названные русской мыслью. И — как циничный, отчасти смешной, отчасти уголовный, ну, не уголовный — блатняцкий, разговор, названный мною! Мною! Никто не виноват, я так себе его назвал, когда позвонила из гостиницы А. Б.! — я и, надо думать, она сама) встречей поэтов, встречей поэтов и писателей.

«Нежный Толя, станьте грубым, и история вас не осудит», — надписал мне книжечку своих стихов Давид Самойлов, которого я в глаза так и не научился звать Дээик. Он прав, прав стопроцентно — кто спорит? Но хоть бы раз кто-нибудь кому-нибудь написал: «Грубый... (подставим любое из почти пяти миллиардов имен тех, кто поборол в себе недостойную слабость нежности), станьте нежным», — и дальше что-нибудь столь же бесспорное о суде истории.

Непродуктивно, не говоря уже о том, что нечестно чью-то невинную оговорку толковать с передержками в пользу собственной концепции. Самойловская надпись звучит как реплика в разговоре и, очевидно, была сделана по конкретному поводу, не помню какому. Есть, однако, в ней и значение расширительное, посылка, или, как сейчас говорят, *месседж*. Набросаем самый приблизительный и воображаемый чертеж механизма, который ее породил. Неоперившийся поэт, почти юноша, попадает на страшную войну. Там он складывается и как поэт, и как характер. Установка на нежность (если бы таковая могла существовать в отрыве от органики) раз и навсегда отменена эпохой, четверть века назад, с приходом новой власти. Установку на отказ от нежности, на мужественную грубость, на правду-матку война делает естественной, солдатство как позиция в какой-то степени культивируется. Эта установка, само собой, направлена против так называемых сантиментов, то есть если выбирать между лилеями и солдатскими гетрами, то никак не лилеи. И тогда вместе с лилеями неприметным образом исчезают розы с эфеса, Церера с губ, бог Нахтигаль — и весь офицер оказывается изгнанным... Кем? Похоже, что солдатами в гетрах, в просторечии называемых обмотками.

Что, мы не знаем, что в искусстве существует институт «негров»? Но именно потому, что в искусстве он от чужих глаз скрыт. Как-то там договариваются Дюма с пишущей на него братией, Рубенс со своими подмалевщиками и даже Брежнев с подданными-журналистами. Галера идет, но гребцы в трюме... Что-то было недопустимое, невозможное, развратное в том, что переговоры с Лёкой Ипатьевым, какими бы шутками их ни сдобривать, велись на людях, напоказ. Убивать, блудить и воровать нельзя не потому, что Моисей слова Бога написал на каменных досках, а потому, что, делая так, ты открываешь то, проникаешь в то, что по определению от тебя и от всех закрыто: капсулу чужого духа, чужого тела, чужого дома. Каждый это знает еще до чтения заповедей, из собственного сердца. Грубость — мужественная, мужская, солдатская, так же как элементарная хамская, — учит нарушать то, что создано как сокровенное и должно переживаться как интимное: разрешает прилюдно мочиться и испражняться, обсуждать совокупление и прямо совокупляться, уславливаться о краже и дележе краденого.

Еще один абзац, для последнего исповедального взрыда, и обещаю, что заткну фонтан морализирования. Лет восемнадцать я впервые попал в компанию, не литературой воспитанную, не принципами и концепциями руководимую, а в которой все было «весомо, грубо, зримо», как в «настоящей» жизни, свободной от всех иллюзий и игры воображения. Как любая другая, эта «настоящая» компания могла быть литературно описана, обсуждена с разных точек зрения, исследована и, в таком виде попав в книгу, стать тем самым еще одной «ненастоящей», так ведь? Я пришел туда с приятелем, который был там своим человеком, каковым и меня автоматически делало приятельство с ним. В просторной комнате коммунальной квартиры находилось два десятка молодых людей и девиц, состоявших друг с другом в общении и выпивании. У стены располагалась широкая кровать, и на ней под простыней лежали красивый малый по кличке Конь, которого я мельком видел несколько раз на улице, и блондиночка с обыкновенным, а потому неусваиваемым именем. Они разговаривали с остальными и остальные с ними, как если бы и Конь, и его партнерка были, как остальные, вертикальны и одеты. Чем больше я делал вид, что мне это хоть бы хны, тем мучительней переносил ситуацию. Мгновениями эти двое в постели на виду у двадцати наблюдателей, среди которых главным чувствовал себя я, становились особенно невыносимыми, словно превращаясь из особей животного мира в дышащих серой инкубов. «И скрылся Адам и жена его... между деревьями рая» — не потому, что были стыдливее Коня с блондинкой, а потому, что, оказывается, голому, да еще рядом с голой, появляться перед другими протivoестественно, нельзя. Можно, заставляя себя, привыкнуть, но и самый привыкший знает, что он сейчас голый, а что одет — когда оденется, — не знает. В

Болгарии в не сезон вышел я на пляж, а на нем три чеха и три чешки, возбужденно хохоча и повизгивая, в чем мать родила играли в волейбол, и из того, что было в движении, моталось, тряслось и подпрыгивало, не внушал отвращения — эстетически — только мяч, кстати сказать, каждую секунду падавший на землю.

В Н. было обаяние, действовавшее, когда он хотел, на всех, особенно на женщин. Он выказал знаки расположения ко мне, так, между прочим, и я тоже подпал под этот шарм. Потом мы столкнулись в Москве в издательстве, он сразу пригласил меня к себе. Оказалось, званый ужин, за стол село около дюжины гостей. Разговор зашел о лагерях и реабилитациях — не соображу уже, потому ли, что оттуда продолжали появляться люди, или потому, что какие-то из появившихся решились разоблачить своих доносчиков. Среди гостей был писатель Беляев, написавший книгу «Старая крепость», она была очень популярна все у того же юношества. Три другие под неизобретательно романтическими названиями «Залив в тумане», «Свет во мраке» и «Граница в огне» прошли с меньшим успехом. Он был страстным бойцом против католического проникновения на Западную Украину (через недобитых бандеровцев), но не православие защищая, а целостность державы, подрываемую папскими шпионами. Он несколько раз назвал себя непримиримым борцом с папизмом. Он говорил веско, немножко невпопад, не в застольной манере, а как бы с трибуны.

Как и все тогда, он называл террор культом личности, заметил, что ему тоже есть что сказать на эту тему, что и его коснулось. Познакомился он с дивчиной в середине тридцатых, еще до Веры. Такая красивая дивчина, жаркая такая, волосы золотые, крепкая, все при ней, Вера не даст соврать. Сидевшая рядом Вера, тоже крепкая, крепостью статуй, важно кивнув головой, подтвердила. Он тоже был горячий, сошлись, из песни слова не выкинешь, но, прежде чем начать «встречаться» *серьезно*, попросил ребят знакомых из НКВД проверить, не числится ли чего за ней. И что бы вы думали: племянница эсера Гоца, двоюродная сестра убийцы Воровского! Изолировали ее, сами знаете, какое время было. И вот сейчас вышла — совсем-совсем не то, Вера не даст соврать. Худая, зубов нет, волосы жидкие, смотрит хмуро... Вера опять, величественно кивнув, подтвердила.

Н., почти не скрывая, над ним насмеялся, но чересчур для того тонко — он язвительного остроумия не чувствовал, на сарказмы вроде: «Вот, значит, какие у тебя дружки были!» — отвечал прямо, без выкрутасов: «Парни один к одному, чекистская гвардия», — чем сводил язвительность на нет. Мне показалось, что Н. и не хочет реального столкновения, а как раз предпочитает двусмысленность и умело ее создает: дескать, ты, Найман, видишь мое негодование — и видь на доброе здоровье; а ты, Беляев, одобрение — и тебе не хворать.

В конце того же лета я позвонил ему, попросил займы на два месяца 140 рублей. Я просил с легкой душой, потому что деньги нужны были на жизнь, по 70 рублей на месяц, и гонорар, под который я брал в долг, был верный. Он ответил с обезоруживающей и милой откровенностью, что не далее как вчера получил за сценарий по этому самому «Репкину» те самые шесть тысяч, так что я своим звонком попал прямо в десятку; но что на руки, после вычетов выдали ему 4920, из которых 920 он отдает маме, еще тысяча идет, он уже договорился, на финскую баню на даче (тогда еще не говорили «сауна»), остается ровно три тысячи, и если он даст мне из них 140, это будет уже не три тысячи, не круглое число, а ни два, ни полтора. Соглашаясь, я искренне рассмеялся.

(Замечу, что через много лет ту же сумму давал в долг уже я: приятель, мастер детективного жанра, попросил одолжить 140 рублей до пяти часов вечера. Это был широкий человек, разбрасывал деньги направо и налево, потому часто вынужден был их занимать и каждый раз делал это с выдумкой. Он, например, мог сказать: «От 800 до 2000 на полгода», — и я, конечно, клевал на приманку и говорил, что дам 800, и он, подсекая, демонстрируя мне пружины ловушки и то, какой я простак, отвечал с торжествующей подначкой: «Тогда без отдачи». Когда я поинтересовался, почему 140 и до пяти, он объяснил, что подошел срок выкупа из ломбарда кожаного пиджака, который он тут же снова заложит и привезет мне деньги.)

Зимой какого-нибудь, наверное, 61 — 62-го года мы с Бродским оказались вместе в Москве. Он сказал, что хотел бы познакомиться с А. Б., я позвонил, они пригласили нас на дачу, в Пахру. Ехать надо было от крайней станции ме-

тро загородным автобусом. Стояли морозы, и мела пурга. Автобус шел бесконечно долго, и от остановки надо было еще бесконечно долго идти пешком. На нас были польские пальто, осенние, цвета маренго,— больше я этого цвета в жизни не встречал. Мы явились закоченевшие, но зато куда явились! В камине пылал огонь, нам немедленно было налито по стаканчику коньяку, поданы домашние туфли на меху. Сразу сели, вернее, бросились, за стол, ужин ждал нас, роскошный. Хрусталь, фарфор, серебро; водки, бифштексы, зелень. Все быстро опьянели — я по крайней мере,— но в коротком промежутке соображения мы с Н. успели поговорить об антикварном столе, за которым ели. Он поднимал скатерть, показывал инкрустации, рассказывал, в каком неказистом виде обнаружил этот стол в магазине, за сколько купил (за 500), сколько вложил в реставрацию (еще 500), а сейчас ему предлагают за него четыре тыщи. Он говорил, я восторгался.

Дальше было безобразие — не такое, как с младенцем на столе у В., а просто пьянство, которым руководил хозяин: месиво разговоров, обрывочных и в то же время бесконечных, на темы бессмысленные, тупые; тупые шутки, казавшиеся ужасно смешными, какие-то выкрики, гримасы, какие-то персики, сок которых течет тебе в рукав. Словом, застолье как застолье, разве что не спонтанно развивавшееся, а почти всецело по вкусам и желаниям одного хозяина, он им распорядился.

Нас отвели в спальню, где стояла широченная кровать, застеленная атласными одеялами... Я проснулся, потому что Бродский настойчиво меня будил. Горел верхний свет, яркая люстра. Он сидел на постели в красной майке, его любимой. Сказал, что не может оставаться в доме больше ни минуты, пошли. Я спросил, который час. Полтретьего. Меня мутило, раскалывалась голова, я сказал, что не двинусь с места и чтобы он выключил свет. В пять он разбудил меня снова. Мы оделись и вышли в открытый космос. Мотаясь и застревая в сугробах, чудом добрали до шоссе. Одинокий грузовик подхватил нас, привез к метро. Его только что открыли. В пустом вагоне я тотчас заснул. На пересадке он меня, взяв под мышки, поднял, довольно улыбнулся, когда я открыл глаза.



Алексей ПУРИН

Пять стихотворений

* * *

Я, факир, в глаза целовал змею
и держал губами огонь,
и глотал каспийскую соль твою...
О, как пахла — смертью в ночном бою,
гладкой болью — после ладонь!

От горячих пальцев отнять руки
был не в силах. Сердце до ста
дорастало. Вена, синей реки,
уносила в сумрак уста...
За соломинку гробовой доски
я схвачусь — за джонку листа.

Напишу: те знойные дни, те сны
наяву... Те ночи, когда
все наряды стали душе тесны
и влекла наядой вода —
царскосельской Леты, страстной Десны,
Тибра смерти, Стикса стыда...

Эрмитажный мрамор сиял — и лес
обступал живую стеной.
Все дышало, пело, имело вес —
мое счастье владело мной.

Батарейку вкладывали мне в грудь,
как в фонарик, — и тлел вольфрам...
У кого просить, чтоб когда-нибудь
возвратили телесность снам —
воскресили, сладкую эту жуть
вечной жизни вернули нам?

* * *

Пусть изменщики-сны обманули,
но полны обольщений слова...
Так листву в белотелом июле
мысль о бронзе терзает едва.
И она, шелестя полупьяно,
гладит ветер: горяч и упруг!..

Ах, не Луга — в окне, а Лугано —
 юга туго натянутый лук!
 И такое боренье со мраком
 в парусиновой роще измен,
 что поверишь руническим знакам —
 троелучию острова Мэн...
 А когда к безответному зною
 я немой прижимался щекой,
 как земля с крутизны — неземною,
 мне казалась и смерть — никакой.

Первый трамвай

Морионовую ранью
 грань дрожащего стекла,
 отрезая грань за гранью,
 к грани трезвости влекла.
 Рельсы — повод к истиранью
 мглы и пакли: отлегла.

В искрах скрежета сырого
 сквозь морозные звонки
 вижу: розово, сурово
 плато выпуклой реки —
 белый плат, плутанья слова,
 плата — смыслу вопреки.

Плот реки голубоватый —
 как из платиновых плит...
 Плодоносит плутоватый,
 лисьим хвостиком юлит,
 звука сахарною ватой
 взят и патокой облит,—

и спешит кареткой спорой
 по горбатой арке вброд —
 над рекой голубоперой,
 как пергамент первых од,—
 щучьим счастьем и Фаворой
 перламутра полный рот.

Все вокруг сравню с тобою
 и пыланием на льне...
 Хорошо мне, как ковбою —
 в неразгаданной стране,
 плыть бумагой голубою —
 плотной, пламенной вполне!

* * *

Эти грозные друзья приборя,
 этот горный хрусталь проливной...
 Голубое пыланье, любое...
 Кто-то дышит у нас за спиной.

И не знаю, кого я ревную
среди капель целующих, струй...
В ледяную градирию ночную
погрузи, только «я» не воруй.

Ибо влажное «ты» не поделишь
на двоих, если зонтика три...
Рушишь воды и кроны шевелишь,
даже сердце сжимаешь внутри.—

Одного, Драгоценный, не можешь —
погасить нашу душную спесь.
Оттого так терзаешь и глосешь —
подаешь зеркала... Занавесь!

Созерцатель соседнего пыла,
так что капля шипит на щеке,
жду — когда же все то, что томило,
в шумном люке исчезнет, в песке.

О, тогда лишь, когда нас — бесполо,
безъязыко — с дырявой кормы
смоет вольной волною Глагола,
мы полюбим размытое «мы».

Ангелы

Sie haben alle müde Munde...
Rilke

Какая-то грешная жалость
иль тайная горечь уста
кривит безутешным: досталась
пустая, как сон, чистота.

И, неразличимые, скопом
молчат они в райской тиши —
подобно глубоким синкопам
и паузам Божьей души.

Но стоит забывшейся Мощи
на миг отрешиться от грез —
трепещут, как вешние рощи,
как заросли шумных стрекоз.

И в эти мгновения мнится:
над хаосом бездн и пучин
Зиждитель листает страницы
спасительных Первопричин.



Июльское утро

ПОВЕСТЬ

1

Было время, когда мы жили все вместе: отец, мать, Вадим и я. Однажды брат похвалил мое имя, сказав, что Валерий означает «за собой ведущий». «Ты понимаешь это?» — спрашивал он, снисходительно смотря на меня и улыбаясь левым уголком рта. Я неохотно кивал и говорил, что понимаю, а он все с той же улыбкой небрежно замечал, что имя обгоняет меня самого. Гостившая тогда у нас тетя, сестра отца, сказала — может быть, в шутку — за вечерним чаем: «А ты, Вадим, какой-то не такой, как все. Ты словно не из рода Ромеевых». Брат, усмехнувшись, посмотрел на нее, а затем на всех нас так, словно это мы не из его рода. «Мы дворяне», — любил говорить отец в веселые, праздничные минуты своей жизни, а мать звонко хохотала, глядя, как он чавкает за столом, быстро и грубо глотая пищу. «Ты посмотри на себя, — брезгливо кричала она отцу, — ты ужасен!» Однажды отец показал нам фотографию своего прадеда, Николая Ромеева, который, проигравшись в карты, застрелился, спасая честь семьи. «Он был действительный статский советник, гражданский генерал», — восхищенно говорил отец, глядя меня маленькой рукой по голове. Вадим стоял рядом и молчал. С фотографии — толстого коричневого картона — смотрел мимо меня темный красивый человек с седой бородой. То, что он красивый, я сразу понял, едва узнал, как он умер. Ведь тогда, читая только о приключениях, я и понятия не имел о красоте лица, мне важен был поступок, особенно смерть. «Он пожертвовал собой ради семьи, — объяснял отец, — в те времена только смерть смывала позор». Я помню, что сказал Вадим. «А остальные?» — спросил он. «Что?» — не понял отец. «А кто был до него, до генерала?» «К сожалению, — отец огорчился, — я о них ничего не знаю. В революцию все исчезло. Но я чувствую, что мы знаменитый род». «Знаменитые — это те, у кого в роду были великие люди, поэты, писатели или на худой конец не гражданские, а боевые генералы», — продолжал Вадим. Он тогда уже заканчивал школу, я был только в третьем классе и слушал брата с досадой и злостью на то, с каким равнодушием и цинизмом он пытается разрушить красивый образ. «А у нас, — говорил Вадим, — было ли что-нибудь значительное, кроме твоего прадедушки, папа?» «Ну ты же знаешь, — неуверенно начал отец, — о своем дедушке, моем отце, который...» «Ах, да, — улыбаясь, прервал его Вадим, — ну, конечно, ты это с самого детства рассказывал — о нашем дедушке-инженере, который гениально рисовал, и что его в тридцать седьмом забрали и не дали развить талант... Мы это помним, правда, Влерик?» Он называл меня небрежным именем Влерик давно, с тех пор, как я начал осмысленно слушать звук его голоса, говорил это не обидно, но снисходительно и передразнивая мать, которая всегда зычно звала меня к столу похожим словом, не думая, конечно, при этом, что сокращает мое имя на одну букву. «Мне кажется, папа, — продолжал говорить брат, — что никакой дед не был гениальный и рисовать едва умел, просто его забрали в тридцать седьмом и тебе, и маме хочется, чтобы у нас в роду был хоть какой-нибудь гений, вот и все. Мы простая, обычная семья с машиной и до-

мом», — говорил он, уходя к себе в комнату. Но тут отец вспомнил: «Как же, Вадим, а наш Валера?» — И снова его рука опустилась на мои волосы, а я от стыда вжимал голову в плечи. «Ах, да! — преувеличенно громко вскрикнул брат и, повернувшись, презрительно спросил меня: — Ну как, талантище, оправдаешь надежды семьи Ромеевых?» «Вадим, не трогай Валерика!» — крикнула из кухни мать.

Может быть, меня и вправду задумали, как надежду рода. Когда родился Вадим, на его необычность никто не обратил внимания, и шесть лет ждали меня — ведь в младшем часто воплощается золотая мечта какой-нибудь крови.

Мое рождение послужило тихим взрывом, повредившим почву, на которой нам с братом предстояло вместе жить. Едва меня привезли из роддома, как Вадим, войдя в свою комнату и увидев меня на своей кровати, злобно ухмыльнулся и ткнул указательным пальцем в окно. «Я отнесу его в будку к собаке», — сказал он и, повернувшись, вышел из комнаты. Я знаю, что он произнес это с отчетливой холодной неприязнью, которую я потом чувствовал много раз. Родители всегда вспоминали об этом случае, смеясь, пересказывали родственникам и знакомым. Повзрослев, брат тоже смеялся, но сдержанно и не раскрывая рта. Иногда мне казалось, что его презрение работает само по себе, без хозяина, который давно уже устал и думает о чем-то совсем другом.

Вадим Ромеев — это человек, которого я, родившись, увидел уже большим, и таким он оставался всегда: большим, старшим и главным. Кроме того, я как-то интуитивно чувствовал его необычные способности; его талант — я еще не знал, какой — сразу стал виден мне, едва я стал говорить, понимать и ощущать себя Ромеевым.

И надо же было случиться, что к пяти годам я тоже стал выказывать творческие способности. Однажды в детском саду нам всем раздали акварельные краски и альбомы с черно-белыми картинками для раскрашивания. Я разрисовал нескольких жар-птиц и был отмечен воспитательницей, сразу всплеснувшей руками. А потом сообщили моим родителям. Их вызвали в детский сад и все показали и рассказали. Началась эра моего восхождения на гору, куда меня никто не звал. А может, есть средние, низкие горы — как раз для таких, как я. Меня хвалили — я рисовал. Меня окутывал туман упоения самим собой. Но уже тогда, во время первых похвал, я ясно почувствовал, что не весь мир относится ко мне с восхищением, один человек не обращает на меня внимания — мой брат.

Он мог иногда похвалить, иногда — улыбнуться, редко — задуматься, глядя на мой натюрморт, и что-то даже сказать, но это было внимание человека, внимательного лишь к себе. Его мир — непостижимый для других — словно специально приоткрыл мне несколько своих дверей, и я, его младший брат, знал, что он тоже рисует, но не так, как я. Он будто бы вспоминал о том, что умеет это делать, — нехотя, с налетом какого-то отвращения, лишь иногда переходящего в настоящий экстаз художника, — тогда-то и выходили на бумаге причудливые переплетения фигур, животных, деревьев, замков, раненых, убитых, побежденных, победителей. Вадим рисовал сцены из жизни людей прошлых эпох: римлян, египтян, пиратов, конкистадоров. Я еще плохо понимал что-либо в гармонии цвета или в изыске линии, но уже тогда, лет в восемь, во мне просыпался и шевелился новый, странный, еще меньше, чем я, человек, который, родившись вторично, открыл глаза и с ужасом понял, что то, что рисует брат, совершенно.

А вокруг все — родители, друзья родителей, родственники, учителя — бурно превозносили мои художественные способности, проча великое будущее, а насмешливый взгляд Вадима шептал мне: ты никто, потому что есть я. Казалось, импульс рисования непостижимым образом исходит от брата ко мне. Покрывая цветом лист бумаги, я вздрагивал от вспышек наслаждения, а в это время где-то в соседней комнате брат, перестав рисовать, начинал думать о чем-то своем. Меня удивляла, унижала и одновременно окрыляла странная беспечность, с какой Вадим относился к своим творениям. Он их никому не показывал, рисовал обычно втайне, но позже его картинки можно было найти на диване, на столе, в большой комнате, даже во дворе. Родители, конечно, их находили, слегка удивлялись, отец улыбался, покачивая головой, но этим все и кончалось. В лучшем случае следовали слова папы: «Наш старший тоже молодец».

Когда к отцу приходили друзья, такие же, как и он, горные мастера, с въевшейся угольной пылью под глазами, он выводил меня на середину большой комнаты и говорил: «Талантище!» «Талантище,— усмехаясь, звал меня брат за обедом,— ты руки вымыл перед едой?» «Мыл».— Я обиженно опускал голову, потому что действительно был только что в ванной. «А как из школы пришел — не вымыл»,— констатировал брат, и это было правдой. Иногда он обращался ко мне, когда я не только его не видел, но и не думал о нем и помнил только о себе. Я выходил из туалетной комнаты — и тишина, едва нарушаемая шагами, прерывалась его небрежным, но четким указанием: «Вода. Дверь. Свет». Приходилось возвращаться, я спускал в туалете воду, выключал свет и закрывал дверь — и этот последний, щелкающий звук металлической задвижки был тем самым тихим ударом, раздваивающим мою жизнь на две половины: я, родители, школа, живопись, друзья — и брат. «Не издевайся над ним,— иногда серьезно говорила мать,— мальчик задумался, он художник...» «Что?— восклицал брат и, приоткрыв дверь своей комнаты, показывал мне пол-лица.— Ах, да, мы думаем, мы творим... Мы рисуем, рисуем, рисуем!»

Вадим был болезненно чистоплотен. Разумеется, я всегда чистил зубы два раза в день и мыл перед едой руки, но рядом с Вадимом мне приходилось делать это так обдуманно, что хотелось пропустить очередную процедуру,— и я пропускал. Мне даже кажется, что родители тоже бездумно подчинялись его молчаливой слежке — особенно преуспевала мать, всегда идеальная в своей гигиенической чистой красоте, а отец думал о себе меньше, больше заботясь о семье. У брата на пальцах словно всегда были белые перчатки, которые он не любил стягивать. Однажды, когда я перешел в восьмой класс, брат рассказал мне вычитанную где-то историю об одном англичанине, который жил один на острове среди туземцев и каждый раз перед завтраком надевал смокинг. «Видишь, талантлик,— говорил мне брат, и в его глазах я видел спокойное восхищение,— он оставался аристократом, а точнее — человеком, даже в полном одиночестве, на каком-то острове». Я, насупившись, все же пробовал возразить: «Но это же английская традиция, очень глупая...» Брат лениво улыбался. «Все, что есть в этом мире ценного,— тыкал в меня указательным пальцем брат,— это ты. И если ты чему-то следуешь, то надо следовать этому до конца, даже на острове. Ты что же, думаешь, этот британец с ума сошел, раз надевал в жару смокинг? Да ведь это и не дало ему сойти с ума, понимаешь?» Я понимал, но не соглашался. Мне не давало покоя, что Вадим всегда прав. Будучи не прав, он все равно был прав — вот эта непостижимость и мучила меня.

Нас связывали удивительные, противоречивые отношения. Я всегда чувствовал, что брат — это нечто большее, чем дом, школа, друзья, родители, что он непостижимей, чем ночные страхи, чем мечты и сны. Его существование рядом было вечным отстранением. Может быть, брат с самого моего рождения уже чувствовал досаду — на то, что он старший, что он вечно впереди, что я вечно вынужден его догонять.

А ведь первое, что я вспомнил в своей жизни, был бег. Я бежал по твердой, ровной дороге вперед, к горизонту, и мне казалось, что огромная, живая, как птица, перспектива обгоняет меня, накрывает тенью, внушая страх. Рядом неслись деревья, какие-то холмы — и все туда, в самый конец горизонта, туда, где шел брат. Он уходил, а я догонял. Я видел его спину: белое пятно, колеблемое ветром. Вероятно, мне было тогда два года, может быть, три. Отец говорил, что в Мисхоре, где мы отдыхали, я действительно побежал однажды за братом по длинной, обсаженной кипарисами аллее, споткнулся, упал и заплакал. Но падения я не помню. Я помню только бег. И каждый раз я не сразу вижу то, что вспоминаю. Сначала я будто бы прорываюсь из темноты в изображение. А потом вся картинка — неясная, бледная — слабо вспыхивает в моем сознании.

Однажды — мне было лет семь — брат взял меня с собой в будку к нашему дворовому псу. Пирату недолго оставалось до смерти, он был облезшим великаном с мягкими лапами и слезящимися слепыми глазами. Собака гулко облаяла нас, когда мы подошли к ее дому — шаткой конуре высотой с Вадима,— и меня обдало каким-то пещерным страхом: я все не мог привыкнуть, что старший, полумертвый Пират уже не узнает меня. Но брат смело засунул руку в черноту будочного проема, где — я ясно видел — сверкали слезы на слепых со-

бачьих глазах. «Пират... Пиратушка»,— ласково бормотал Вадим, и я сразу замер, почувствовав теплую нежность его слов. Я слышал шершавые звуки внутри будки, это Вадим гладел морду собаки. «Я иду к тебе... иду»,— продолжал он, согнувшись и пролезая внутрь проема. Свободной рукой он махнул мне, и я, встав на четвереньки, полез за ним. Потом мы долго сидели в огромном, насквозь продуваемом темном замке — ветер выдувал даже запах псины. Правым плечом я опирался на туловище Пирата — он уже совсем не пугал меня, я мог теперь гладить его, сколько хотел. Слева я едва касался брата, он полулежал спиной ко мне, лицом к сияющему солнцем выходу, и ветер слегка шевелил его кудрявые волосы — такие же, как у меня, но только более выщипаные. Я видел часть его лица, он о чем-то думал, насупившись и кусая губу. Здесь, в деревянном собачьем доме, наедине со слепым псом, мой брат был в каком-то своем, другом, втором жилище — и сюда он впервые позволил войти мне. Я сидел тихо, боясь пошевелиться. Его одиночество коснулось меня, положило мне руку на плечо. Я впервые почувствовал, не понимая, что семья давно уже не удерживает его ум, все время куда-то летящий. Может быть, только возраст старшего брата не позволял ему сделать того, что он сделал потом, через несколько лет.

Пес хрипло дышал, и Вадим, как и я, начал поглаживать его. Наши пальцы соприкоснулись — словно вспыхнула бесцветная спичка, и брат тотчас же отдернул руку. Я сначала вздрогнул от внезапного, быстрого, как порыв ветра, ощущения, что он чужой, а потом сразу провалился в прорубь стыда. Я казался себе неловким, ничтожным, я вмиг возненавидел все свои картины. Мне хотелось убежать отсюда, найти маму и сделать все, чтобы она приласкала меня. Но я стеснялся. Рядом с братом я всегда ощущал себя человеком, который остановился за час до объятия.

Вадим редко целовал меня, но иногда, когда отец брал его с собой в командировку или отправлял в летний лагерь, он был вынужден хоть как-то проявить свою кровь. Стоя на пороге дома или на перроне, он, весело, разбросанно улыбаясь, нагибался и касался моей щеки неподвижными, сухими губами. Его тело было создано так тщательно и равномерно, что не нуждалось ни в каких мазях и дезодорантах, хотя он держал их в избытке. Все эти приправы словно с рождения были введены в его плоть, чтобы навсегда сделать ее чистой. Его ладони, шея, щеки, подбородок, ушные раковины, волосы — все было свежо, ухожено. Смеясь, он часто уговаривал меня прижать большой или указательный палец к листку бумаги, лежащему на столе, и, когда я это делал, кривил губу и просил: «Ну, подними»,— а потом заявлял: «Ну вот, Влери́к, ты обладаешь природным магнетизмом». «А ты?»— глухо спрашивал я, и Вадим прикладывал свой палец, прижимал к бумаге и поднимал — и так десять раз десятью пальцами, и каждый раз лист не шевелился, оставаясь на столе. «Ничего,— успокаивал меня брат,— не переживай, Влери́к, ты хоть и Ромеев, но все же другой. Ты ведь читал «Историю Рима», что я тебе давал? Помнишь, что там говорилось о неравенстве?»

Он много читал. В его комнате было полно книг, которые он доставал неизвестно где,— у отца была только мизерная политехническая, полуприключенческая библиотека. Когда я перешел в десятый класс, брат, давно уже студент, однажды застал меня рассматривающим его книги, я вздрогнул от неожиданности и выронил одну. Я испугался — брат не выносил тайных визитов в свою комнату, особенно моих,— и быстро что-то пробормотав, вышел. А вслед услышал смех — добродушный, неожиданный. На следующий день, в воскресенье, я сам подошел к нему, ощущая стыд и одновременно что-то, похожее на желание твердой воли. Вадим в плавках — мощный, загорелый — лежал на залитой солнцем постели, и я, стараясь говорить беспечным тоном, попросил его посоветовать мне что-нибудь прочесть. Брат, глядящий до этого в потолок и кусающий губу, удивленно посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, прищурив глаза, словно видел меня впервые:

— Ну и ну! Мы уходим в поход? Мы тоже уходим в поход?

— Какой поход?— спросил я. — Просто я видел у тебя Та́цита.

— Та́цита,— поправил Вадим.— Да нужен ли он тебе сейчас?.. Начни с Эпикура, это основа всего.

— Что именно Эпикура?

— Мы уходим в поход,— повторил брат, улыбаясь,— мы уходим в поход. Мы хозяйке давно за квартиру должны. Но, увы, после нас там оценщика ждет грязный пол, потолок и четыре стены...

— Так с чего начать?— спросил я.

— Я составлю тебе, Влерик, список книг, которые нужно прочесть в первую очередь. А самое главное — запомни это сразу, сейчас: никогда не читай о мелких народах и мелких цивилизациях.

— Почему, неинтересно?

— Изучая мелочь, будешь сам мелким, Влерик.

Брат внимательно смотрел на меня серыми глазами; пожалуй, глазами мы отличались больше всего. У меня были голубые, как и положено страстной родительской надежде, а у него почти без цвета, даже не серые, вообще никакие. В них дрожал спокойный смех — беспощадный ко всему, что его окружало.

«Ты и так мелкий,— говорил этот взгляд,— но можешь стать больше, может быть, даже больше меня, но только если я окончательно плюну на все».

Моих способностей догнать его явно не хватало. Он опережал меня в возрасте, что бы я ни делал, мне не перепрыгнуть эти шесть лет. Я мог бы стать триумфатором в живописи, ведь я учился в художественной школе, рисовал, ходил в парк на этюды. Но похвалы учителей и гордые вздохи родителей наполняли меня отвратительным стыдом, я понимал, что брат в силах создать какую-то другую, новую культуру.

Я прочитал письма Эпикура и вдруг понял, что я тоже что-то значу. Радостный, я отправился к брату, чтобы просто с ним поговорить. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ты, братик, попался на крючок наслаждения,— и рассмеялся.

— Но это же так правильно,— сказал я.

— Ничего... полезно,— продолжал Вадим.— Все великие попадались на эту наживку, но также — подумай об этом, Влерик,— и великое множество мелких. Знаешь, когда начинается глупость? Когда с первой открытой истиной носишься больше чем два часа. Я имею в виду твое сияющее лицо, Влерик. Конечно, наслаждение прежде всего. Вот скажи,— взгляд брата стал пристальней,— тебе нравится рисовать?

— Да.

— А почему? Зачем это тебе, братик?

— Мы с папой говорили,— быстро сказала я,— потом я поступлю в Ленинградскую академию.

— А потом?

— Потом? Ну, не знаю. Выставки всякие... В Союз художников вступлю.

Брат откинул голову назад и засмеялся, хохотал он звонко, от всей души, но мне всегда казалось, что звуки его смеха таят для меня унижение.

— В Союз художников?— переспросил брат.— А захлебнуться не боишься? Учти, ты ведь залезешь в середину. Знаешь, что такое середина?

Я молчал, тихо, про себя, ненавидя его и его смех.

— Лучше быть ниже середины. Вот как наш отец — и на шахте, и стихов не пишет. И это прекрасно, Валера...

Я вздрогнул, он редко так меня называл.

— А те, кто в середине — их полно,— это и есть божественная шваль, отбросы, их едят крысы, едят каждый год, а они все равно жиреют и плодятся. Эти средние поэты, художники, музыканты лучше бы не портили всем слух своим брэнчанием, а спустились бы под землю, как отец.

Впервые брат перестал видеть во мне только объект для своих игр и развлечений, когда мне было лет семь и мы в летний день сидели на кухне друг против друга и ели вишню. Вадим, откинувшись на стуле, стрелял косточками в окно. По радио звучала музыка.

— Ладно,— громко сказал брат,— так уж и быть, скажу тебе, где тайник Флинта, но с одним условием.

Тайником Флинта служило потайное место у нас в доме, где Вадим или я что-нибудь прятали: деньги, жевательные резинки, конфеты, апельсины, марки, значки. У каждого из нас был свой тайник, и, если он открывался, нужно было сделать новый. Раз в месяц брат придумал устраивать «Дни сокровищ», когда в поисках спрятанных предметов мы переворачивали весь дом, причем Вадим чаще всего находил спрятанное мной, а я — почти никогда. Неделю назад брат показал мне новенький компас на кожаном ремешке, покрутил им в воздухе и спрятал. Я думал об этом компасе и днем, и ночью, так как третий раз посмотрел фильм «Остров сокровищ». Я видел компас во сне: я в пиратской одежде на деревянной лодке посреди океана, и в руках у меня только этот компас, который разросся в моем воображении до настоящего, позеленевшего от времени компаса. Я пересмотрел все щели и закоулки в нашей квартире, а брат только посмеивался. И тут мне представилась возможность завладеть сокровищем.

— Скажешь, что это за музыка,— брат кивнул в сторону радио,— скажу, где компас.

Я задумался, с каждым усилием чувствуя, что безнадежность погружает меня в темноту, где одна за другой вспыхнули точки света,— они как кометы, пробили мое черное поле — территорию страха и детства,— и одна точка вырвалась вперед.

— Полонез Огинского!— тихо воскликнул я.

Брат разжал кулак и ссыпал горсть вишневых косточек в тарелку.

— Верно,— кивнул он, и я увидел в его глазах прежнюю скуку.

С тех пор это и началось: как только пятна света выносили меня вперед, его разум и воображение шагали дальше, в какие-то нечеловеческие страны.

Брат вышел из кухни, но я догнал его.

— Где же тайник Флинта?

Он посмотрел на меня сверху вниз — большой, высокий, сильный, с блуждающим пятном пустоты в глазах — и вытащил компас из кармана брюк.

— Держи, Влерик,— сказал он, улыбаясь куда-то в сторону,— все тайники уже разрыты.

Моей второй страстью, привитой, конечно, Вадимом, стало сочинительство. Тогда еще не наступило время, когда брат бросит свои тетрадки на диване или письменном столе — на виду у всех. Я еще не знал, что он писал и пишет, сочиняет стихи, бесконечные обрывки рассказов и повестей, но импульс желания, блуждая в его крови, в конце концов по невидимым, тайным сосудам влился в мою — маленькую, жидкую, но того же цвета. Я скрывался в своей комнате и дрожащей от восторга рукой писал главы обширного романа «Материк в огне». Это случилось осенью, когда я перешел из первого класса во второй. Роман включал в себя историю двух выдуманных стран. Книга начиналась так: «Недалеко от Африки есть две страны: Урия и Гипия. Однажды урии захотели напасть на гипов...» Названия стран тоже влил в меня брат: как-то раз я услышал, как он говорил кому-то из друзей в своей комнате: «Урия Гип... Ты когда-нибудь слышал, что такое Урия Гип?»

Уже начав писать, я сразу понял, что тайна скоро раскроется. Мне было заранее безнадежно ясно, что если выведенный под именем Урии дух моего брата начинает борьбу с Гипом, то есть со мной, то ничто не способно скрыть этот бой от главного вдохновителя, от того, кто создал этот мир, — от Вадима. Брат не прилагал никаких усилий, чтобы раскрыть тайну, он редко заглядывал ко мне в комнату, он не думал всерьез ни о ком, кроме себя, но его жестокой, скучающей натуре требовались игра, развлечение, и он всегда точно и спокойно знал, что моя тайная жизнь никуда от него не скроется. Около недели я тщательно прятал тетрадь с главами романа в дальний угол последнего ящика письменного стола, в часы вдохновения доставал сочинение, писал, всем своим видом показывая, что решаю задачи по математике, которую уже начал уныло ненавидеть. В комнате Вадима по вечерам играла музыка, от громких звуков у меня болела голова, росло раздражение, я иногда прибежал к матери и отцу — они сидели в большой комнате и смотрели телевизор. Не смея жаловаться, я сиделся на ковер, но мать все понимала, со вздохом вставала с кресла и шла в комнату брата — просить, чтобы он убавил громкость.

— А!— смеялся Вадим.— Влерик, наш талантище, уроки учит.

Брат никогда не мучился над домашними заданиями. Может быть, он вообще их никогда не делал, даже в начальных классах, хотя, конечно, это я мог только вообразить.

Я скрывал свое сочинение, будучи уверенным, что рано или поздно брат узнает о нем. В моем выдуманном мире шли непрерывные войны, я сладострастно убивал и вновь рождал своих героев, меняя только имена. Я выдумал новый язык, на котором говорили урии и гипы, названия городов, вооружений. Гипы постоянно сражались с уриями, наступали, захватывали города и территории, но в конце всегда оказывались ни с чем. Я намеренно заставлял своих героев возвращаться к самому началу попыток. Мне это нравилось, я острее чувствовал непрерывность, которая необычайно расширила мой горизонт видения мира. Но час откровения приближался — я прозрел, что нуждаюсь в кормчем более, чем в самом себе. Меня нес какой-то поток, некоторое время, пытаюсь преодолеть тяжелый, настойчивый зуд желания, я упорствовал, а потом вдруг очутился у комнаты брата и переступил наконец границу, чтобы, затаив дыхание, собраться с духом и сказать. И я сказал — быстро и радостно, — постепенно мой тон выравнивался, рассказ становился более существенным. Брат смотрел на меня взглядом усталой змеи, а вся его поза — на диване, ноги врозь и руки над головой — была позой падишаха, которому приговоренный принес раньше времени свою не отрубленную еще голову. Позже, через много лет, я сравнил это ощущение с другим. Служа в армии, я был в увольнении и увидел комендантский патруль — до него было метров сто. Я мог бы пройти мимо, но неведомая, тяжелая, как ртуть, сила понесла меня прямо на майора, у которого было тоже усталое и немного циничное лицо. Остановившись перед ним и отдавая честь, я отрапортовал: «Рядовой Ромеев, нахожусь в увольнении, воинская часть такая-то...» — а майор, безжизненно улыбнувшись, спросил: «А что, рядовой Ромеев, я разве подзывал вас?»

Вадим, не перебивая, выслушал меня, протянул руку и сказал: «Дай-ка почитаю...» Мое сочинение всерьез заинтересовало его. Много позже, перед тем как уехать, брат задумчиво признался мне: «Твой «Материк», Влерик, напомнил мне, как ни странно, «Илиаду»... Ты еще не читал?» Я сказал, что нет. «Ну так вот, — продолжал Вадим, — «Илиада» — очень темная книга, она затемнена временем, и там все обаяние в сражениях, люди воюют друг с другом — вот и все. Но если представить, что это детство человечества, как твое, то, выходит, и не могло быть иначе. Чем больше взрослеешь, тем больше чувств. Отправь твой «Материк» в то время — и, может быть, был бы готов второй Гомер».

Я пережил немало стыдливых минут, когда брат вслух перечитывал отдельные фрагменты моего сочинения, насмехаясь над комичностью стиля и орфографическими ошибками. Он сразу принял игру — ведь он всегда скучал, несмотря на обилие школьных друзей, из которых я сейчас не помню ни одного лица, вероятно, брат их не любил, а просто принимал. Он скучал часто, беззлively, зло, а сейчас я преподнес ему целый мир, которым он, не напрягаясь, мог занять себя в свободное время. Вадим принял деятельное участие во всех придуманных сражениях, заняв позицию уриев, которых непрерывно атаковали гипы, терпя поражения. Его подвижный, чуткий ум занимал сразу обе стороны, он придумывал имена моим солдатам, разрабатывал тактику их действий. Мгновение — и начал существовать параллельный мир, не отмеченный ни на одной карте, с городами, войнами, восстаниями и перемириями, и это волновало только двоих людей на земле — братьев, один из которых был старше другого на шесть лет. Может быть, он интересовался «Материком», как взрослый — «Илиадой»?

Я составил на листе ватмана карту Урии и Гипии, Вадим раскрасил ее, я повесил карту над своей кроватью и каждое утро передвигал по ней фишки — пластилиновые шарики с булавкой, — быстро фиксировал в «Материке» очередное наступление, а затем, уже на кухне, говорил брату: «Вадик, а гипы окружили пятнадцатую дивизию уриев у морского берега». На что брат, усмехнувшись, ровным, уверенным голосом отвечал: «Да, но ты разве забыл, что на помощь дивизии был послан флот? Так вот, супермощный линкор уриев показался на горизонте и обстрелял позиции гипов шестидюймовыми снарядами». Потом мы собирались в школу, я во второй класс, Вадим в восьмой. Я никогда

не шел рядом с ним. Я всегда старался выйти из дома минут на пять позже — такой распорядок сложился сам по себе, без единого слова с его стороны.

В школе я чувствовал, что брат где-то рядом, хотя на переменах мы почти не встречались. Может быть, это было следствием неудобства, которое испытывал бы Вадим, увидев меня, но встреч почти не было, и мне кажется, что обстоятельства каким-то странным образом охраняли нас. Конечно, меня часто оскорбляли, унижали и даже били одноклассники: я был хоть и высок ростом, но худой, слабый. Вспыльчивый и обидчивый нрав, на самом деле тайно присущий мне, я осмеливался проявлять только в кругу семьи, перед родителями и иногда перед братом, чтобы сразу бежать под защиту матери. Одноклассники — дети рядовых шахтеров — презрительно и насмешливо относились ко мне, я считался у них чем-то вроде очкарика-белоручки, попавшего в среду простых, смелых и сильных людей. Но я не носил очки, знаниями тоже не отличался: кроме рисования и литературы, у меня по многим предметам были тройки. Но это меня не спасало. Простой человек сразу чувствует того, кто хоть немного его сложнее, и умение рисовать мне сильно вредило. Может быть, успевай я по математике — было бы лучше. Но рисование — это настораживало их. Редко кто был добр ко мне и относился покровительственно, прося иногда срисовать какую-нибудь картинку. Большинство презрительно называло меня «художник», на их языке это означало «получеловек», а девочки, уже в старших классах, не обращали на меня внимание, считая, что я из-за рисования еще слишком мал. Я старался быть незаметней — и тогда меня меньше трогали. Но я не страдал. Я привык к своей жизни и больше думал о сражениях на Материке. И еще Вадим — ведь он был где-то рядом, его близкое присутствие странным образом согревало меня. Он успокаивал меня тем, что поддерживал — по-настоящему и искренне — так тщательно выдуманный мной мир: Урию и Гипию. Позже, повзрослев, я пришел к убеждению, что существует только одно отличие здорового человека от сумасшедшего. Главное — наличие рядом с выдуманным тобой миром другого человека, который понимает его, восхищается, составляет и разбирает этот мир так же, как и ты. Если этого человека нет, а есть только воображаемый тобой мир — ты сошел с ума, и ничего с этим не поделать. Кто покажет мне сумасшедшего, которого точно так же понимает другой сумасшедший? Вспоминая свое детство, я понимаю, как необыкновенно просто ребенку сойти с ума. Вот он перестал играть в войну и придумал что-то другое, а его никто не понимает.

Может быть, мой брат не любил меня, но что-то он делал со мной, и я, не понимая, чувствовал — что. В школе был лишь один случай, когда невидимое покровительство старшего брата сыграло свою роль.

Я был еще младшеклассником и поэтому, как принято в школах, имел право только на первый этаж, где располагались кабинеты первых и третьих классов. Но однажды я очутился на самом верхнем этаже, на четвертом. Я уже много слышал о хулиганах, которые на школьном дворе отбирают у ребят деньги или просто избивают их. В крупные передряги я еще ни разу не попадал — вероятно, благодаря интуитивной незаметности в тех случаях, когда того требовали обстоятельства. Подняться на верхний этаж меня подбил Файгенблат, мой одноклассник, черноволосый, крупного сложения еврей, — его отец шил на заказ брюки в местном ателье. Файгенблата звали Гена, но его фамилия как-то отчетливо въелась в мир звуков, окружавших меня, может быть, благодаря тому, что часто склонялась на уроках, — Файгенблат, как и я, перебивался с тройки на четверку. Он иногда ходил на верхний этаж к каким-то своим старшим друзьям и всегда делал вид, что его страшно уважают. На самом деле его не очень-то жаловали: часто он появлялся с крупным синяком и с заразительным оптимизмом рассказывал, что кому-то там недавно врезал. Он был слабаком, вряд ли сильнее меня, просто он любил шумную и насыщенную жизнь, где человек если не пользуется вниманием, то хотя бы придумывает его.

Я помню — как только ступил на первую ступеньку верхнего этажа, — что мне сразу расхотелось идти. Но аромат опасности — иногда он может вскружить голову. Мы поднялись во второй, затем на третий этаж. Гуляя, мы громко разговаривали о недавно прочитанной книге, взаимная любовь к чтению увлекла и сблизила нас еще год назад. Прогулявшись по третьему этажу, мы отправились на четвертый, как раз была большая перемена. До начала уро-

ка оставалось еще пятнадцать минут — самое время спуститься в столовую и без очереди купить булочку и стакан кофе. И тут Файгенблату захотелось в туалет. Не оглядываясь, он бросил мне: «Зайдем?» — и я, повинясь задумчивому инстинкту несвободы, отправился вслед за ним. В туалете Файгенблат, даже не взглянув в сторону писсуара, направился с важным видом к умывальнику. Войдя следом, я сразу все понял: у окна на подоконнике сидели и курили три здоровенных старшеклассника. Все трое неподвижно, насмешливо принялись нас разглядывать, особенно меня, ведь я, совсем потерявшись, беспомощно стоял посередине туалета и лихорадочно соображал, что же делать. Я стоял за спиной приятеля и смотрел на его напряженную спину, белый затылок и огромные ярко-красные уши.

Вдруг Файгенблат с грохотом закрутил кран, и это послужило взрывом, приведшим в действие мину замедленного действия, дымящую у окна.

— Эй, малые,— басом сказал кто-то из них,— что, своей очкарни нет, что сюда приперлись?

— Там... ремонт...— голосом, едва слышным в окружающем меня жарком тумане, проговорил Файгенблат.

Один из них хохотнул, а следующий голос сказал:

— Так какого тогда руки моешь?

Файгенблат покорно, с опущенной головой, с огромными пылающими ушами пошел мимо меня к кабинке и застыл над унитазом. Прошло несколько мгновений. Ни одна капля не упала в том месте, где стоял Файгенблат. В тишине раздались шаги, и огромное тело старшеклассника заслонило мне свет. Парень с сигаретой в зубах, держа руки в карманах, остановился прямо за спиной Файгенבלата и плюнул, примерившись, вверх — бычок перелетел через застывшую фигуру и, ударившись о противоположную стену, зашипел в унитазе. Парень отшагнул назад, махнул правой ногой и ударил Файгенבלата каблуком в зад. Файгенблат ткнулся головой вперед — я услышал, как он стукнулся лбом о трубу, поднимающуюся от бачка. На синих брюках Файгенבלата отпечатался светло-серый след ботинка.

Потом я увидел парня уже лицом ко мне — его рука, занесенная для удара, снова заслонила мне свет, и я повернулся зачем-то к солнцу, бывшему сквозь окно, туда, где сидели на подоконнике двое. Но удара все не было. Вжав голову в плечи, я ждал, и перед моими глазами бессмысленно прыгали разноцветные искры. Но удара не было.

— Эй! — выплыли из тумана слова.— Эй, не трогай его...

Я понял, что за меня вступается кто-то из тех, на подоконнике.

— Не трогай,— продолжал слушать я,— это маленький Ромеев...

— А-а... Ромеев,— уважительно, но с легкой досадой протянул едва не ударивший меня хулиган,— ну ладно, пусть валит... Все равно нечего тут лазить.

Я шел по коридору за постепенно поднимающим голову Файгенблатом и наблюдал за превращением цвета его ушей в естественный. Вскоре он обернулся, и я увидел румяное важное лицо повидавшего кое-что хабреца. Он посетовал, что поблизости не оказалось его приятеля из десятого класса.

— Он боксер,— хвастался Файгенблат,— намылил бы им рожи... А что, Ромеев, у тебя брат, что ли, есть?

— Что ли,— ответил я.

— Ты чего злишься? Я так, просто спросил. Ты бы сказал ему, чтоб замочил этих, из туалета...

Я молчал. Впервые мой старший брат, даже не появившись поблизости, через каких-то отвратительных людей сообщил мне о том, что он есть и что он защищает меня. Мне было стыдно. Мне казалось, что я подхожу к Вадиму и счастливым голосом благодарю его. Эта мысль причиняла мне боль за двоих — и за него даже больше, чем за себя: наверное, я понимал, что это неправильно, что так не должно быть у родных людей.

Кроме Файгенבלата, были еще два-три одноклассника, с которыми я дружил. Они, хоть и бывали у меня в гостях, редко видели Вадима, потому что брат

никогда не обращал внимания на моих друзей. Я просто говорил иногда: «Это моего брата... Брат сказал, что...» С одноклассниками я ходил в кино, покупал мороженое и ездил на трамвае в карьер купаться. Но все же Файгенблат был мне ближе, хотя ко мне в гости он почти не ходил и не приглашал к себе. Моя мать, встретив его на улице, сказала, что он, конечно, из бедных евреев. Впоследствии я тоже стал думать, что Файгенблат не приглашал меня в гости из-за страха, что, показав дом, дальше показывать будет нечего,— больше всего ему нравилось делать вид, что у него очень важная жизнь. Он как-то сказал, что у него много братьев и сестер, но с таким видом, будто семья — это дело, волнующее его в последнюю очередь. У Файгенבלата никогда не водилось денег, он частенько пил за мой счет лимонад и ел мороженое, а когда мы начали курить, то редко покупал сигареты. Он не всегда отдавал долги, но я не обижался: с Файгенблатом моя жизнь становилась веселей, он мог говорить на любые темы и действительно знал много интересного. Рядом с ним я не испытывал комплекса художника. Кроме того, он никогда не задавал вопросов, которые мне не нравились. Так, например, о моем брате он ничего не спрашивал с тех пор, как услышал о нем первый раз в туалете. Я не любил такие вопросы, потому что понимал, что их не любит мой брат. Но все же, когда меня спрашивали хоть что-то о нем и я говорил — быстро и небрежно — что-нибудь в ответ, я чувствовал себя человечней и, может быть, лучше.

Наш отец купил машину — салатный «Москвич», ставший источником новой страсти брата, задолго до восемнадцати лет научившегося водить. Здесь я быстро от него отстал — его кровь шумно обгоняла мою, моих способностей уже не хватало, чтобы перенимать от него каждый жест или шаг. А Вадим мчался вперед, осваивая все подряд. Он недолго рисовал, потом бросил писать. В седьмом классе он увлекся радиodelом, превратил свою комнату в мастерскую, дымил паяльником, приносил детали от старых телевизоров, посещал радиокружок и однажды вышел в эфир — я хорошо помню его ровный, слегка усталый голос среди шелеста, треска и шелканья тысяч позывных, передач и песен. «Это я,— говорил брат,— меня зовут Вадим Ромеев, как меня слышно?» Вероятно, он вышел в эфир без разрешения — после к нам в дом пришла милиция, и отцу пришлось заплатить штраф. Отец тогда впервые накричал на брата, они сидели в большой комнате, отец нервничал, а Вадим спокойно отвечал: «Ну и что, я же никому не сделал зла». Отец крикнул: «Да ты же нарушил закон!» — на что брат ответил: «Пожалуй, но плохо никому не стало. Ладно, перестань, не буду больше». А мне он позже, года через три, сказал, стоя у распахнутого окна и глядя на залитый солнцем двор: «Иногда до чертиков хочется, чтобы толпа людей услышала твое имя, просто услышала, а, Влерик?» Я молчал, а он продолжил: «Но это, оказывается, чепуха».

За год до окончания школы брат увлекся еще и туризмом, доводя себя до изнеможения силовыми тренировками. Его комната заперта вырезанными из журналов фотографиями силачей всех стран и национальностей. Он купил гантели, штангу, по утрам стал бегать по дорожкам парка. Каждый день после уроков он уделял час-полтора мышечной тренировке. Как-то я заглянул к нему в комнату — он тогда уже поступил на первый курс института — и удивился, заметив множество приклеенных к обоям маленьких кусочков бумаги, на которых было что-то написано. Магнитофон был включен, играла музыка. Брат лежал под штангой и, весь красный от напряжения, выжимал ее.

— Это что? — осторожно спросил я и кивнул на надписи.

— Цитаты из Евангелия. — Брат усмехнулся.

Я знал, что брат раздобыл Библию и читает ее, но цитаты были не оттуда, это я сразу понял.

— Что здесь написано? — Я подошел к самой крупной надписи.

— Это латынь: «Готовься к войне»,— ответил брат, и звук его голоса казался выдохом какого-то чудовища, изнемогающего от непомерной тяжести. Вадим выжал последний раз штангу и забросил ее на металлические стойки позади головы. Он встал с гимнастического лежака, большой, потный, загорелый, в одних вылинявших голубых плавках, тряхнул курчавой головой, взглянул на меня прозрачными глазами и, потянувшись, сказал: — Как хорошо... Как прекрасно я себя чувствую, Влерик!

Меня обдало здоровым, пышущим импульсом его силы, и я, худой, маленький и слабый, вздрогнул, словно в меня, полного воды, швырнули камень.

Я подошел к следующей цитате:

— Ага, вот из Библии...

Брат засмеялся, подняв подбородок:

— Как раз это — нет. А все остальное — да.

Я, опустив голову, исподлобья смотрел на стену, пестревшую белым, на эту надпись, одну из всех явно из Библии, — я это понимал отчетливо и агрессивно, упрямо злясь на брата, ведь он, издеваясь, явно обманывал меня. Но зачем? Я разглядывал эту надпись, как плакат, как объявление, смысл которого давно уже не важен для человека, стоящего перед ним, я чувствовал себя большим, чтобы понять подпись, а не смысл цитаты, — ее я не запомнил. Но листок бумаги был подписан знакомым словом: «Бытие», а дальше шли цифры, вероятно, номера страниц или глав.

Брат молчал за моей спиной. Я повернул голову влево, не поднимая глаз, вздохнул и сказал:

— Нет, это из Библии.

Брат снисходительно усмехнулся, так, словно после поставленной точки опять приходилось разъяснять смысл.

— Я же сказал, Влерик, что нет...

— Нет, оттуда!

Я все еще не поворачивался к нему от стены. Брат сделал шаг, оказался слева от меня и пару раз легко хлопнул меня по плечу рукой:

— Ты, маленький Валерик, похож на Цезаря, когда его взяли в плен пираты. Он был, правда, постарше, но такой же упрямый. Так вот, он сказал пиратам: когда меня выкупят, я вернусь сюда, на этот остров, — где его держали — и всех повешу. Пираты смеялись, а Цезарь действительно вернулся и со всеми рассчитался. Понимаешь?

Я молчал.

— Знаешь, братик, — тихо усмехаясь, говорил Вадим, — я подумал: а вдруг ты и вправду сделаешь так, что цитата будет из Библии. Было бы забавно, очень...

— «Падающего подтолкни», — тихо, угрюмо сказал я, читая следующую надпись.

— Верно, — сказал брат, — верно мыслишь, Влерик. Может, ты тоже желаешь стать аристократом духа?

— Аристократом духа?

— Да, так называли сверхчеловека. Хочешь им быть? — Он засмеялся и, подойдя ко мне, пощупал мой бицепс.

— Не знаю, — сказал я, и вдруг запах его спокойной уверенности проник в меня и толкнул изнутри — мое горло само сделало несколько глотательных движений.

— Жить, жить, жить! — кипели слова брата, ходящего по комнате так, словно сейчас окно разлетится вдребезги и нас вынесет наружу.

— Как хорошо жить, Влерик! О... что бы я сейчас сделал... — Он повернул голову и с жесткой, властной улыбкой посмотрел на меня: — Ты... если кто-нибудь обидит, скажи мне. А, Влерик?

Позже я понял, что эти слова были блажью, развлечением его все время куда-то бегущего духа. Больше брат никогда не предлагал мне свое покровительство. Может быть, он все же стыдился меня и старался прикрыть мускулами сверхчеловека какое-то чувство ко мне. А тогда я, пьяный от восторга, кивнул головой. Я стоял, уже наполовину выросший в силе, потому что находился рядом с ним, и спрашивал, с чего следует начать, чтобы укрепить мышцы.

— Я дам тебе комплекс упражнений, — сказал брат. — Но главное — отжимайся от пола. Отжимайся до изнеможения, в любом месте и в любой час. Если заболеешь — тоже отжимайся, ясно, Гип? — Брат протянул руку и потрепал мои волосы. Мы иногда так называли друг друга: я его — Урия, он меня — Гип.

Охваченный чувством новой, здоровой силы, я однажды настоял на том, чтобы Файгенблат зашел ко мне домой — брат как раз уехал, и я тайно тренировался в его комнате с гантелями маленького веса, которые он мне оставил. Мне хотелось удивить приятеля, и я специально не вышел в коридор, а остался

лежать на гимнастическом лежаке Вадима, выжимая над головой штангу с самым легким весом, а когда Файгенблат зашел в комнату, я небрежно, на выдохе, сказал ему: «Привет», — поднял штангу еще раза три, забросил ее на металлические стойки над головой и только потом встал. Мы с Файгенблатом собирались в этот день в кино, он пришел ко мне в аккуратных черных брючках и рубашке, а я стоял перед ним в одних спортивных трусах, потный, еще разгоряченный упражнениями, чувствуя каждую мышцу своего тела и его невольное восхищение, которое он, конечно, сразу же тщательно скрыл, начав расхаживать по комнате и разглядывать цитаты. Я лениво сказал Файгенблату, что мне нужно принять душ, не спеша вышел из комнаты, а когда вернулся, он все еще читал надписи на стенах и спросил меня тоном, в котором я с радостью уловил удивление: «Это ты, что ли, написал, Ромеев?» «Нет, — сказал я, — это брат». «А... — сказал Файгенблат, — а вот эта цитата неправильная». — Он указал на ту самую надпись, из Библии. «А ты откуда знаешь?» — спросил я. «Неправильная, — недовольно сказал Файгенблат, — моя бабушка Ветхий завет наизусть знает, там не так». «Много ты понимаешь, — сказал я, — это писал мой брат».

Родители с улыбкой вспоминали о том, как Вадима в детстве иногда били. Этим занималась мать, красивая женщина, всю жизнь проработавшая бухгалтером либо кассиром, она часто уходила в свою задумчивую и чувственную жизнь, о чем-то мечтала, куда-то пропадала и нередко возвращалась с работы поздно, но громких ссор с отцом из-за этого не возникало. Отец был мягкий, тихий и веселый человек, слишком занятый ответственностью, которую налагали на него возрастающие по значению должности, — одно время он был даже директором шахты. Родителей объединяли общая любовь к застолям, дом и мы — сыновья.

4

Почти каждое лето мы всей семьей отправлялись в Одессу, к родственникам матери. У ее дяди там была дача — из города мы добирались на электричке часа два. Деревянный дом в пять крошечных комнат, увитый виноградом забор, а рядом, если перейти железнодорожное полотно, — море и песчаный пляж, на котором всегда почему-то было мало людей. Когда здесь возникали песчаные бури — а это бывало часто, — мне всегда казалось, что наступает неотвратимый конец очередной главы «Материка» — все главные события моей войны происходили здесь. Сюда, на этот бесконечный берег, высаживался десант уриев, и здесь же из-за морского горизонта их обстреливал линкор. Я рыл окопы, а однажды мы с братом построили целый блиндаж — с входом и выходом, — в то время как все остальные лепили песчаные замки или носились по берегу, играя в другую войну. Вадим с отцом часто отправлялись рыбачить. На надувной резиновой лодке они уплывали в море, и я, взобравшись на насыпь, мог видеть их в солнечном блеске. Они возвращались, наловив бычков и камбалы. Мать жарила нам эту рыбу, и мы ее вместе ели, запивали квасом или холодным лимонадом, а потом кто хотел, тот после обеда ложился спать, — я же любил, лежа на своей койке, думать, воображать и сочинять.

Через год, когда мы вновь отдыхали под Одессой, Вадим вдруг решил уехать раньше — он что-то сочинил о новом предмете в школе, к которому нужно подготовиться заранее. Тридцать первого августа мы втроем — я, отец и мать — вернулись, но Вадима дома не было. Завтра он должен был идти в школу, но никто из соседей его не видел неделю. Был вечер, в доме началась паника, мать с расширенными от ужаса глазами кричала на отца, упрекая его в беспечности по отношению к собственному сыну. Отец, притихший, ссутулившийся, обзванивал одноклассников Вадима, — один из них, явившись к нам домой около полуночи, сообщил, что встретил брата неделю назад на остановке — Вадим с туристским рюкзаком сидел в троллейбусе. Я сидел в своей комнате, подрагивая от обрушившегося на меня чувства несправедливости: я был на втором месте, обо мне забыли, я словно не существовал. К чувству страха, неразрывно связанному с мыслью о брате, примешивалась обида — иногда мне хотелось, чтобы Вадим не вернулся, пропал навсегда. А в три часа ночи брат сам открыл ключом дверь и вошел, таща за собой рюкзак, в дом. Он был грязный, худой, с насмешливой улыбкой и торжественным, счастливым блеском глаз. Отец

спросил: «Ты где был?», а мать молча, сжав зубы, принялась хлестать брата подобранной половой тряпкой. Я приоткрыл дверь своей комнаты и видел, как он уворачивался, подставляя под удары спину, — и при этом улыбался. «Ты смеешься, подлец, смеешься!» — шипела мать, стараясь ударить его по лицу.

Наконец отец вступился за Вадима и увел его из гостиной на кухню, где у них и состоялся разговор. Выяснилось, что брат с рюкзаком и палаткой отправился один в Крымские горы и прожил в лесу пять дней. Он прошел через Большой Каньон, забрался на Ай-Петри и через Ялту автостопом вернулся домой. На вопрос: «Зачем ты это сделал?» — он ответил: «Нужно было». Я же недели через три, когда все забылось, узнал подробности. Я не мог не узнать — брат всегда чувствовал потребность совершить шаг назад, ко мне, поговорить и снова уйти. Может быть, ему нравилось, что я маленький и могу слушать его только с восхищением. Он рассказал, что давно мечтал совершить одиночное путешествие в лес — и вот наконец его мечта осуществилась. Он только скрыл от родителей, что не взял с собой еды. «Палатку я не раскладывал, — сообщил он, — огонь добывал с помощью увеличительного стекла. А самое главное, Влерик, — он торжественно посмотрел на меня, — у меня был запас продуктов, спички, сухое горючее, но я этим не воспользовался, понимаешь?» «А что ты ел?» — спросил я. «В лесу полно еды: ягоды, дикие груши, кизил, дичь, вода в речке, что еще надо?» «Дичь?» — удивился я. «Да, я охотился, — лаконично сообщил Вадим. — Силки для птиц — все это элементарно, Влерик».

Отец был добрее матери. Он редко повышал голос, ему нравилось рассказывать веселые случаи, анекдоты, он нечасто спорил и редко находил в себе силы для того, чтобы серьезно, решительно с кем-то поговорить. Он не любил одиночества, терпел любых гостей, а если ему все же случалось оставаться одному, не унывал, свыкался со своим положением и, бодро напевая любимую мелодию времен своей юности, делал какую-нибудь домашнюю работу, смотрел телевизор, читал газету или детектив. Характер матери был подобен вспышкам молнии во время солнечной погоды: если она злилась, то серьезно и жестоко, но потом что-то в ее душе переворачивалось, она могла стать задумчивой и даже плаксивой. Она нравилась мужчинам, обожала внимание и стремилась изысканно, разнообразно одеваться.

Отец ничему не учил своих сыновей. Год за годом выяснялось, что я не умею ездить на велосипеде, не играю в шахматы, в карты, не умею кататься на лыжах и на коньках. Самым мучительным оказалось неумение плавать. Отец с его веселой добротой искренне удивился этому обстоятельству, когда мы впервые приехали в Одессу. Он принял меня учить, но у меня ничего не получалось. По-настоящему я перестал бояться глубины, когда, играя, мной занялся брат: он поднырнул под матрас, на котором я, сам того не заметив, отплыл очень далеко от берега. Брат с шумом взорвал подо мной воду, и я скатился со взгорбленного матраса, сразу почувствовав, что ноги не достают дна. Я так испугался, что даже не мог кричать, и только видел, как Вадим, завладев матрасом, спокойно уплывает прочь. Я беспомощно, по-собачьи пенил под собой воду, с каждой секундой понимая, что сейчас утону. Еще надеясь на помощь, я изо всех сил вертел головой, а потом заплакал и стал тонуть, сразу удивившись, что это нелегко: тело, если расслабить ноги и руки, словно бы само держалось на воде. Все мои мысли смыло спокойным ужасом, и этот неторопливый, работающий, как отлаженный механизм, страх начал двигать меня вперед, к берегу. Кое-как я добрался до мели и передохнул, стоя по горло в воде. Потом мне в лицо ткнулся край матраса, брат, брызгаясь, плавал рядом.

«Ну что, Влерик! — кричал он. — Понял, что такое торпеды подводных лодок уриев?»

В отличие от меня, научившегося играть лишь в шашки, брат все освоил самостоятельно. Я помню случай с коньками. На зимних каникулах к нам домой пришла одноклассница Вадима, за чаем она пригласила брата в субботу на загородный каток — в том году впервые в нашем городе выдалась настоящая, с морозами, зима. Вадим пообещал прийти. В четверг он раздобыл в пункте проката ботинки с коньками, надел их и весь день, чертыхаясь, падал в своей комнате — я слышал его проклятия и, краснея, стыдился так же, как и он. А после двух ночи он тихо вышел из дома, его шаги слышал только я, сразу догадавшись, куда он пошел, — на пустырь, где на небольшом поле, залитом льдом,

днем мальчишки играют в хоккей. Брат вернулся поздно утром, с сияющим, красным от мороза лицом и с надменно сложенными губами — весь его вид говорил о том, что у него все в порядке, что не существует ни одной жизненной мелочи, способной ввергнуть его в неуверенность или стыд. Наблюдая за ним, я представлял, как все было. Вот он падает, вот он, стиснув зубы, выписывает, согнувшись, круги по безлюдной ледяной площадке — единственный человек в морозную, безлунную ночь. Вот с рассветом приходит подгоняемое первыми лучами солнца умение, а с первыми прохожими прорезаются крылья, благодаря которым ты уже ничем не отличаешься от утренних конькобежцев, и только неестественный блеск глаз и тихий хохот внутреннего восторга все еще выдают тебя.

5

Осенью, когда я учился в четвертом классе, а Вадим заканчивал школу, в Донецке умер наш дед по отцу. Это случилось на ноябрьские праздники, когда мы всей семьей гостили у него дома, и поэтому все пошли на похороны, хотя отец не хотел, чтобы я смотрел. Запомнилось кладбище: серая, вязкая погода, мелкий дождь, пьяная неровность музыки оркестра, грязь и люди, которые даже не плачут, потому что кругом вода. Наконец музыка смолкла и воцарилась шуршащая тишина, кто-то что-то говорил, объяснял, но я ничего не слушал, я смотрел на Вадима. По его бледному лицу текли струи воды, он болезненно ссутулился и, расширив глаза, смотрел на могилу, в которую опускали гроб. Потом он смотрел, как кидают лопатами охристую глину в яму — и я тоже смотрел. Через день, когда мы уехали, уже дома, он, опять избрав меня своим слушателем, стал рассказывать, иногда задавая вопросы тоном, в котором исчезла прежняя надменность и появилась новая, тихая злость.

— Страшно умирать, а, Влерик? — спросил он.

Я молчал, и он добавил:

— А еще страшнее дожить до смерти.

Я растерянно пробормотал:

— Так жалко дедушку...

— Конечно, если вокруг столько родных собралось. А если бы,— Вадим резко взглянул на меня,— их не было рядом? И они не знали, что он умирает, тогда жалели бы они его? А он бы в это время умирал, умирал, понимаешь, Влерик? В самом деле умирал где-нибудь на другой стороне света. Ведь они бы слезинки не уронили. Они бы целовались и смеялись в эту самую минуту, когда он умирал, мать кричала бы на отца или на меня, тебя бы гладили по голове и говорили: «Талантище, наш талантище». А его бы несли и бросали в яму. Понимаешь, Влерик, в яму.

Брат посмотрел на меня, и я увидел в его глазах слезы. Но я не почувствовал теплоты. Он плакал о чем-то странном, даже не о себе.

— В мокрую, склизкую яму швырнули, где поджидают черви. Ну уж нет, так ни за что не умру.

Я долго молчал, ожидая, что он еще что-нибудь скажет. Потом спросил:

— Но что же делать?

Он отвернулся.

— Я еще не знаю. Пока. Но лучше утонуть, чем в яму.

Мы разошлись. Ночью мне приснился сон: тело брата, ровное и прямое, с закрытыми глазами и немым ртом опускается вниз в полупрозрачной, неспокойной морской воде. Я наблюдаю за погружением и вдруг понимаю, почему все вокруг так зыбко — рыбы. Да, рыбы, бледные, поблескивающие чешуей, разные по величине и окраске морские создания сонно, не спеша подходят к брату, неподвижно стоят рядом, едва шевеля плавниками, а потом начинают медленными, сонными рывками откусывать от него кусочки. Целый рой рыб вокруг, и он в хороводе тел, неподвижный и тихий. Я, не просыпаясь, закрываю во сне глаза и падаю в другой сон,— там, все еще видя рыб, в третий, и так все дальше и дальше, лечу сквозь галереи снов, проходы в которых — все те же неподвижно разинутые пасти рыб. Мне хорошо, меня убаюкивает какая-то зыбь. Мне ясно, что брату тоже спокойно в хороводе существ, медленно кусающих

его. Я понимаю, насколько в этом тихом, глубоком мире чище и лучше, чем в яме, куда стекают струи дождя. Сон успокоил меня — впоследствии я меньше боялся смерти, думая о ней как о далеком существе, живущем, должно быть, в море. А может, есть две смерти? Земная, глиняная, отвратительная — и та, что в морской воде, чистая, не для всех людей. Позже, когда хоронили и процессия перекрывала мне дорогу, я останавливался и смотрел, не ощущая в душе ничего, кроме задумчивой тишины.

Фронтные успехи моих выдуманных народов стали меркнуть вместе с очаровательным солнцем детства, которое к пятому классу стало медленно заходить за горизонт. Понимая, я все же делал по-своему, стремясь продлить жизнь своей и так уже разросшейся фантазии. Я придумал, как строившие пирамиду египтяне, нечто новое, большое и последнее; я задумал придать своему миру форму, вылепив его из пластилина. Это были огромные, расположенные на фанерных полях ландшафты, которые я усеял пластилиновыми армиями, танками и броневиками, выстроил крепости, вырыл окопы. Мои солдаты беспрерывно воевали, а потом, когда мне надоело их двигать, я стал создавать застывшие картины — маленькие, с тысячей подробностей панорамы — и звал брата, чтобы он посмотрел.

Начались летние каникулы. Вадим закончил школу без золотой медали, устроив комедию из экзамена по математике, которую знал на «отлично». Отец был в школе, вернувшись, он развел руками, а мать, войдя с гневным лицом в комнату Вадима, вышла оттуда растерянной. В тот день в доме все подавленно молчало, кажется, только сейчас поняв, что с Вадимом происходит нечто необратимое.

Через несколько дней начались разговоры о планах на будущее. Отец лепил мечту, что его старший сын поступит, как и он когда-то, в политехнический институт в Донецке, на горный факультет. Вадим криво улыбался и молчал. А потом приехала погостить наша двоюродная сестра, Лина Ромеева — она собиралась учиться в Москве, в педагогическом институте, — и на две недели решила остановиться у нас.

Я помнил Лину, как Золушку из книжек голубого детства: золотоволосая девочка с веселыми и внимательными глазами. Она всегда казалась мне взрослой и серьезной: еще бы, ведь она даже брата была старше на целый год. Последний раз мы виделись на похоронах деда — тогда, в тот дождь, среди глины и музыки, я совсем не обратил на нее внимания, а сейчас она была здесь, рядом, высокая и стройная, в ярком летнем сарафане, небрежно зашнурованном под грудь и разлетающемся красными маками от талии вниз. Я увидел совсем близко ее смущенное, полное подвижных солнечных зайчиков лицо с губами, облизывающими какую-то травинку, ее глаза, смотрящие то на меня, то на всех остальных весело и добродушно. А потом она поцеловала меня, не нагибаясь, как раньше — ведь я вырос, — а просто подняв подбородок, мягко толкнула в щеку губами и обсыпала мою одежду белыми лепестками, застрявшими в ее волосах. «Это в вашем саду меня вишней осыпало», — жарко, на каком-то чрезвычайно правильном и четком русском языке сказала Лина и рассмеялась.

Наша семья быстро поддалась обаянию Лины, особенно радовался отец, всегда обожавший племянницу. Мать принялась болтать с ней целыми днями, найдя в Лине искреннюю слушательницу историй, которые не всегда доверялись отцу, и любительницу новых кухонных рецептов, переданных матери от бабушки. Лина порхала по дому, как солнечный мотылек, залетевший из сада, и только один из нас, Вадим, смущаясь, с трудом отзывался на ее любовь. Это было неудивительно: не было еще человека, труднее сходящегося с людьми, чем мой брат. Я доверился ей сразу. Мы бродили по городу, ели мороженое, ходили в кино и в наш маленький местный театр. Она вместе со мной, испачкав платье, взобралась на самый большой террикон, а потом прыгала на его вершине и кричала, что отсюда виден Египет. Мы вместе ходили купаться и ловить рыбу в карьер и спорили, кто поймает самого большого бобыля или красноперку. Иногда на пляже к Лине подходили знакомиться большие, взрослые мужчины, она со всеми ласково говорила и серьезным тоном сообщала, что у нее есть сын, и указывала на меня. Ее интересовали мои натюрморты и пейзажи, она рассуждала о живописи и даже сама, выпросив у меня краски, пробовала рисовать.

Однажды, взяв удочки, мы отправились в карьер, забрались в безлюдное место и принялись ловить рыбу на перловку. Я сказал: «А спорим, я за час наловлю столько рыб, что тебе и не снилось?» Она усмехнулась: «Попробуй!» — и предложила проигравшему залезть на скалу и крикнуть на весь карьер: «Кукареку!» Я согласился, отсел от нее подальше и насадил на крючок крошечного червячка — мотыля, вчера я выпросил коробку у Файгенблата, отец которого знал толк в приманке. Вскоре в моем целлофановом кулке плескалось штук шесть рыбешек, а Лина поймала только одного крошечного малька. Сестра хмуро поглядывала в мою сторону, я увлекся и вдруг услышал совсем рядом ее возмущенный голос:

— Ах, так ты обманщик?

Я вскочил и, улыбаясь, смотрел на нее.

— Все равно ты проиграла!

— Ты обманщик! — четко заключила Лина и добавила: — Смотри, а то я накажу тебя!

— Интересно, как? — улыбнулся я.

— А вот как, сопливый мальчишка! — вдруг резко вскрикнула она и, бросившись на меня, попыталась обхватить, чтобы свалить на песок. Но, странное дело, я почему-то уже был готов к этому, мое тело напряжилось, руки метко выбросились вперед и ухватили ее запястья, сразу завертевшись в моих пальцах, как змеи. Стремясь вырваться, она сильно дернулась всем телом, и мы оба упали на песок. Ее лицо очутилось рядом с моим, она жарко дышала открытым ртом мне в глаза и быстро шептала: «Я тебе... мальчишка... покажу». Воздух стал вязким и горячим, я быстро вспотел, устал, но, чувствуя новый, приятный азарт, боролся с ней, как с мальчишкой, стремясь во что бы то ни стало победить. Так и не справившись с руками Лины, я цепко схватил одну ее руку в обе свои, крутанул ими в воздухе и очутился на влажной спине сестры. Кофточка задралась, я вжимал ее завернутую за спину кисть в полоску ткани бюстгальтера, упираясь костяшками пальцев в пластмассовую застежку. Я тяжело дышал, с каждым вздохом все отчетливее понимая, что настал тот миг, за которым кончается моя физическая, мальчишеская сила, дальше начинается то, что мне неподвластно. И тут сестра неожиданно спокойным, глухим голосом — я только потом догадался, что ей было больно и она сжимала зубы, — быстро заговорила:

— Ну, все... Поигрались, быстро слезай, отпусти...

Я медлил.

— А ты полезешь на скалу? — слабо, безнадежно спросил я и тут же вздрогнул от властности ее тона:

— Ну-ка быстро отпусти, я сказала!

Дрожа всем телом, я выпустил ее руку. Сестра повернулась подо мной одним движением, очутилась ко мне лицом и, быстро закинув мне на плечи ноги, отжала мой подбородок назад и опрокинула меня навзничь. Я не успел и подумать о сопротивлении — так быстро оказались прямо перед глазами напряженные мышцы ее скрещенных икр. Лина не дала мне передохнуть, еще одно движение — и она сбросила меня на песок, я пытался встать, но поздно: мою загнутую вниз голову уже сдавливали ее руки. Я тут же понял, что из этого борцовского захвата мне не вырваться. Мне было плохо, ломило затылок, запах пота сестры кружил голову, но больше всего жег стыд.

— Ну что, все? — услышал я где-то вдалеке победоносный голос Лины. — Все или нет?

— Все, — отозвался я и тут же тихо заплакал.

— Ну что, обманщик, будем кричать кукареку?

— Будем, — буркнул я, и ее руки разжались.

Поднявшись с песка, мы стали отряхиваться. Лина весело просила: «Помоги мне!» — и я, опустив голову, шлепал ладонью по ее плечам, с яростью ощущая всю кристальную ясность высказывания: «Хоть сквозь землю провались!» Лина, смеясь, приподняла обеими руками мою голову и заглянула в глаза.

— Кавалер, чего голову повесил? Не обижайся на меня... И не переживай. Рано тебе еще с девками бороться. Вот подрастешь, тогда... — И она быстро, прямо под одеждой, поменяла нижнее белье на купальник, взбежала на гранитный выступ и прыгнула ласточкой в воду, подняв тучу брызг.

— Эй, Ромеев-младший, давай окунись, чего же ты?! — кричала она из воды. — Давай ныряй, а кукарекать сегодня, так уж и быть, не будем.

Очутившись в холодной воде, я почувствовал себя лучше — мы принялись плавать наперегонки, и я яростно обогнал ее. Стыд, начало которого положила неудачная борьба с Линой на песке, жег меня несколько дней не хуже жаркого июньского солнца, и поэтому я не сразу заметил, что Вадим вышел из своего уединения, чтобы присоединиться к сестре. Они часто и подолгу беседовали в его комнате, на веранде или в беседке в саду. Иногда, проходя мимо, я слышал таинственные слова брата: бремя белых, патриции, триумвират, джонка, Александрия, Афины, белокурая бестия, снарк, южные моря, дом волка, белое безмолвие — и многое другое, что сразу пленило мое воображение. Брат говорил вдохновенно, сладко и решительно, а Лина отвечала восторженно и короткими фразами, и мне становилось не по себе от мысли, что у брата есть собеседник, который его понимает. Урии и гипы казались мне теперь далекой сказкой, я мечтал уже о чем-то новом, незарисованном, но заранее прекрасном. Какое-то одно мое чувство вырвалось вперед, из настоящего в будущее, я рос нелепыми разными толчками, устремляясь в то время, которое я, еще не видя, любил.

К концу своего пребывания Лина почти совсем забыла обо мне. Вадим где-то раздобыл велосипеды, и я смотрел, как они проезжают мимо меня, сначала брат, высокий, худощавый, с застывшей на лице серьезной улыбкой, и следом она — в коротком ярко-белом платье, уже загоревшая, с вспыхивающими на солнце волосами. Однажды я крикнул им: «Эй, Вадик, вы на карьер купаться? Может, и я с вами?..» И хотя я смотрел на брата, но, конечно же, обращался к Лине, и она, раскусив это, остановила велосипед и ответила: «Да нет, мы за город, да и куда же тебя посадить?» Я хмуро смотрел на сестру, на всю ее напряженную фигуру, на то, как плавно она спустила почти оголенную ногу с седла, и видел, как подрагивают под кожей ее бедра плавные, длинные мышцы, те самые, что недавно, как тиски, сжимали меня, сжимали до тех пор, пока я с позором не признал поражение. «А... ну, пока...» — растерянно сказал я и пошел к дому.

В последний день перед отъездом Лине постелили не на веранде, а в большой комнате на диване — похолодало. Но она не ночевала там — это я знаю точно, я видел, что она сразу ушла в комнату к Вадиму и они тихо проговорили всю ночь. Утром Лина, моргая красными, воспаленными глазами, поцеловалась со всеми, попрощалась, и отец на машине увез ее на вокзал. Вадим, необычайно оживленный в тот день, вдруг засел за учебники и объявил о намерении поступить на горный факультет Донецкого политехнического института. Родители были довольны.

Еще год-полтора я вяло писал новые главы «Материка», переделывал старые и показывал их приезжающему на выходные брату. Я уже не придумывал новые панорамы и не лепил из пластилина солдат. А в конце шестого класса я взял последнюю, похожую на маленький музей панораму и вынес ее, как огромное блюдо, во двор, к сараю, где отец всегда жег мусор. Там я щедро полил армию бензином из бутылки, тайно взятой в гараже. Затем зажег спичку и бросил ее в центр мира. Он вспыхнул. Было хорошо видно, как горят в огне танки, как корчатся тела, как оседают стены крепости. От самой высокой башни откололся кусок, он горел, окутанный черным дымом, и все не хотел падать — я нетерпеливо ударил по башне тыльной стороной ладони и вскрикнул: горящий пластилин обжег руку. Я тут же вскочил и помочился на рану, но боль не уменьшилась. След от ожога остался навсегда — память о том, как сгорел Материк.

На втором курсе института Вадима забрали в армию. Он вернулся через два года, став, как мне показалось, снисходительней, молчаливей и сильней — в казарме он продолжал заниматься спортом. Я знал, что он никогда не хотел служить. Нас объединяло это врожденное отторжение любой несвободы. Может быть, и здесь он начал раньше, чем я, а я последовал за ним, как всегда и во всем, — не знаю, но это сходство тоже было скрытым, потому что мы не го-

ворили и даже, вероятно, не думали о нем. Взрослея, я хотел все-таки быть другим, молча спорил с ним, негодовал и почти заставлял себя думать не так, как он, но когда Вадим ушел служить, мне ничего не оставалось, как сладко отдаться спокойному чувству бега — за братом, за кем же еще. Я читал, рисовал, занимался спортом — делал то, что умел и хотел. Я чувствовал, что так радостней, благородней — выделять самого себя из всех, постепенно, твердо, насовсем. А когда Вадим вернулся, я вдруг увидел человека, невероятно вырвавшегося вперед, так далеко, что я едва мог различить, что он брат. Все повторилось — за старым горизонтом появился новый. Вадим ходил по дому, все время о чем-то думая, редко со мной разговаривая, а родителям отвечал невпопад и едва улыбаясь. Он тяготился нашим домом, как заключением, в которое попал опять.

Он совсем не замечал, что я вырос, что гипы похоронены навсегда, что я почти наизусть выучил «Заратустру» и прочитал книгу о капитане Скотте — ту самую, откуда стихи: «Мы уходим в поход...», — что весь его список книг — пройденный этап и что я занят собой — своим телом и своим маленьким взрослеющим духом — как никогда, что моя фамилия Ромеев и что во мне течет похожая кровь.

В середине лета Вадим уехал к родственникам в Москву. Через неделю он позвонил и сообщил, что поступает в университет. Это было время, когда родители не только перестали понимать его, но и не удивлялись уже своему непониманию. Я помню, как они говорили в своей спальне: «Он что же, бросил институт в Донецке? — спрашивал отец. — И куда поступил, в МГУ?» «Не знаю, кажется, да», — отвечала мать. «Но ты же говорила с ним по телефону?» «Говорила... Но он ведь еще позвонит». Вадим звонил редко, и однажды, когда я поднял трубку, он сказал мне: «Привет, позови отца или мать». Я ответил, что их нет дома. «Тогда передай, что у меня все нормально, может, я приеду зимой». — И положил трубку.

Отец съездил в Москву, с трудом нашел Вадима. Оказалось, что он действительно учится в университете, на физическом факультете, снимает квартиру и работает сторожем на автостоянке. Отец привез деньги, Вадим взял, но сказал, что зарабатывает неплохо и ему хватает. Потом он почти перестал звонить. Через год отец, не найдя Вадима на прежней квартире, случайно встретился с ним в университетском коридоре и спросил, почему он не приезжает домой. Вадим обещал звонить. «У него есть девушка, — рассказывал отец, — она живет с ним, они снимают полдома в пригороде».

Это было время, когда родители, особенно отец, стали уставать, они меньше говорили между собой, редко ходили в гости и почти не приглашали никого к себе. Работа отца стала длиннее, тяжелей, хотя он, как и раньше, уходил в восемь и возвращался в семь. Мать задерживалась после работы все чаще, приходила, шла на кухню, готовила всем есть, а потом садилась в кресло перед телевизором, что-то говорила, вздыхала, звонила по телефону — и вся видимость ее внимания ко мне и к отцу была пронизана такой тоской по чему-то несбывшемуся, что мне становилось ясно, почему отсюда уехал Вадим, почему вообще кто-то кого-то бросает и почему, наконец, мне нужно было хоть что-то попытаться изменить. Как раз тогда я впервые смутно почувствовал, что жизнь, вероятно, состоит из двух неравных половин, посередине которых лежит изменение — как трещина, или как мост, или, может быть, как смерть — не знаю, но мне реально показалось, что перемена — самое чистое и самое быстрое счастье, побуждающее жить. Я думал тогда, что изменение бывает только раз, и, конечно, в этом не ошибался. Но мог ли я знать, что пытаться уловить этот миг невыносимо трудно, а о том, чтобы не спутать его ни с чем другим, не следует и мечтать?

Я мечтал, как и прежде, о живописи, о большом новом городе и о том, как я буду там жить — по-другому. Но поступить в Ленинградскую художественную академию я не смог. Я поступал туда два раза, два года я готовился, ходил на этюды, но, вероятно, моему творческому воображению настал конец еще тогда, вместе с гипами. Меня забрали в армию, на два года, как и брата, и там мое механическое умение рисовать проявилось в новом, убогом виде — я украшал плац и территорию части плакатами по строевой подготовке, и за это командование едва не наградило меня отпуском. Армия была продолжением дет-

ского лагеря в лесу, здесь избивали по-настоящему и могли убить, но тоскливая уверенность в перемене, подказанная братом, помогла мне преодолеть это время, а когда оно кончилось — сразу забыть.

Я помню, меня пошатывало от восторга, когда я вернулся домой. Я даже не сразу понял смысл сообщения о Вадиме — о том, что он исчез, не вернулся, не захотел возвращаться домой. Еще в казарме я впервые смутно почувствовал, как зацветает, перестает течь источник нашей с братом связи. Письма мне писали только родители, чаще отец, все реже упоминающий о Вадиме. А теперь брат пропал. Отец, приехав в Москву, нигде не нашел его. Он не писал и не звонил. Мать уже выплакалась и рассказала, что с Вадиком все в порядке: какой-то ее знакомый случайно встретил брата в Москве, и он просил передать, что все, мол, хорошо, что он обязательно приедет, и просил не волноваться. «У него все хорошо, — повторял отец, — хорошо, хорошо, хорошо. У него есть работа и, кажется, семья». Они оба, отец и мать, говорили о нем как о совсем рядом живущем сыне, который вот-вот позвонит в дверь и войдет. Говоря со мной, они не обращались ко мне. Мне казалось, что не они, а Вадим их воспитывал — год за годом, с самого своего детства. Если бы пропал я, паника тут же вспыхнула бы, как пожар, меня разыскивала бы милиция, меня бы нашли. Но брат — он недаром смотрел на нас так, словно мы не из его рода. Когда я думал о нем как о Ромееве, мне казалось, что его и мою фамилию тоже разделяют шесть лет. Я перечитывал свой «Материк», читал одновременно «Дэвида Копперфилда» и слушал оставшиеся после брата записи английской группы «Uriah Heep». Тайное не становится явным, оно становится другим. Неправильно подслушанное имя отвратительного злодея породило целый прекрасный мир только потому, что было сказано другим тоном и другим человеком.

Моя жизнь приобрела новый смысл. Окончательно уверившись в пустоте своего таланта, я объявил родителям, что никогда не буду художником. Больше всего расстроился отец, но тихо, спокойно. Он молча кивнул и ушел в гостиную смотреть телевизор или читать детектив — ему все еще хотелось, чтобы я был знаменитым. Мать сказала, что я в таком случае «круглый дурак, а впрочем, делай как знаешь».

Весь год я готовился к экзаменам в Московский университет на факультет филологии, учился в автошколе и получил водительские права, а летом, когда уезжал, все-таки взял с собой этюдник с красками — я собирался рисовать пейзажи и продавать их на улице, чтобы заработать на жизнь. Я настолько чувствовал себя Вадимом, что поступил в университет, почти не задумываясь, и стал жить в общежитии, откуда сразу, как только получил денежный перевод от родителей, ушел. Я нашел по объявлению комнату в квартире, где жила пожилая хозяйка и две студентки, снимающие комнату на двоих. Отец звонил примерно раз в неделю и изредка спрашивал: «Ну что, не видел Вадима?» Позже родители сообщили, что Лина тоже в Москве, она замужем и у нее есть сын. Я быстро узнал ее адрес, но, собравшись, не пошел к ней — настала зимняя сессия, я легко сдал все экзамены, а потом позвонила мать и сообщила, что отец в больнице: «У него чепуха, проблемы с язвой, ты не приезжай, он уже скоро выходит», — и просила меня подождать с деньгами, так как шахту закрыли, отец безработный и ищет новое место. Она не спрашивала меня о Вадиме. Она только все время вспоминала: «Ты был у Лины, был? Нет еще? Увидишь — скажи, чтоб позвонила и приезжала, когда хочет, на лето, с ребенком, с мужем, поедем в Одессу, мы ее очень любим». Денежных переводов больше не было, я задолжал за комнату, хозяйка вздыхала и обещала подождать. Я принялся рисовать — при свете желтого электрического света — маленькие картины, где цвели кактусы, яркие пальмы, мерцало море, рос лес и гуляли темные люди. Собрав свои работы, я отправился в морозное утро на Крымский вал, разложил картины, стал ждать. Впервые после армии в этот день я закурил — на холодном ветру, почти не чувствуя пальцев. Но, простояв до вечера, я ничего не продал. Ночью, во сне, мне показалось, что я сплю быстрее, чем живу.

Прошел месяц. Каждое воскресенье я стоял на площади Крымского вала, возле выставочного центра, мерз, курил и наблюдал, как у соседей покупают живописные работы по триста—пятьсот долларов. Наконец я решил обратиться к Лизе и Свете, моим соседкам, — у них, мне казалось, есть деньги, они собирались скоро снять двухкомнатную квартиру на двоих. Девушки днем учились,

а ночами работали официантками в баре и рассказывали мне, что зарабатывают в основном чаевыми, долларов пятьсот в месяц. Я постучал к ним, дверь открыла Лиза — высокая, черноволосая, она всегда, ухмыляясь, рассматривала меня, когда мы встречались на кухне, любила шутки, анекдоты и богатых парней — я часто видел, как подружек подвозили к дому в «мерседесах» и «БМВ».

— Привет, Валерка, — обрадовалась она, — как жизнь?

Я сказал, что нормально, вошел в комнату и сел на диван, не зная, с чего начать.

— А где Света? — спросил я.

— На свидании, где же еще... Хотя, может, в институте, кто ее знает. — Лиза большими темными глазами, почти не моргая, смотрела на меня. На ее губах дрожала улыбка. Мне показалось, что она хочет о чем-то спросить.

— Ну, — сказала она, — как твои картины, Валерка, покупают?

— Нет. Кстати, Лиза, у меня к тебе просьба...

— А у меня к тебе вопрос. — Лиза прищурилась. — Ты почему все время один?

— То есть? — Я почувствовал, что краснею.

— Ведь тебе уже есть двадцать?

— Ну, есть.

— И ты девственник?

Вопрос был слишком прямой. Помедлив, я усмехнулся:

— А вы со Светой лесбиянки?

— Да, — быстро ответила Лиза, не отрывая от меня взгляда.

— Прекрасная откровенность, — помедлив, произнес я. Ее слова почему-то смыли мой стыд, и я уже не краснел.

— И, — добавила Лиза, — я еще люблю кое-кого, например, тебя.

— И за это тоже спасибо. — Я поднялся.

— Ты уходишь?

— Черт возьми! — Я быстро заходил по комнате. — Я хочу одолжить у тебя денег — вот и все. Мне нужно заплатить за квартиру, за три месяца...

Лиза сидела, согнувшись, на стуле, ноги, закрытые халатом, расставлены, локти упираются в колени, голова — на ладонях, и черные волосы рассыпаны по плечам. Она добродушно улыбнулась.

— Извини, я, кажется, несу чушь. Я просто пьяна, знаешь. Мне надоело все, мне двадцать пять, и я все еще учусь и гребу деньги ночью. У меня был муж, знаешь, и, кроме него, еще двадцать мужчин. Я дрянь?

— Ладно, я потом зайду, — сказал я.

— Не успеешь. Завтра мы переезжаем на две разные квартиры. Я ненавижу Светку, и она меня тоже. Все надоело, Валера, иди ко мне.

— Что? — Я замер и взглянул на нее. Она сидела тихо и смотрела прямо, сквозь меня, не моргая и не шевелясь. Я слышал звук моих наручных часов. Потом на кухне хлопнула дверь — хозяйка вышла из комнаты. Потом снова наступила тишина, а мне стало жарко, горячо, как когда-то давно, в детстве. Я сделал шаг от двери. Затем второй, третий.

— Стоп! — вдруг крикнула она, расширив глаза. Ее взгляд обезумел, мне сделалось страшно. — Я передумала, — быстро с отвращением сказала Лиза, опустив глаза, — вали отсюда...

Я медленно повернулся и ушел. Проходя мимо кухни, я заметил хозяйку, мне показалось, что она существо из другого мира. Я закрылся в своей комнате и лег спать, а ночью проснулся, вспоминая вчерашнее, но иначе, спокойней. Потом снова попробовал уснуть. Я не понимал, почему мне не хочется думать о длинных ногах Лизы, скрытых халатом, о том, как она поцеловала бы меня, обняв руками за голову, и о том, что она говорила бы мне — потом, позже. Я смутно чувствовал, что в чем-то не прав, что сделал нечто, за что следовало ударить и больно сказать: «Вали отсюда!»

Утром они уехали. Хозяйка постучалась в мою дверь и, противно улыбаясь, протянула конверт. «От девочки, — шепнула она. — Вам, Валерочка». Я хмуро принял письмо, заперся, забрался в постель и надорвал конверт — выпали двести долларов и короткая записка: «Извини, деньги отдашь, когда сможешь», — внизу был написан номер телефона. В тот день я не пошел на лекции,

долго лежал в постели и думал о Лизе, о Лине, о брате, о родителях, обо всем своем мире.

Нужно было зарабатывать, и я решил попытаться счастья на Арбате — когда-то мне неплохо удавались портреты. Возле кинотеатра «Художественный» я спустился в подземный переход, там стояли и сидели несколько замерзших, неподвижных художников. Я раскрыл свой этюдник, вытащил складные стулья. Художники не обратили на меня никакого внимания, лишь один, с бородой, в высокой бараньей шапке, повел в мою сторону глазами и сразу отвернулся. Я наблюдал, как они действуют: время от времени, словно очнувшись от забытья, подскакивают к спешащим прохожим и скороговоркой предлагают: «Нарисуем портрет? Нарисуем вас или вашу даму?» Тех, кого удавалось остановить, они рисовали быстро, стоя, держа планшет с бумагой на локте. Подслушав, сколько стоит портрет углем, я стал делать то же, что и они. Один мужчина, высокий, в вишневом пальто, ухмыляясь, посадил на мой стульчик ребенка, девочку лет пяти. «Только побыстрее, — предупредил он, — нам через пятнадцать минут в театр». Когда я начал рисовать, то сразу с ужасом понял, что не только не успею, но и не смогу передать сходство. Все это напомнило мне армию — только там, если не сможешь и не успеешь, могли избить, а здесь не заплатят. Мужчина молча курил за моей спиной. «Ладно, хватит, — внезапно сказал он, положив мне руку на плечо, — время вышло, можем опоздать». Он взял мой рисунок и показал дочери: «Ну как?» «Очень!» — обрадовалась девочка, и я чуть не бросился ее целовать. «Деньги, сейчас будут деньги», — с каким-то странным удивлением понял я. И они появились — несколько мятых купюр легли на мою ладонь. «Спасибо», — поблагодарил мужчину, и они ушли. Я засовывал пальцы в карманы, дышал на них, растирал, но они не отогревались. «Новенький?» — равнодушно спросили сзади. Повернувшись, я увидел художника в бараньей шапке. «Из Питера приехал, — соврал я, — там дело не очень идет». «А-а, — протянул мужчина, — зимой оно, дело, нигде не идет. — И, отходя, посоветовал: — Зря вы сидя рисуете, замерзнете быстро...» В тот день я сделал еще один портрет и радостный вернулся домой.

7

Иногда я не зарабатывал ничего. Но по крайней мере я знал, что у меня есть шанс завтра. В морозы я ходил в университет на все лекции, а вечером лежал дома на диване, читал. У меня не было друзей среди студентов, мне казалось, что я самый бедный среди них, и поэтому, небрежно запахивая полы своего длинного пальто, я лениво отказывался от всех вечеринок и походов в кафе. Как-то в феврале я вспомнил о Лине, случайно оказавшись в Сокольниках. В записной книжке были ее адрес и телефон, она жила рядом с метро. Сначала я позвонил — номер был занят. По записной книжке нашел ее дом, подъезд, квартиру. Долго не открывали, потом раздалось: «Кто там?» Я узнал ее голос и сказал: «Валера, Ромеев». Дверь распахнулась. Воскликнув: «Валерик, Боже мой! — Лина затащила меня в коридор, обняла и радостно поцеловала — в нос, в щеку, в глаз. — Почему же ты не заходил? — быстро говорила она. — Мне звонила твоя мама, рассказала о тебе. Почему?» Мне казалось, что сестра не изменилась — те же золотые волосы, теплые глаза, веселая солнечная улыбка. Только я вырос, и теперь ей приходилось тянуться вверх, чтобы поцеловать меня. «Ты, ты, — с восторгом говорила Лина, рассматривая меня в гостиной, — ты... изменился, стал похож...» — не договорив, она убежала на кухню.

Потом мы сидели друг против друга за накрытым столом, пили красное сухое вино и говорили, вспоминая о детстве, и я, удивленный внезапной вспышкой памяти, вдруг понял то, о чем догадывался раньше, — Лина почему-то оказывается мне ближе всех, даже родителей, брата. Не понимая причины, я смутно чувствовал изначальную порочность этой любви. Мне сразу показалось, что Лина виделась с братом позже нас всех. Когда это было — год назад, месяц, вчера? Мы разговаривали, и я, глядя на ее милое лицо, восхищался ее словами, четкой и правильной речью, жестами, улыбкой, смехом.

— Хорошо у тебя здесь, — заметил я, оглядываясь, — прямо уютное гнездышко... Знаешь, это, наверное, здорово — вернуться откуда-нибудь с края света, сесть на такой диван и просто смотреть телевизор?.. Это что, твоя квартира?

— Да муж все...— объяснила она.— Он зарабатывает жуткие деньги, даже мне машину купил, «рено», но я вожу плохо. Валерик, у меня есть сын! Она сбежала в спальню и принесла несколько фотографий.

— Вот он, его зовут Андрей, ему уже семь лет.

— Не похож на тебя! — засмеялся я.— Выходит, ты уже не Ромеева?

— Нет,— весело отозвалась Лина,— хотя Ромеева мне больше нравилось.

— А сын где, в школе?

— Он сейчас в Лондоне, в частной школе.

— А муж?

— Муж на работе, поздно приходит.

— Ты дома сидишь, Лина?

— Сейчас да, а раньше язык в лицее преподавала.

— Да,— сказал я,— муж у тебя что надо... Наверное, это здорово — жить, не зная ни в чем отказа.

— Валерик,— улыбаясь, Лина покачала головой,— ты лучше расскажи о себе, рисуешь?

Я рассказал ей о своих арбатских приключениях. Слушая, Лина всплескивала руками и испуганно повторяла: «Боже мой, в мороз! Рисовать на улице!» Чтобы не казалось, что я жалуясь, я соврал в конце, будто уже нашел хорошую работу. А потом спросил:

— Слушай, ты не знаешь, где Вадим? Он исчез, домой не пишет.

Лина кивнула.

— Я видела его, но давно. Он учился тогда на последнем курсе и заходил к нам. И с тех пор... Давай не будем об этом. Хочешь, я покажу тебе фильм, который сняла в Париже и Ницце? Ты не был там?

Мы смотрели фильм, пили вино, ели, вспоминали. Незаметно стемнело.

— Вот что,— решила Лина,— ты останешься у меня, на улице минус тридцать.

— Послушай, а муж?

Лина расхохоталась:

— А ты что, мой любовник? Ты ведь мой брат, Влерик.

Она постелила мне в гостиной, на широком диване. Засыпая, я думал о муже Лины, о том, как он придет глубокой ночью и обнаружит здесь меня, брата. «Брата,— усмехаясь, сонно думал я,— брата...» А проснулся я от тихого странного звука — то ли шелеста, то ли шуршания. Открыл глаза и увидел на краю постели Лину. Всю комнату заливал белый свет. Ночь, свет зимней белой луны и силуэт сестры, ее вспыхивающие в темноте волосы.

— Привет,— прошептал я.

— Привет,— тихо ответила она.

— Ты не спишь?

— Нет.

— А где муж, пришел?

— Нет. Знаешь, я соврала, мы... как-то поссорились, и он сейчас не живет со мной.

— Вы поссорились?

— Да нет, Валерик, он просто ушел.

— Ты не любила его?

— Никогда. И сейчас не люблю.

— Ты так говоришь об этом, Лина... А скажи...

— Потом, потом, Влерик.— Ее рука закрыла мне рот. Я осторожно убрал ее пальцы, спросил:

— Ты помнишь, как мы рыбу ловили?

Лина наклонилась ко мне и еле слышно рассмеялась.

— Нет, маленький, не помню.

— А я помню... моя шея долго еще болела.

— Шея? — тихо смеялась Лина.— У маленького шея болела?

— Да.— Я положил ей руку на колени. Ее ноги, плотно сдвинутые под халатом, шевельнулись — она повела одним плечом и дернула подбородком, коснувшись волосами моей щеки. Задрожав, я обхватил ее руками — как тогда, в борьбе. Она тоже дрожала и, падая ко мне, зажмурила глаза, закрылась ладошками и отвернула лицо. Начав с шепота, она постепенно забылась и теперь го-

ворила громче, почти вслух: «Нет, Господи, это не грех, Господи, нет, не грех, прости!» А я ловил ее руки, отнимал от лица и прижимался губами к ее губам, чтобы заглушить наш общий страх — он становился тише, невнятной, наконец, я его задушил. И тогда в возникающей тишине мы оба слышали, как смешивается наша кровь.

Нас разбудило яркое зимнее солнце. Мы проснулись, но не смотрели друг на друга, я чувствовал, что она не спит, что смотрит вверх и, наверное, думает о своем. Я старался запомнить эти минуты — ведь я одним прыжком покрыл расстояние в шесть лет, догнав Лину, а брат, он остался где-то в стороне. Вспомнив о Вадиме, я теперь уже не мог не думать о нем. Я испытывал странное чувство успокоения, граничащее со страхом все еще маленького человека: может быть, мне уже не хотелось, чтобы его нашли. Может быть. Я повернулся к Лине.

— У тебя были мужчины... кроме мужа?

— Я любила одного человека,— помедлив, ответила она.

— Это был мой брат?

— Да.

— Ты сказала вчера, что я стал похож на него. Значит, он где-то здесь, рядом?

— Да. Я знаю, где он живет, знаю его телефон.

Я молчал.

— Почему ты не спрашиваешь? — удивилась она.

— Слушай! — вдруг крикнул я, привстав с кровати.— А я? Я-то что? Ты со мной так же, как с ним, потому что я похож на него, напоминаю его, так, говори?!

Я нависал над ней, распластав ее руки на смятой постели, сжимая их так, что побелели костяшки пальцев — как тогда. Сжав зубы, она вертела головой и морщилась от боли — тоже как тогда. Сейчас она должна сказать: «Пусти».

— В тебе... его кровь. Ты... такой же, как он,— быстро, сдавленно проговорила она, и я увидел, что она плачет. Я слез с кровати, надел брюки и сел в кресло. Потом достал сигарету и закурил. Ее тело дрожало, она продолжала плакать. Я подошел к ней и погладил ее волосы.

— Прости,— сказал я,— прости.

— Да за что? — улыбнулась Лина. Растрепанная, с мокрым лицом, она смотрела на меня, и я вдруг увидел, что сейчас ей гораздо больше лет, чем вчера.

— Где Вадим? — спросил я.

— Подожди, я скажу тебе... Он просил меня не говорить никому, где он. Но тебе я скажу. Но, Валерик, он очень изменился, он не такой, как прежде... Это какой-то зрячий Гомер.

— Как ты сказала?

Когда я уходил, она протянула мне несколько сотысячных купюр.

— Возьми. И не отказывайся. Я знаю, что такое, когда нет денег.

— Почему мне все об этом говорят? — злобно крикнул я, оттолкнул ее руку и в коридоре обернулся: — У меня они будут, черт возьми, много!

Я позвонил брату на пэйджер. Он перезвонил через два часа и коротко, не удивившись, сказал: «Завтра в пять на Маяковской, стой на улице под колоннами».

Светило солнце. Я курил, прогуливаясь возле колонн, затем зашел за угол здания и бросил окурки на тротуар. Услышав автомобильный гудок, я поднял голову и увидел Вадима — он сидел за рулем белого, ослепительно сверкающего на солнце «форда» в солнцезащитных очках и, улыбаясь, смотрел на меня.

— Привет, Гип,— сказал он, открыв дверь,— садись скорее, тут нельзя долго стоять.

Он снял очки и положил их на приборную панель.

— Здравствуй, Вадим.— Сидя рядом, я смотрел на него и улыбался. Мы оба улыбались, он все так же — левым уголком рта. Я не знал, что говорить.

— Не напрягайся,— произнес брат,— сейчас заедем куда-нибудь, поедим, я умираю от голода, а ты?

— Наверное, — ответил я, барабанив пальцами по приборной панели.

— Не напрягайся, — повторил Вадим, дотронулся до рукоятки коробки передач, и машина легко тронулась с места.

— Автоматическая? — Я кивнул на коробку передач.

— Да. — Вадим, не глядя на меня, вел машину одной рукой.

— Ты неплохо зарабатываешь.

— Как когда, Влерик. Иногда — очень много, иногда — нет.

— А кем ты работаешь?

Вадим посмотрел на меня:

— Ты так говоришь со мной, словно я какой-то мафиози, а? — И засмеялся так же, как и раньше. — Я занимаюсь компьютерной графикой, за это сейчас хорошо платят. А ты как?

В кафе брат заказал сок, кофе с молоком и две пиццы с грибами. Я нехотя рассказал, что учусь, рисую на Арбате.

— Телефон мой, — небрежно спросил Вадим, — конечно, Лина дала?

— Да...

— Ты был у нее? — полувопросительно сказал брат и, словно рассуждая сам с собой, продолжил: — Скажем, на прошлой неделе. Ну и как она, ничего?

— О чем ты, Вадик?

— Да все о том же. — Вадим, откинувшись на стуле, улыбнулся. — Как она в постели, хороша?

Я вздрогнул и посмотрел на него. Я чувствовал, что тоже улыбаюсь, и ничего не мог с собой поделать.

— Значит, хороша, — скривив губу, протяжно сказал брат. — Она ведь спала с тобой, не так ли? Она роскошная женщина, даром что сестра. Да ты не переживай так, Байрон со своей сестрой тоже грешил. Не переживай. У нас, у великих, все можно.

— Ты великий? — тихо, зло спросил я.

— Нет. — Брат усмехнулся. — Конечно, нет. Но был бы им обязательно в веке этак в девятнадцатом. Ну, может быть, еще в начале двадцатого. А сейчас это ни к чему, все по-другому. Я великий сам по себе, в одиночку, понимаешь?

— Нет.

— Ладно, потом. Сегодня я на работе. Мы как-нибудь заедем ко мне домой и поболтаем. Да, сестра тебе деньги давала?

Я кивнул головой.

— И ты взял?

Глядя на эти пальцы, ловко орудующие ножом и вилкой, я опять кивнул.

— Это зря, Валерик. Помнишь Урию и Гипию? Ты ведь сам их создал, сам. А теперь ты должен построить другой мир — тоже сам. Поверь мне, это увлекательно. А Лина, она просто добрая девочка. У нее полно чужих денег, и она любит ими угощать. Так что не бери у нее — ты же мужчина. И у меня не проси — я точно не дам. Делай их сам, ты Ромеев.

— А ты? — зачем-то спросил я.

— И я. Но другой. Ну, мне пора, я подброшу тебя к метро. Ты ведь на метро ездишь, я не ошибся?

Он высадил меня на Пушкинской. В глаза мне било яркое зимнее солнце. Я посмотрел вслед его белой машине.

— Катись ты, — пробормотал я, — катись...

Я перестал ездить к ней в апреле. После университетских лекций я надевал старую, потертую куртку, рюкзак с этюдником, бумагой, пастелью и карандашами и отправлялся на Арбат, чаще всего к квадратным колоннам Театра Вахтангова, куда с первым весенним солнцем переместились портретисты из подземного перехода. Я садился на раскладное пляжное кресло и ждал, с пивом или сигаретой. Я научился говорить вежливые фразы на трех-четырех языках, приглашал, предлагал, завязывал знакомства и делал комплименты любым девушкам только для того, чтобы их нарисовать.

В конце апреля оказалось, что за заработок надо платить. Я сидел субботним утром в кресле, пил пиво и читал газету. Подошел парень и попросил прикурить. Я, не вставая, полез в карман за зажигалкой, протянул ему. Пока он прикуривал, кто-то резко, сильно ударил меня рукой по затылку — и я полетел вместе с креслом под ноги парню с моей зажигалкой, он вовремя отшагнул в сторону. Я встал и оглянулся: вокруг меня стояли трое, улыбаясь, смотрели куда-то в сторону, мимо меня. «Сколько стоит портрет?» — спросил, прикурив, парень. «Какая разница?» — сказал я. Несколько художников стояли в стороне и с интересом наблюдали за нами. «А почему не платишь?» — спросили за моей спиной. «А что, надо платить?» «Надо, дорогой, надо. Стоимость портрета в день. Спроси у своих коллег, они тебе расскажут. Все, давай рисуй пока. Вечером придем». — Парень кинул мне зажигалку, и они ушли. Я поднял кресло, начал подбирать рассыпавшуюся пастель. Мне помогал один из портретистов, хмурый бородатый человек в полушубке. «Что, сильно они тебя?» — спросил мужчина. «Да нет, нормально. Это что, рэкет?» Мужчина помолчал, поглаживая бороду. «Это, парень, вопрос сложный... Ты зря так далеко сел, надо было к нам поближе, нас они не трогают...» «И что же, — спросил я, — вечером не подойдут?» «А ты не сегодня, завтра к нам садись», — подаумав, ответил художник. Я постоял еще с час на своем месте, потом стал упаковывать рюкзак. «Со всех дань собирают?» — спросил я, подойдя к портретистам. Они молчали и, отворачиваясь, закуривали, а один, маленький и седой, совсем старик, покашливая, ответил тонким голосом: «С кого собирают, а с кого нет, жизнь такая, сынок».

Выждав неделю, я пришел к театру и сел поближе к портретистам. Я угаривал клиентов, нервничая и все время оглядываясь по сторонам. Потом, нарисовав американца, я спрятал деньги и стал собираться. Но, выпив пива, успокоился и решил все же подождать: вдруг не придут. Я вышел на середину улицы и вдруг увидел Файгенблата. Я его сразу узнал — толстое румяное лицо, интенсивная жестикуляция рук, — он шел в коричневой кожаной куртке и лаковых ботинках, что-то взахлеб рассказывая своей спутнице — ярко накрашенной блондинке. Он обнимал девушку одной рукой, она весело, откидывая голову назад, хохотала. Они шли прямо на меня. Отступив в сторону, я хлопнул его по плечу:

— Гена.

Файгенблат, отшатнувшись, растерянно посмотрел сначала на меня, потом на свою блондинку и наконец важным, знакомым с детства тоном произнес: — Это, дорогая моя, Ромеев! Мой школьный товарищ и соратник детских игр.

— Гена, я тебе страшно рад, — искренне сказал я, — откуда ты здесь?

— Я занимаюсь мелким гешефтом, а вот что делает художник в бывшей столице нашей родины, рисует?

— Угадал.

— Неужели портреты? Тогда пойдем быстро отметим это дело, я нынче гуляю.

Я собрал вещи в рюкзак, и мы зашли в кафе «Японская лапша». «Платить будешь ты, — предупредил я Файгенблата. — Помнишь, как ты в третьем классе за мой счет лимонад пил?» «Хорошо, хорошо», — вальяжно согласился Файгенблат. После нескольких чашечек sake он заказал водки и стал вполголоса распевать песни на еврейском языке. Блондинка, смеясь, теребила его за воротник куртки и требовала, чтобы он перевел. «Будущая жена моя, — шепотом общал мне Файгенблат на ухо, — через год беру ее с собой в Израиль, представь, я уезжаю со всей семьей, но через год». Я спросил, почему через год. «Я сейчас делаю деньги, много денег, — шепотом, переходящим в громкую, пьяную речь, объяснял Файгенблат, — и мне нужен срок, ровно год. Правда, уже меньше...» Позже он подозвал официанта и потребовал еще водки. Марина, его спутница, вдруг заскучала и стала приставать ко мне, требуя, чтобы я проводил ее домой. «Он импотент, импотент! — кричала она мне, перегнувшись через стол. — Я не могу ходить по улице с импотентом!» «А спать ты с ним можешь?» — спросил я. «Спать — пожалуйста, это не так стыдно, как идти с ним по улице. Пусть скажет спасибо, что я с ним в Израиль еду!» Файгенблат лежал головой на столе и хохотал. Я заметил, что на нас косо поглядывают официанты,

и предложил расплатиться и уйти. Файгенблат очнулся, с важным видом подозвал службу и получил счет. Как я и подозревал, мне пришлось доплачивать из своего кармана. У Файгенבלата, несмотря на толстое портмоне, денег было мало. Когда мы были в дверях, Марина, сунув мне в руки свою сумочку, вдруг ринулась в туалет.

— А ну ее, Валера,— пробормотал Файгенблат, взял у меня сумку и повесил на дверь туалета,— меня от нее тошнит, бежим!

Мы взяли такси и поехали куда-то на окраину Москвы, где я остался заложником в салоне «Волги» — пришлось ждать, пока Гена найдет и принесет деньги. Он снимал маленькую однокомнатную квартиру без мебели и без телевизора — из экономии, как сказал Файгенблат. Зато было много выпивки. Мы пили за единственным в квартире журнальным столиком, причем я сидел на своем арбатском раскладном кресле, а Файгенблат — на перевернутом почтовом ящике. Пили настоящие английские бренди и джин, но без тоника и без содовой, с огурцами и кислой капустой. Потом мы легли спать — он на раскладушке, я на матрасе на полу,— но долго не засыпали: Файгенблат увлекательно рассказывал о своих многочисленных любовницах, клянясь в конце каждой истории, что сейчас, немного погодя, он позвонит любимой девушке и она пригласит сюда специально для него, захватив с собой подружку — для меня.

Утром у нас у обоих началась головная боль, и Файгенблат, вздохнув, отсчитал вытщенные из бумажника деньги и сходил за холодным, крепким пивом — мы запили им яичницу с колбасой, которую приготовил я. За завтраком он завел разговор о том, кто сколько зарабатывает, и предложил мне бросить рисовать портреты и начать заниматься совсем другим. «Чем?» — спросил я. «Гешефт, ге-шефт, Ромеев,— важно говорил Файгенблат,— мелочь, конечно, но все же...» «И где же?» — спрашивал я. «В Лужниках. Торговать шмотками, дело плевое и доходное». Я спросил, занимается ли он тем же. Файгенблат туманно ответил, что почти. «Я тебя познакомлю с нужными ребятами,— пообещал он,— работа с семи до четырех». «Но я же еще учусь»,— сказал я. «Это твое дело,— разглагольствовал Файгенблат,— живи на стипендию».

Я быстро забыл о предложении Файгенבלата, посчитав его хвастливой шуткой. Мне казалось, что работа продавца, торговца китайским и турецким товаром, мне не подходит: ведь что-то осталось во мне от Вадима, от семьи. Может быть, мне не хотелось унижить в себе художника — я не стал знаменитым, но как бы рисовал. Я помнил, как когда-то меня хвалил отец, глядя по голове, и я зажмурил глаза от сладкого слова: «Талантище».

Деньги кончались, и хозяйка комнаты все чаще смотрела мне вслед. Но я не мог вернуться в общежитие — там бы я жил среди таких же, как я,— вот что я ненавидел. Я опять сидел возле Театра Вахтангова. Бандиты не приходили, наверное, тот налет был случайным: кому-то не хватало денег на ресторан — вот и все. Но заработки стали падать. Портреты, наверное, не интересовали уже никого — их покупали, как бы забывшись, случайно или, может быть, из странного чувства смущения перед человеком, который умеет правильно нарисовать нос. Все чаще я видел полуоткрытые, новенькие портмоне, набитые купюрами — деньги растворялись в окружающих меня ресторанах, барах, кафе. На деньги покупалось все перед моими глазами и все за моей спиной: я видел отражение денежных операций в витринах вокруг меня. Прохожие покупали яркие надувные шары, цветное мороженое, голубые джинсы, белые костюмы, аквариумы, говорящих попугаев, браслеты с химической подсветкой, собак и кошек. С ненавистью улыбаясь, я через каждые пять—десять минут предлагал нарисовать портрет. Как панельная женщина, я останавливал проходящих мимо, и так же, как она, я недолюбливал конкурентов, пытающихся подскокить к прохожему раньше меня. От меня шарахались, досадливо говоря «нет», кто-то воспитанно улыбался и в десятый раз отвечал: «Спасибо, у меня уже есть портрет»,— а кое-кто непременно обещал вернуться, но не возвращался. Тех, кто давал себя уговорить, было мало. Иногда садились одинокие дамы — так, срисоваться на память. Было много веселых, радостных детей. Реже усаживались, прежде поторговавшись, иностранцы. Редкие богатые клиенты из русских — их называли «Пиджаки» — платили любую сумму легко, но при этом пожимали плечами или ухмылялись — не цене, портрету. Мне казалось, они не понимают, зачем их рисуют. Это был молчаливый ритуал недоумения — радостно-

го со стороны художника и снисходительного с их стороны. Некоторые говорили: «Бог ты мой, смотри, как похоже пишет!» — щелкали фотоаппаратом или наводили камеру. Но потом быстро спохватывались — смотрели на часы или на экранчик пэйджера, и лица загорались счастливым рабочим огнем. «Аристократы духа, — вспоминал я, — это что же, уже они?»

Позже, в солнечные дни, на улице появилось больше художников — они стояли двумя шеренгами, и люди шли сквозь них, как сквозь строй, вздрагивая от приглашающих рук. Мне перестало везти: усадить клиента значило совершить подвиг. Я почти не посещал лекции, мной овладело навязчивое, болезненное желание заработать как можно больше и как можно быстрее. Я не замечал весны, сирени, дождя. Я даже не смотрел на женщин. Я все время думал, как мне найти денег. Когда мне удавалось заработать, я сразу бросался покупать дорогие вещи: джинсы — только из Америки, солнечные очки — долларов за сто, одеколон — непременно французский, зажигалка — конечно же, «Зиппо». Мне нравились эти крохотные видения благополучия, кроме того, я, видимо, с детства, как и брат, ненавидел нищету не за сам факт, а за то, что она жалко выглядит.

И наступил день, когда я пришел на Арбат, истратив последнее на пачку сигарет и бублик. Бублик я медленно съел, а потом весь вечер жалел, что не купил бутылку пива, — стояла жара, как летом. Вечером, ничего не нарисовав, я сел в метро, недоверчиво мечтая, что на меня движется конвейер с деньгами — прозрачными, большими. Они, как живые существа, вздрагивали, когда я на них смотрел. Мне казалось, я вижу свою болезнь со стороны.

Я позвонил Файгенблату. Мой приятель был удивлен и рад, оказалось, что на рынке у его друга уже второй день не хватает продавца. «Сколько я буду получать?» — спросил я. Он назвал сумму, и я поморщился: «Мало». «Зато стабильный доход», — сказал Файгенблат. Я согласился.

Чтобы не опоздать и встать в шесть утра, я решил не спать всю ночь. В Лужниках меня встретила темная масса кричащих людей. Чтобы попасть на стадион, нужно было выстоять часовую очередь за билетом, затем вместе с толпой проникнуть внутрь. С трудом я нашел магазин, где хранился товар, которым мне предстояло торговать. Сторож, едва поняв, кто я, сразу принялся нервно бормотать: «Быстрее, быстрее!» Опустив голову, он помогал мне, вышвыривая коробки на улицу, потом появился хозяин товара — хмурый, с бегущими глазами араб со странным именем Мухтар; он вскрыл коробки — в них оказались шампунь и мыло, — объяснил, в чем заключаются мои обязанности, пересчитал товар, что-то записал у себя в тетради и исчез.

Я должен был продавать шампунь по назначенной арабом цене и к концу дня сдать выручку — он выплатит мне десять процентов от суммы прибыли. Все. Я установил столик, расставил бутылочки с шампунем и упаковки с мылом и стал продавать. Люди шли мимо плотной, шевелящейся стеной. Временами чей-то локоть задевал столик и бутылочки со стуком падали вниз; я лез, чертыхаясь, под стол, поднимал их и ставил.

Иногда воровали — чаще одну-две упаковки мыла. Раньше мне было неясно: зачем человек садится позировать на улице? Я не понимал, зачем кому-то нужно пытаться украсть кусочек мыла. Но теперь я знал, почему все остальные покупают мыло, торгуются, спорят, пробуют шампунь на вкус, нюхают его, а затем быстро достают деньги и платят. Мне было ясно, что я делаю то, что не вызовет недоумения никогда. Шампунь используют, пластмассовую бутылочку выбросят. Люди будут мыться так же, как и я, смеха ради моющий голову сразу двумя-тремя сортами шампуня. Я заставил стенной шкаф в своей комнате немецким, финским, турецким, сирийским шампунем, упаковками с жидким и обычным мылом. В конце дня я покупал этот товар у Мухтара по себестоимости — незначительной цене, которую мне нравилось платить. Я делал запасы моющих средств, плохо понимая зачем.

Мухтар, несмотря на свой строгий вид, был человеком необязательным. Иногда я долго ждал, когда он придет с новой партией товара, и он приезжал обычно к трем часам дня, когда рынок закрывался. Первую половину мая я зарабатывал хорошо, а потом без всяких видимых причин доходы стали падать. Теперь мне реальной, чем на Арбате, показалось, что неумоли-

мая жестокость каких-то особенных законов неудач всецело сосредоточилась на одном мне. Меня злил Мухтар, его арабская непрактичность и необъяснимая завороченность работой тогда, когда она теряла смысл. Он мог прийти на рынок в шесть утра в день, когда торговать было нечем, а потом поехать на склад и исчезнуть до следующего утра, чтобы выгрузить у ворот огромное количество ящиков с мылом, приходилось бросать свое торговое место и переносить все это на руках — опять весь день, опять без прибыли. Потом Мухтар говорил мне: «Все нормально, Валера», — угощал меня на последние деньги пивом и уверенно обещал занять у своих знакомых «долларов тысячу», чтобы купить наконец товар, который «пойдет».

Но все повторилось — я получал так мало, что временами перекладывал несколько мелких купюр из выручки себе в карман.

А Мухтар все реже привозил новый товар. Он нервничал, пересчитывая ящики, считал деньги и что-то писал мелкой арабской вязью в свою тетрадь. Однажды — я зычно выкрикивал заученные фразы о достоинствах моих средств — ко мне подошел мрачный широкоплечий араб с черной бородой и на ломаном русском языке спросил, не знаю ли я, где Мухтар. Я сказал, что на складе. «На складе? — ухмыльнулся гость, показав мне серые, испорченные зубы. — Он должен мне пятьсот долларов. Скажи ему, что приходил Аделя». Он ушел, и у меня появилось предчувствие, что скоро конец всей торговле. В четыре часа приехал Мухтар, без товара, хмурый и злой. «На складе ничего не дают, — сообщил он, — сказали, я должен им пятьсот долларов». Я рассказал о визите Аделя. «Знаю я этого сирийца, — нервно заговорил Мухтар, — это же со склада, они, сирийцы, все как собаки, я их ненавижу, Валера!» «Послушай, Мухтар, — удивился я, — а ты кто?» «Я палестинец, — гордо ответил Мухтар, — а они сирийцы». Я спросил, должны ли мы на самом деле кому-то деньги. «Нет! — заверил меня Мухтар. — Я поеду на склад и разберусь. А ты завтра приходи, как обычно, я постараюсь купить товар в другом месте».

Он и в самом деле где-то раздобыл новые упаковки с шампунем и мылом, и я продолжал торговать. Доходы выросли, но через несколько дней Мухтара искали уже три араба, они только коротко спросили, где он, и сразу ушли. Мухтар купил новое торговое место в противоположной стороне стадиона. «Снова сирийцы?» — спросил я. «Нет, это египтяне, — без акцента ругаясь по-русски, говорил Мухтар, — но египтяне — их первые друзья».

В конце мая, выходя вечером со стадиона, я увидел Файгенבלата — мой приятель стоял возле темно-синего «форда» и разговаривал с неприятными на вид парнями. Они были одинаково широкоплечие, высокие и с коротко стриженными головами. Файгенבלат, полный, грузный, стоял, расставив ноги, в светлом распахнутом плаще; засунув одну руку в карман, а другой быстро жестикулируя, он, вероятно, что-то доказывал. Парни, опустив головы, неподвижно слушали. Мне сразу стало ясно, что разговор Файгенבלату неприятен. Я знал его: он намеренно расставил ноги, сунул руку в карман, выпятил живот — так он придавал себе уверенности. Я помнил, что он так же вел себя в школе, когда его собирались бить, Файгенבלат сразу расставлял ноги, принимал важный вид и начинал быстро говорить, чтобы оттянуть время или попытаться оправдать себя. Он был мастер непрерывной речи: наверное, не брось он на втором курсе институт, из него получился бы неплохой адвокат. Между тем разговор закончился. Парни развернулись и одинаковой пружинящей походкой направились к своему автомобилю — длинной машине неизвестной мне марки. Подождав, пока они уедут, я подошел к приятелю и положил руку ему на плечо. Он вздрогнул, быстро взглянул на меня, и я увидел потное, покрытое красными пятнами лицо человека, который постепенно приходит в себя.

— А... это ты, Ромеев.

Я спросил, не случилось ли чего.

— Нет, — ответил Файгенבלат, — со мной ничего не случается. Я, понимаешь, счастливчик, мне везет. А у тебя как дела, торгуешь?

— Так себе. — Я сказал, что, видимо, скоро моей торговле конец.

— Ты не волнуйся, — заговорил Файгенבלат, — арабы всегда что-то выясняют со своими... Я тоже с ним работал, раньше, и вечно кто-то приходил

к нему разбираться и требовать денег. Но ничего, как видишь, все еще живы и дело процветает... Сколько ты сейчас получаешь?

Я назвал сумму.

— Что ж, неплохо.— Файгенблат довольно улыбнулся самому себе и хлопнул ладонью по машине, рядом с которой стоял.— А я вот, видишь, личный автобус себе приобрел. Садись, подвезу куда надо.

— У моего брата тоже «форд»,— сказал я, вспомнив о Вадиме,— но новее.

— Брат? У тебя есть брат?

Я посмотрел на него.

— Ты что, не помнишь?

— Нет.

— Есть,— сказал я,— но он сейчас уехал.

— Далеко?

— Не знаю. Поехали, подбрось уж, раз пообещал, до дома.

Когда я выходил из машины, Файгенблат сказал, закуривая:

— Слушай, Ромеев, ты бы в Турцию съездил, шмоток привез, наварил бы денег.— Он помолчал.— Я тоже этим занимаюсь. Правда, крупные всякие партии, заказы. А начинал-то я с кожи.

— Да сейчас,— я усмехнулся,— все Лужники куртками забиты.

— Надо знать места и цены. Я, Валера, знаю в Стамбуле пару магазинчиков, где куртки идут по шестьдесят—семьдесят долларов. Двойной подъем в Москве, ну, как?

— Что это ты обо мне так заботишься, Файгенблат? — спросил я.

— Да люблю я тебя! — Он рассмеялся и, высунувшись в окно, выплюнул окурочек.— Жизнь — прекрасная вещь, Ромеев,— добавил он, отъезжая.

В июне началась летняя сессия. С трудом получив тройку по латыни, я не смог сдать старославянский. Я ехал домой в метро и думал об этих мертвых, полумертвых языках, на которых давно уже никто не говорит, а только читают и поют. «Мы уходим в поход...» — вспомнил я песенку брата. Что с ним случилось? Временами я подсказывал себе ответ: ничего. Я не мог обвинить его в изменении. Он был такой, как и прежде, но почему-то другой. Я знал, что скоро с ним встречу опять. Но мне нужно время — на этот раз свое, не брата. То, что время у нас разное,— вот чего я раньше не понимал.

9

Я ехал на поезде в Софию. «Дальше, до Стамбула, только на автобусе,— говорил мне Файгенблат,— так быстрее, и таможня меньше придирается». Он ехал со мной по своим делам, которые помогают, как он сказал, делать ему «главные деньги». Я поражался неумной энергии этого человека, сочетающего деловитость с почти детской мечтательностью, с готовностью поддерживать разговор на любую тему.

Файгенблат всегда говорил, что коммерцией занимается временно. Он считал себя интеллектуалом, человеком большой, древней культуры и однажды признался мне, что видит себя там, за границей, известным, может быть, адвокатом. Он уверял, что уже почти свободно говорит на иврите и одновременно учит другие языки: немецкий, английский и почему-то арабский. «А потом небольшая практика — год-два, и дело пойдет,— мечтательно говорил он и добавлял: — Но только после того, как я сделаю здесь основные, главные деньги». Смеясь, Файгенблат рассказывал мне в поезде о своих чинных визитах в синагогу и о том, с каким важным видом ему приходилось читать там Тору, он уверял меня, что на внешнюю религиозность ему наплевать и что все это нужно только для того, чтобы «по-нашему, по-еврейски уехать».

В Софию мы приехали в одиннадцать утра. Мне показалось, что я снова попал в Россию, но другую, как сказал Файгенблат: «Здесь уже пахнет византийцами». Болгары вместо «я» говорили «аз», улыбались и сразу пожимали руку, если узнавали, что я русский, а потом, когда слышали, что я еду в Стамбул, говорили: «А, в Царьград». Дожидаясь автобуса в Турцию, мы сидели в маленьком уличном кафе, пили белое вино и ели жареную рыбу с помидорами и брынзой.

— Прекрасное место.— Файгенблат, развалясь на стуле, блаженно щурился, выпуская сигаретный дым,— я всегда здесь отдыхаю перед этими кретинами-турками. Посмотри,— кивал он в сторону гор, покрытых синеватой дымкой,— вон там Югославия, Македония, там — Греция, Средиземное море, острова. Хочется бросить все и просто попутешествовать!

— Ты и так скоро уедешь,— напомнил я,— в свою земельку обетованную. Файгенблат вздохнул:

— Эх... нет. Чувствую я, что придется мне вкалывать всю жизнь в каком-то Иерусалиме, вечно денег нет, вечно.

— Я тебя не понимаю,— я усмехнулся,— ты, как настоящий еврей, Гена, должен разбогатеть. Ты просто обязан это сделать. А потом купишь себе остров где-нибудь в Средиземном море, и я буду приезжать к тебе в гости. Примешь?

Файгенблат, помолчав, сказал, поглаживая большим пальцем свою темную щетину:

— Конечно, не все евреи так уж богаты, Валера, но...— Он пожевал губами.— Но на самом деле что-то в этом есть...

— В чем?

— Да в нашей крови,— сказал Файгенблат.— Ты только не думай, что я тут иудейством кичусь, но это так, Ромеев. Что-то в этом есть. Знаешь, когда я был маленьким, мне бабушка сказала, что хочет умереть в Израиле. Я страшно удивился и спросил: «Почему?» А она сказала, что когда рождается человек, то у него еще ничего нет, кроме родственников. А потом он живет и начинается настоящее, и человек, он помнит, конечно, кто его родил, но это ему не очень интересно, не нужно. А когда умираешь, вот что начинается, Ромеев. Умирать приходится по-другому: человек соображает, что он умрет. А страшнее всего — смерть в одиночестве. Я просто как представляю, что умираешь один, рядом никого, то лучше и не...

— Не умирать,— зачем-то усмехнувшись, сказал я.

— Не жить лучше вообще. Хоть и приятное это занятие. Так вот, бабушка мне и говорит: нужно заранее собраться всем, всем родственникам, задолго до смерти. И евреи понимают это лучше других народов. Они собираются вместе, где они все родились, и в этом что-то есть.

— Наверное,— сказал я,— наверное...

Мы купили автобусные билеты до Стамбула в оба конца. Ночью, как только подошел автобус, откуда-то появилась толпа — поменьше, чем в Лужниках, но разношерстней: болгары, украинцы, турки, русские, немцы; все вдруг ринулись на штурм передней двери, тряся билетами, поднимая над головой сумки, тюки, баулы. Мы с Файгенблатом сидели на своих пустых сумках и курили, глядя, как люди, ругаясь на разных языках, пытаются проникнуть в автобус.

— Это что же, всегда так? — спросил я Файгенблата.

— Бывает, подождем следующего.

Он разговорился с двумя девушками из Австралии — они путешествовали по Болгарии с палаткой и теперь собирались побывать в Турции. Я слушал его умелую английскую речь и иногда пытался вставить тщательно обдуманную фразу. Мне нравились наши новые знакомые, особенно одна — круглолицая девушка, очень похожая на таитянку с картин Гогена. Я сказал ей об этом, и она, заулыбавшись, ответила, что ей говорили об этом не раз. Файгенблат представил меня как художника, а себя объявил музыкантом и стал рассказывать девушкам о русских рок-группах, в которых он якобы играл.

Мы смогли попасть только в третий автобус, уселись в высокие кресла напротив наших знакомых — нас разделял столик, на который Файгенблат вывалил купленные в Софии булочки, бутерброды, достал бутылку ракии, и мы все поужинали — ел в основном Файгенблат, шумно, суетясь, все время что-то рассказывая. Потом я заснул, но часто просыпался, слушал турецкую заунывную мелодию — ее включали водители — и снова засыпал. Во время таможенной проверки Файгенблат растолкал меня — все вышли с вещами из автобуса, и неулыбчивые турецкие пограничники медленно обошли несколько раз шеренгу ежащихся от утреннего холода пассажиров, иногда останавливаясь возле какого-нибудь чемодана и резко, быстро спрашивая: «Что здесь?» Они задавали вопрос на своем языке, они вообще не говорили ни с кем по-английски, но пасса-

жиры сразу их понимали — ведь многие пересекали эту границу десятки раз. Я засмотрелся на одного из таможенников — невысокий, грузный, наверняка офицер, он шел, заложив руки за спину, и скользил взглядом по лицам людей — небрежно, словно думая о своем, и вдруг, остановившись, пристально смотрел в лицо стоящему напротив человеку, затем отворачивался и что-то говорил помощнику. Когда он подошел ко мне, я почувствовал себя неуютно и улыбнулся, увидев его равнодушные черные глаза, в которых на секунду блеснула неприязнь.

В полдень мы были в Стамбуле. Девушки-туристки быстро покинули нас, заявив, что им нужно в банк — получить по кредитной карточке деньги.

— Вот жизнь, — сказал Файгенблат, — тут пашешь, как грузчик, в поте лица, чтобы заработать на приличные штаны, а кое-кто просто снимает деньги со счета! И едет путешествовать так, от нечего делать. Знаешь, Ромеев, мне кажется, что даже разбогатея я, и то просто так никуда не поеду, все равно буду думать, как бы отбить деньжата.

Я спросил, куда мы сейчас.

— Работать. Разумеется, не в музей и не смотреть на Босфор. И даже не на базар — туда ходят только дураки, я-то знаю, где и что можно купить подешевле... А потом, если хочешь, и по Босфору покатаемся, ты ведь первый раз здесь, надо отметить.

Выйдя из автобуса, мы очутились в подвижной разноязыкой толпе: нагруженные вещами люди куда-то спешили, сталкивались, что-то спрашивали, обсуждали, несколько раз я слышал русскую речь. Мы выбрались на трамвайную остановку, Файгенблат купил билеты, и мы сели в подошедший трамвай, тоже битком набитый. Минут через тридцать вышли, и, пока шли через широкую площадь, я, задрав голову, смотрел на возвышающиеся минареты. «Голубая мечеть, — обернувшись, коротко заметил Файгенблат, — местная святыня». «Слушай, — спросил я, — здесь где-то должен быть Софийский храм, тот самый, в котором...» «Слева, — прервал меня Файгенблат, и я увидел за подстриженными деревьями розовые купола и четыре тонких минарета. — Наша гостиница рядом с Софией, — быстро говорил Файгенблат, — номера дешевые, по восемь долларов, а внизу ресторан...»

Любезно поговорив с улыбчивой женщиной-администратором, Файгенблат завладел ключами от двухместного номера, в который мы даже не стали заходить, а сразу отправились на соседнюю, необычайно узкую улицу, где находились маленькие, полуподвальные магазины, специально торгующие, как мне показалось, для русских. Нас встретил худой, почти горбатый улыбающийся турок, он поздоровался с Файгенблатом, уважительно назвав его «Гена», и сразу предложил мне сигарету, а чуть погодя, когда мы начали перебираться посреди комнаты тюки с кожаными куртками, принес в маленьких стаканах чай и коробку с рахат-лукумом. Мы ели, курили, пили чай и весело беседовали с улыбающимся продавцом, который, плавно жестикулируя, все никак не хотел снижать цену. Я удивился бурной речи Файгенבלата, который, мешая русские слова с английскими, настойчиво торговался — до тех пор, пока цена за куртку не упала до семидесяти долларов. Расплатившись, я набил куртками обе веро сумки, и Файгенблат помог мне дотащить их до гостиницы. Потом мы вернулись, спустились в другой подвал, и два моих баула заполнились женскими платьями, бижутерией и купальниками.

Было жарко, мы зашли в бар, и Файгенблат, заказав пиво, вдруг встал и ушел, сказав, что отправляется по своим делам и вернется через час. Я сидел за столиком, пил ледяное пиво, курил сигарету и смотрел на открывающийся за распахнутым окном вид: минареты, минареты, а вддалеке, за белыми низкими домами, видно море — наверное, это и есть Босфор.

Файгенблат вернулся часа через два, он успел зайти в номер и переодеться — теперь он был в белых брюках и в цветистой футболке. Подойдя, он важно бросил: «Все, мои дела в порядке, теперь пройдемся, надо поесть». Я сказал, что пообедать можно здесь, но Файгенблат покачал головой и ответил, что нет в городе заведения дороже, чем ресторан, где мы сидим. «Пойдем, Ромеев, — говорил он, — я покажу тебе Стамбул с Византией и с Царьградом в придачу. Ты, кстати, знаешь, что попал на историческую родину? Это ведь Рим! Правда, второй, но Рим, и ты, Ромеев, должен это чувствовать!» Мне показалось, что

Файгенблат сильно пьян, и я, смеясь, спросил, где он пил. «Да, — торжественно объявил Файгенблат, — я выпил по дороге чудесного турецкого вина, потому что мне надо снять стресс». «Стресс? — удивился я. — У тебя что-то не в порядке?» «Нет, все нормально, — заверил он. — Я поговорил с поставщиком, и мне захотелось выпить, так легче».

«Послушай, а что у тебя за работа такая нервная?» — спросил я, когда мы спускались по узкой каменной улице вниз, мимо ковровых лавочек и хлебных магазинов. «Фирма, торгуем, — нехотя ответил Файгенблат, — всякие поставки в Россию, моющие средства...» «Я как раз торговал турецким мылом в Лужниках, — вспомнил я. — А много ты получаешь?» «Порядочно», — улыбаясь, сказал Файгенблат.

Было жарко, я быстро вспотел, а белая одежда Файгенבלата покрылась пятнами влаги. Мы видели почти у каждой двери радостно кричащих что-то людей — Файгенблат объяснил, что это зазывалы, работающие при барах и закусовых. С одним из них Файгенблат поздоровался. «Здравствуйте, дорогие!» — закричал зазывала на чистом русском языке. Файгенблат пожал ему руку. «Я со своим другом, нам надо поесть». Человек сразу повернулся ко мне. «Я азербайджанец, — быстро, громко заговорил он, — работаю здесь, в Стамбуле, три года, всегда рад видеть земляков, заходите, здесь самый дешевый ресторан во всем городе!»

Он провел нас по лестнице на второй этаж. Там официанты, улыбаясь, пожали нам руки, усадили за покрытый застиранной скатертью стол и принесли обед: два больших бокала холодного пива, поджаренные хлебцы и большую тарелку острого мясного блюда, название которого я не запомнил. Мясо со специями было завернуто в листья салата, мы ели его руками, обмакивая в густой красный соус, и запивали ледяным пивом. Файгенблат быстро съел свою порцию и заказал еще. Потом мы закурили, глядя в окно, где неслись вниз трамваи и машины петляли между людьми.

Файгенблат был возбужден, пьян, нагибаясь ко мне через стол, он рассказывал, что его все знают в этом ресторане, что скоро мы пойдем в другой, где нам тоже будут рады. Мне не нравилось его нервное опьянение. Я чувствовал смутную тревогу во всем: в его пустой похвальбе, в услужливых улыбках официантов, в их непонятном безразличии к нам, мне казалось, что все должны видеть, как он пьян, но никто не обращал на нас внимания.

— Пошли! — Я уперся обеими руками в стол, собираясь вставать. Официант, заметив мое движение, неслышно появился и, улыбаясь, положил на скатерть счет. Зазывала не обманул, счет был невелик. Я вытащил деньги из бумажника.

— На чай, — икая, произнес Файгенблат и высыпал на стол кучу турецких лир, пожалуй, столько же стоил наш обед. Я взял его под локоть, но он оттолкнул меня и, выпрямившись, пошел к лестнице. Мы вышли на улицу, залитую вечерним солнцем. Все так же кричали зазывалы у баров — казалось, их сменили другие, точно такие же люди, с тем же голосом и в той же одежде.

Обратно мы ехали быстрее. На границе из автобуса никого не выводили, таможенники роздали нам декларации, куда мы вписали вещи, купленные в Стамбуле. Никто ничего не проверял, не заглядывал в сумки. Я сказал Файгенблату, что это странно, когда въезжали, контроль был строже, а теперь ощущение такое, что туркам на все наплевать. «Да они просто знают, — сказал Файгенблат, — что ездят мешочники, русские да болгары, мотнулись за границу на день-два — и обратно. Они своих, турок или курдов, строже проверяют. Им главное, что ты ввозишь, а не вывозишь. Сейчас — если ты русский, конечно, — ты их больше заинтересуешь, если вообще ничего не купил и не везешь, туристы другими рейсами ездят». «Так поэтому, — спросил я, — ты вписал в декларацию половину моих шмоток?» «А как же, — ответил Файгенблат, — зачем всякие лишние вопросы, не люблю я этого».

В Болгарии мы не задержались. В Софии сели на поезд и через два дня были в Москве. Теперь я, заплатив за торговое место, продавал свои куртки сам.

За три недели я выручил столько денег, сколько не смог бы заработать на Арбате за полгода. Мои кожаные куртки покупали по сто тридцать — сто сорок долларов: вдвое выше закупочной цены. Через месяц я снова собрался в Стамбул — на этот раз без Файгенבלата, который только что оттуда вернулся.

Я чувствовал себя свободней, уверенней — неудачи с экзаменами уже не так волновали меня. Университет представлялся мне местом, в котором существует только ленивая, неспешная часть необходимой будущей жизни. Однажды в метро я вдруг представил себе двухтысячный год и впервые, может быть, на секунду почувствовал ось странно волнующего времени, себя где-то в середине отрезка и сразу понял, что счастье, наверное, в доступности самых легких, пустых проявлений жизни. Иногда мне приходило в голову, что недаром люди — с сарказмом или нет — часто утверждают, что счастье не в деньгах. Они рассуждают о том, в чем не уверены, и в этом мой брат непохож на них. Счастье перестает быть в деньгах, когда они появляются, но ведь без них — суший ад.

После второй поездки я купил себе японский телевизор и заплатил хозяйке вперед за полгода. Теперь, идя по улице, я уже чувствовал предстоящую власть над вещами — над теми из них, что были недоступны для меня всегда. Я по-другому, небрежней, смотрел на витрины и на одежду людей; я мог зайти в почти любой ресторан и не заходил, лениво зная, что, может быть, сделаю это потом. Мне казалось, что жизнь, наконец-то обернувшись, уже желает познакомиться со мной, еще не зная точно, захочу ли этого я.

В июне я съездил в Турцию два раза: я стремился заработать побольше до осени с ее вечными дождями и университетом. В начале июля я поехал еще раз — с напарником, помогающим мне сбывать товар в Лужниках. Нам не повезло: на дверях магазина, где мы покупали куртки, висел замок, мы выяснили, что хозяин куда-то уехал. В следующей лавке куртки только что кончились, еще в двух нам не понравилась цена. Но времени было мало, я торопил напарника, и на крытом рынке мы купили джинсы — сто пар, набив ими шесть больших сумок.

Через неделю мне пришлось занимать деньги — джинсы никто не покупал, они оказались в чернильных пятнах, с рваными «молниями». Я приехал к Мухтару и попросил одолжить тысячу долларов. Он, смущенно улыбаясь, объяснил, что его дела в порядке, но все думают, что он должен кому-то, а у него сейчас нет. Мало что поняв, я прямо спросил, даст ли он денег. Он ответил, что нет. Тогда я позвонил университетскому приятелю: он учился на одном со мной курсе и работал в рекламной фирме. «Идет, — сказал мне однокурсник, — под десять процентов на десять дней». Я согласился. Деньги следовало тратить внимательно, очень внимательно. Я узнал, когда едет Файгенблат, он собирался через неделю, и мы купили два билета до Софии.

Я рассказал ему о своих неудачах. «Это ерунда, — сказал Файгенблат, — удивительно, что это случилось только сейчас, а не раньше, к деньгам нет ровной дорожки». Файгенблат был бледен, держался за горло и жаловался, что едет больной. «А к главным деньгам, — спросил я, — дорожка еще сложнее?» «Они уже идут ко мне, мои самые главные деньги, Ромеев, — слабым голосом говорил Файгенблат, — идут ко мне, как лучшие друзья, которых не видел сто лет... Но тяжело это, ох, как тяжело».

В Стамбуле стояла жара. Добираясь до гостиницы, мы все время что-нибудь пили — пиво или кока-колу, Файгенблат больше пиво. Я заболел, может быть, заразившись от Файгенבלата в поезде. В гостинице я лег на кровать и, чувствуя, как кружится голова, сказал, что пойду в магазин часа через два. Файгенблат объявил, что отправляется по своим делам и постарается вернуться, чтобы помочь мне донести товар. Я попросил купить мне кока-колы. «Похолодней, — сказал я, — похолодней и побольше». «Может быть, пива?» — предложил Файгенблат. «Колы, — сказал я, — я чувствую, что выпил бы море». Уходя, Файгенблат взглянул на термометр за окном. «Тридцать семь в тени», — услышал я его удаляющийся голос.

Мне хотелось спать, но ощущение утекающего времени беспокоило меня: я лихорадочно думал о предстоящих покупках, о том, что надо вставать и идти, а завтра ехать обратно. И все это нужно делать немедленно — быстрее, чем всегда, потому что жара особенно отвратительна здесь, в совершенно чужом, пыльном, почти без деревьев городе.

Файгенблат вернулся, принес двухлитровую бутылку кока-колы, и я стал пить стакан за стаканом. Через некоторое время я поднялся и сел на краю кровати. Все было влажным, липким — постель, одежда, волосы. Голова кружилась, было приятно сидеть, прислонившись голой спиной к холодной стене, и чувствовать собственную слабость. Я долго набирался сил, потом встал, подошел к раковине, умылся, натянул влажную футболку, взял солнцезащитные очки, бейсбольную кепку и вышел из гостиницы.

Магазин был закрыт. «Хозяин не вернулся», — объяснил мне парень, продающий на ступеньках вязаные туфли-лодочки. Я отправился по другим известным мне адресам. Но там не устроила цена: продавцы запрашивали за куртку сто двадцать долларов — значит, при торге цена не опустилась бы ниже ста. Меня шатало от слабости. Подумав, я зашел в кафе — там было прохладно — и купил банку ледяной колы. Я достал сигарету и, почувствовав сильный толчок слабости, покачнулся, хотя сидел на стуле. Надо было возвращаться в гостиницу и ждать Файгенבלата. Выйдя на оживленную улицу, я остановился прикурить, ко мне подошел мужчина и что-то спросил — я не сразу понял, что он говорит по-русски, у него был сильный акцент. Он спрашивал, интересует ли меня шампанское. «Мне купить шампанское?» — переспросил я. «Нет, нет! — Мужчина улыбался. — Вы продавайте мне... — Он поправился: — Нам, моей фирме». Заглядывая мне в глаза, он объяснил, что фирма, которой управляет его отец, нуждается в поставщиках русского шампанского. Внимательно рассмотрев собеседника, я отмел все подозрения; он был хорошо одет, показал визитку и говорил о действительно прибыльном деле — я знал, что наше шампанское стоит в Стамбуле в три раза дороже, чем в Москве. Файгенблат рассказывал о своем знакомом, заставляющем шампанское в Турцию. «Надо поговорить», — сказал я. Турок заулыбался, пожал мне руку, сразу представился: «Али», — и предложил поехать в офис, встретиться с его отцом.

Через полчаса мы вошли в здание, похожее на кафе: стойка бара, официант, лениво протирающий бокалы, работающий телевизор на стене и несколько пустых столиков. Али попросил меня подождать, пока он переговорит с отцом, и ушел. Я сидел, посматривая на экран: по телевизору шел боевик. Подошел официант, лениво предложил что-нибудь выпить. «Да, конечно, — сказал я, — мне кока-колу, две бутылки». Официант ответил, что есть только пепси. «Неси, неси!» — Я махнул рукой.

Я смотрел, как на экране телевизора кого-то убивают. Человек убегал, спотыкаясь, ломая ветки деревьев, а в спину ему стреляли. У меня слабо, приятно кружилась голова. Я представлял себе черную, ледяную реку тонизирующей воды, пенистой, колючей. Пули летели мимо, попадали в стволы деревьев, а человек, видный только со спины, убегал. Потом в него попали — в плечо, затем в ногу. Он упал, закрывая лицо руками, в него выстрелили сквозь ладонь, и он, наверное, умер. Фильм закончился, я пожалел, что не видел начало. Сейчас мне хотелось одного — поговорить с отцом Али и вернуться в гостиницу. «Все дела — завтра, — решил я, — завтра можно успеть».

Али тронул меня за плечо и сказал, что отец ждет. «Интересный фильм», — сказал я ему по-английски, кивая на экран, где шли титры. Он закивал, быстро говоря по-русски: «Да, да». Мне показалось, что он не турок. Может быть, курд или албанец. Мы пошли. Идя за ним по длинному коридору, глядя на его спину, я вдруг почувствовал опасность — там, впереди, куда мы еще не дошли. Мне все показалось нереальным: жара, чужие люди, начинающаяся головная боль. Хотелось резко повернуться и броситься по коридору назад. Я представил, как глупо это будет выглядеть со стороны, и улыбнулся. Хотелось пить.

Когда Али начал спускаться по узкой лестнице, я уже все понял — лениво, думая о прохладе. Мы вошли в узкую дверь и очутились в помещении, тоже узком. Там стояли двое, высокие, плечистые, в глаза бросались выпирающие из-под коротких рукавов бугры бицепсов. Третий — я ощутил — уже стоял за спиной. «Ты не заплатил», — по-русски, с сильным акцентом сказал один из них. «За что?» — спросил я. Парень показал листок бумаги, на котором был написан счет: триста долларов за обед. «За две бутылки пепси?» — спросил я. И тут же меня обхватили сзади руками. Подчиняясь внезапному толчку сильной головной боли, я быстро качнулся назад и ударил того, кто стоял сзади, затылком в

лицо — это было злое, странное желание сбить огонь боли еще большей болью. Парень выпустил меня, должно быть, от неожиданности. Мгновенно повернувшись, я бросился в открытую дверь, по ступенькам вверх, ощущая, как от резких толчков снова начинает болеть голова, и тут же упал, на ровном месте, даже не споткнувшись. Двое прыгнули мне на спину, рывком приподняли, и сразу боль в вывернутых плечах сравнялась с болью головы. Меня перевернули и быстро обыскали. Затем пронесли по коридору и, открыв небольшую дверь, бросили на асфальт. Один из парней — наверное, тот, кому я разбил лицо, — все-таки не удержался и ударил меня ногой в живот.

Постепенно прошла вся боль, кроме одной — головной. Я сидел на коленях на грязном, липком асфальте, возле меня стояли ржавые баки с мусором. Отворилась дверь — не та, из которой меня выбросили, соседняя. Вышла женщина в платке и в темном халате, опасно взглянула на меня, подошла к одному из баков и опрокинула в него ведро мусора.

Я нашел свой бумажник, он был засунут за пояс брюк, — там лежала сто-долларовая купюра — наверное, на дорогу. Остальные деньги исчезли. Встав, я медленно пошел по липкому асфальту мимо баков, полных мусора. Я шел, шатаюсь, и представлял, что кто-то сияющим, солнечным ножом сейчас отрежет мне голову, и наступит счастье, исчезнет боль. Выбравшись на пешеходную улицу, я на секунду задержал взгляд на медленно идущем полицейском. Он тоже посмотрел на меня — мельком, неприветливо. Разумеется, жаловаться ему было бесполезно — мне рассказывали десятки историй, напоминающих ту, что случилась со мной: никто никогда не получал обратно своих денег.

В гостинице меня ждал Файгенблат. Он только что принял холодный душ, вытирался полотенцем и бодро спросил меня, где я был. Я упал на кровать, стянул через голову мокрую, грязную футболку и сообщил, что меня ограбили. «Рэкетнули? — быстро спросил Файгенблат и подошел ко мне. — Где?» Я рассказал, не очень вдаваясь в подробности, потом добавил, что у меня дико болит голова и все, чего я хочу, — это спать. «Тогда нужен аспирин», — заявил Файгенблат и, растолкав меня минут через двадцать, заставил выпить стакан шипучего напитка. Я снова заснул: провалился в быстрый бег по темному туннелю, мне в спину стреляли — беззвучно, словно я был под водой.

Ночью, проснувшись, я увидел в раскрытом окне освещенные прожектором минареты, услышал шум под окнами, чужую речь. Голова не болела, но мне стоило больших усилий сесть на край кровати, дотянуться до стола и выпить порцию аспирина. Я не хотел думать о том, что случилось, — может быть, потом, утром. А заснув, увидел продолжение — у меня нет денег, их отняли, но мне надо их сейчас же, сию минуту вернуть. Я шел по липкой, мягкой улице и вздрагивал, чувствуя, как сверху падают большие, тяжелые капли влаги. «Проценты, — понимал я, — это все время растущие проценты». Кажется, я заплакал во сне и вытер слезы уже наяву — было часов десять утра. Файгенблат, похрапывая, еще спал, а я, раскрыв глаза, понял, что болезнь кончилась и весь бред вчерашнего дня случился наяву — у меня забрали деньги, которые я одолжил под проценты только на десять дней.

Я лежал с открытыми глазами, смотрел в окно. Потом я услышал, как проснулся Файгенблат. Он закурил, подошел к моей кровати и сказал, негромко покашливая:

— Говорил же я тебе, Валера, не знакомься ни с кем на улице.

— Это были не наши, — ответил я, — даже не турки... может, албанцы.

— Да какая разница! Надо было сразу бежать к полицейскому, орать, что тебя ограбили...

— Это же бесполезно!

— Бесполезно, да не всегда. Моему знакомому здесь точно так же повезло, так он, не будь дурак, сразу побежал в полицию, и те молча поехали с ним тоже в какое-то кафе и давай всех мочить дубинками по голове, узнали, сколько взяли, и все ему вернули, все до лиры... А теперь поздно. Я вот что думаю...

— Да нечего тут думать, — сказал я, — я полный ноль, как сказал бы Ва-

дим.

— Какой Вадим?

— Иди к черту, Файгенблат!

— Подожди... Есть одно дело, Ромеев... Можно вернуть твои деньги, сколько их было?

— Какая разница! Мне нужно отдать тысячу через неделю, вот и все.

— Как голова?

— В порядке.

— Вот и отлично,— сказал Файгенблат,— сейчас позавтракаем на свежем воздухе, и я тебе кое-что скажу.

Я молча стал одеваться.

11

Мы сидели в открытом кафе на набережной. Я смотрел — впервые за все поездки сюда — на Босфор, на его серую, беспокойную воду, а вдалеке, в конце пролива, был виден тонкий, серебристый на солнце силуэт моста. Для нас жарили рыбу — свежепойманную, как объяснил официант. Он принес две стеклянные чашки с яблочным чаем, поставил на мраморный стол сахарницу, тарелки с хрустящим хлебом.

— Ты можешь заработать тысячу долларов сразу, как только вернешься.— Файгенблат курил лицом к проливу, ветер трепал его черные волосы.

— Да это я уже слышал! — сказал я.— И мне это не нравится...

— Да что тебе не нравится, Ромеев? Ты перевезешь через границу одну сумку, в Москве я тебе звоню, ты отдаешь ее, и сразу — тысяча от меня. Ты же знаешь, я не обману.

— Я-то знаю. Но что в сумке? Наркотики?

Файгенблат, не меня выражения лица, негромко ответил:

— Да, там будет героин.

— Мне все это не нравится. Я не хочу садиться в тюрьму.

— А... — Файгенблат, улыбаясь, покачал головой.— Тогда давай дуй в Москву, выдумывай что хочешь. Конечно, деньги ты найдешь, подумаешь, всего тыщонка, переодолжить можно. Но я тебе предлагаю работу, понимаешь, работу! Ты можешь сделать большие деньги, Ромеев. Что, две тысячи долларов в месяц для тебя мало? Ты будешь работать всего неделю в месяц, восемь дней, ну, от силы десять.

— Почему две тысячи? Так ты едешь сюда дважды в месяц?

— Да.

— Это те самые главные деньги? — спросил я.— А сколько тебе платят, а? Ведь не тысячу?

— Валера,— наклонившись ко мне, быстро заговорил Файгенблат,— тысячу тебе плачу я, понимаешь, я! А сколько мне дают — не твое дело. Я трясусь в сто раз больше, чем ты. Сумку найдут, им надо еще определить владельца — это раз. Поймают тебя с товаром в руках, скажешь, перепутал, не мое, не знаю, откуда взялось,— два. И, наконец, тебя могут посадить — теоретически могут,— но ты будешь живой, Валера! Это три. А меня просто убьют, понимаешь? Товар беру я, везешь ты, сдаю я, говорю я. Тебя они вообще не знают. Ты только везешь — вот и все. И я плачу тебе тысячу. Неужели плохо?

Нам принесли жареную рыбу. Файгенблат начал торопливо есть.

— Как его употребляют? — спросил я.

— Чего? А, героин... Вдыхают через бумажную трубочку. Я пробовал как-то, ерунда. Ты согласен или нет?

— Много его там, в сумке?

— Нет, несколько килограммов. Ты согласен?

— А если поймают?

— Эх, не любитель ты шампанского... Все проверено: ты спекулянт, везешь барахло — это идеально. Советую, Ромеев, согласиться, я думаю, скоро все кончится, сейчас ведь поодиночке никто не возит, больше морем, а там все рангом выше. Туда не попасть. Да соглашайся, черт возьми, ты же видел, как турки автобус проверяют, ни собак, ни обыска! И болгарам тоже все равно — главное, что ты ввозишь, а не вывозишь. Это лазейка, Ромеев! Чего молчишь?

— Мы сейчас в Европе или на Востоке, Файгенблат?

— Ты согласен, Ромеев.

В автобусе мы ехали на разных этажах. В багажном отсеке среди прочих вещей лежали два моих рюкзака — один в другом. В основном были куртки, купленные для прикрытия, в маленьком — главное. Конечно, я понимал, что багажный отсек — это иллюзия. Я касался рюкзака пальцами, я забрасывал его на плечо. В поезде оба рюкзака будут в моем купе. Туркам не интересны вещи «челноков», выезжающих из страны, болгары тоже не заглядывают в чемоданы — все это я знал. И я знал также, что правила досмотра могут измениться как раз сейчас, за полчаса до таможни, а может, они уже изменились.

Странно — на границе я был спокоен. Мне не было страшно, я не испытывал ничего. Я спокойно, как и многие пассажиры, курил в салоне, отдал свой паспорт и заполненную декларацию, и потом, когда всем вдруг предложили выйти из автобуса, я тоже не испугался. Правда, я слишком быстро выкурил сигарету и сразу зажег другую, глядя, как таможенники медленно идут по салону, задерживаясь у каждого сиденья. Потом они вышли, обошли автобус, и я услышал стук крышки багажного отсека. Я стоял, теперь уже слушая только себя, вспоминал Лину — почему ее? — выражение ее глаз, волосы, улыбку, слова.

Потом всем предложили занять свои места. Я получил свой паспорт, заметил поднимающегося на второй этаж Файгенבלата — он, оборачиваясь, что-то говорил молодой болгарке, она смеялась, кивала головой.

В Софии Файгенבלат ни разу не посмотрел в мою сторону. Мы сели в поезд, заняв разные купе в одном вагоне.

Через день после приезда Файгенבלат позвонил, забрал пакет и заплатил мне тысячу долларов.

В августе я купил машину. Это был подержанный «опель-рекорд», он стоил дешево — всего восемьсот долларов. Машину мне продал Мухтар, мой бывший хозяин, — он окончательно разорился и стал продавать все свои вещи, чтобы снять другую квартиру и скрыться на ней от земляков, считающих, что он должен им деньги. «Опель» был блекло-серый, с треснувшей фарой и поцарапанным левым боком. Мне нравилось сидеть за рулем, на машине я въезжал в новый, справедливый мир — здесь никто не задевал друг друга плечом. Я купил видеосистему и мечтал о видеокамере. Осенью я собирался снять отдельную квартиру. Я старался меньше думать о новой работе; когда подходило время, Файгенבלат звонил мне, и мы ехали — все было тщательно, быстро, легко; иногда мы уезжали из Стамбула в день приезда.

Однажды я увидел высокую черноволосую девушку — она готовилась перейти дорогу. Я поигнался ей, крикнул в окно: «Лиза!» Она обернулась и убрала волосы со лба. Проехав перекресток, я остановился, она подбежала, я открыл дверцу. Лиза стала что-то рассказывать о себе, а я вытащил из кармана деньги, двести долларов, протянул ей и сказал, что звонил весь месяц по телефону, который она оставила в записке, но никто не отвечал. «Я там уже не живу, — сказала Лиза, — я познакомилась с удивительной актрисой, ты ее видел, она часто снимается в кино». Я со смехом ответил, что редко смотрю теперь фильмы, работа такая... «Какая?» — спросила она. «Важная», — пожал я плечами, она рассмеялась и тут же заторопилась: «Мне пора, Валерка, желаю тебе счастья». Она выскочила и побежала, а я открыл дверцу и крикнул: «Лиза, подожди!» Она обернулась. Я спросил: «Может, поехали со мной?» Она улыбнулась и качнула головой: «Не-ет...»

Я смотрел на нее до тех пор, пока она не скрылась в толпе. Никто еще не говорил мне так красиво: «Желаю тебе счастья».

Постоянные поездки в Турцию опьяняли — я действовал, как человек, получающий наслаждение от каждого своего шага, но боязнь остановиться делала шаги прыжками, каким-то бегом совсем не в ту сторону. Я зарабатывал, как никогда, мне нравилось жить. В сентябре, когда начался учебный год, я, забыв о своей снисходительности, принял участие сразу в нескольких студенческих вечеринках. Теперь я легко знакомился с девушками, а о Лине вспоминал лишь тогда, когда думал о брате. Однокурсники, как и раньше, ничем не удивили меня, и я, удивляясь только себе, чувствовал, что мне уже мало той жизни, которую я веду.

Шел дождь, я только что вернулся из поездки и решил позвонить брату. Со мной поздоровался женский голос. Я сказал: «Это его младший брат», — и стал ждать. Потом услышал голос Вадима: «Привет, Гип, как жизнь?» Я ответил:

«Прекрасно, Вадик. Я хотел бы встретиться...» Он сказал: «А... ну заходи», — и назвал адрес.

Дверь мне открыла негритянка — молодая девушка в светло-бежевом платье и кружевном переднике. Поздоровавшись, она спросила, не зовут ли меня Валерий. Она говорила с акцентом, почти незаметным. Я ответил, что да, я младший брат Вадима. Она опустила глаза: «Идите за мной». Я шел за ней и слушал музыку — казалось, я хорошо знаю эту мелодию, слышал ее когда-то давно, в детстве. Негритянка остановилась в конце коридора, негромко постучала в дверь, открыла ее и пропустила меня вперед. Я вошел — музыка звучала вокруг, везде. Комната была зашторена, Вадим, заложив руки за голову, сидел спиной ко мне и смотрел на огромный экран монитора, где шел фильм — странно яркий, с неправдоподобно четким, почти стереоскопическим изображением. Подойдя, я догадался, что фильм компьютерный. Я видел тропический лес, голубые и оранжевые цветы, полуобнаженных, похожих на живые статуи женщин, а рядом мужчину-европейца — он медленно стягивал с сидящей на траве женщины красную, яркую ткань. Это были персонажи картин Гогена, его зелено-золотистые таитянки и сам художник, они медленно, нежась в лучах проникающего сквозь деревья света, готовились прямо здесь, на шевелящейся компьютерной траве, заняться любовью.

Я смотрел не отрываясь. Вадим протянул руку и щелкнул по клавиатуре компьютера — изображение застыло. Затем повернул ко мне голову, поднял с ковра пульт и убавил звук.

— Невероятно... — не удержавшись, сказал я.

Вадим развернулся ко мне на вращающемся кресле, голову склонил на плечо и слегка улыбнулся.

— Невероятно что? — спросил он. — Песня или мой Гоген?

— Песня?.. Да, я слышал ее... Что это?

— Это Урия Гип, или Хип, или по-английски Uriah Heep, была такая группа, впрочем... есть и сейчас, а песенка называется «Июльское утро». Сентиментальная, плаксивая вещь. Но, пожалуй, сегодня поплакать стоит, ведь мы так редко встречаемся, а, брат?

— Может, откроем шторы?

— Конечно. — Вадим что-то нажал на столе, и шторы раздвинулись.

— Люблю работать в темноте, — сказал он, — тогда легче входить сюда. — Он постучал по экрану.

— Это и есть компьютерная графика?

— Не совсем. Это, Гип, что-то вроде электронного искусства. Я придумал серию фильмов «Внутри искусства» или нечто в этом роде. Как тебе идея?

— Я видел, — сказал я. — По-моему, в этом есть что-то нелепое. Или страшное. Твой Гоген... это какой-то дьявольский мультфильм.

Брат коротко рассмеялся.

— По одной из версий Гоген умер от сифилиса, я вот конструирую, как это могло быть. У меня уже есть автопортрет Ван Гога, снимающего повязку с уха, озвученный «Крик» Мунка. Джоконда, которая разевает свой рот, а там зубы мелкие, не красивые. Босх и его райские наслаждения плоти, квадратные кирпичики Малевича. Да, кстати, о незабвенной Моне Лизе...

— Это чушь! — вдруг сказал я, едва узнав свой голос. — Зачем ты это делаешь? Зачем? За это платят деньги?

— Платят, Влерик. И довольно неплохие. А потом будут платить еще больше. Ты даже не представляешь, сколько сейчас могут заплатить за анатомический разрез шедевра. Впрочем, вряд ли это и шедевр... — Он встал и вытащил из ящика стола книгу в яркой глянцевой обложке. — Вот, взгляни, это делал я, называется «От наскальной живописи до электрического солнца». Как бы краткая энциклопедия искусства от и до — книга для юношей, для общего развития. Тут полно иллюстраций. Вот, например, что это?

— Джоконда, ну и что?

— Да ты смотри, Гип, внимательней смотри!

— Ничего особенного... — Я растерянно вглядывался в знакомое с детства изображение.

— Ну же, Влерик, смотри!

Его голос стал глуше — как тогда, много лет назад, когда он, издаваясь, глумясь надо мной, презрительно спрашивал: «Скажешь, что за музыка, — узнаешь, где тайник».

Мне захотелось швырнуть книгу на ковер, но я захлопнул ее и сказал:

— У нее нет улыбки...

Брат криво улыбнулся.

— Верно, Валера... Ты заметил, хотя и по подсказке. Ты молодец, Гип.

Я раскрыл книгу и еще раз посмотрел на изображение.

— Ты убрал ее?

— Я. А в предисловии написал об этой загадочной улыбке и прочей чепухе. В конце книги в кармашек вставлен конверт на адрес издательства — специально для пожеланий и замечаний. Никто ничего не заметил, Влерик. А тираж — сто тысяч, и уже почти все продано. Покупают книгу все — мамы для детей, и парни, и девушки, и солидные дяди для семьи — чтобы было. Я уверен, никто ничего не видит. А если и замечают, думают: ну и что?

— Тебе нравится... твоя работа?

— Точно не знаю. Я упоен ею, и она дает мне деньги. Я люблю быть свободным. Я доказываю каждый день: нет никакого искусства, есть только продольный разрез на животе классического трупа. Искусства не может быть потому, что люди стали слишком зрячими... Ты читал пьесу Метерлинка «Слепые»?

— Нет... Да, кажется, давно. Там говорится о каких-то слепых, они собрались на острове...

— У Метерлинка была метафора жизни — слепота. Он хотел сказать, что только наполовину слепой видит прекрасное — это правда. Слишком видящий видит слишком очевидное, он замечает все — даже грязь под ногтями. Кто знает, какого цвета глаза у Джоконды? А теперь начнут это замечать. Но Метерлинк-то писал в начале века, сейчас все иначе...

Я смотрел на него. Я впервые подумал, что тон брата — всегда ровный, жесткий — служит, может быть, защитой от скрытой, какой-то особенно жестокой слабости. Но есть ли она? Моя-то слабость — я знал — всегда на виду. Это тоже тон, почему-то всегда безжизненный тогда, когда я старался придать своим словам силу.

— Ты считаешь себя... все тем же аристократом духа?

Он беззвучно усмехнулся.

— Я им родился. Да и ты... что поделаешь, ведь мы братья.

— Я этого не чувствую, — сказал я как можно небрежней. — Ты... ты ненавидишь родителей?

— С чего ты взял? Я никак к ним не отношусь.

Я молчал. И вдруг стал переживать за него — как раньше.

— Я тебе уже говорил, кажется, Влерик, о своих взглядах на всю эту родственную связь. Мне-то на нее наплевать, но я не хочу причинять горя никому. Я никогда не женюсь только из-за этого — не хочу никого изводить. Может быть, скажешь, это эгоизм? Эгоизм — то, что я не хочу, чтобы оплакивали мою смерть? И я не хочу оплакивать чью-либо еще, например, отца или матери...

— Но ты понимаешь, что, — я тщательно подбираю слова, — если ты никогда не объявишься, мать будет страдать всю жизнь, а если она будет знать, что у тебя все хорошо, — только один раз, когда ты умрешь?

— Нет, — сказал Вадим. — Я особенный человек. Я ей могу причинить гораздо больше страданий. Жизнь — это ведь страдание, и я хочу избавиться от него, понимаешь? Себя избавить, и мать, и тебя, и эту нашу сестричку...

— Ты так часто говоришь о смерти, что...

— Вот именно, Влерик. Это главное, о чем я сейчас думаю. Это мой последний шанс не быть запятнанным — перестать бояться смерти.

— Интересно, как? — спросил я.

— Да очень просто, подожди... — Брат вышел из комнаты и вернулся, держа за ствол винтовку с коротким прикладом. В другой руке у него был пистолет.

— «Макаров»? — кивнул я на пистолет. — А это что?

— Помповое ружье, «Ремингтон». — Брат погладил ствол ладонью.

Вадим вогнал в патронник пустую гильзу и прицелился в экран монитора — раздался щелчок, брат тут же, обхватив винтовку ладонью снизу, сделал резкое движение — гильза вылетела и ударилась о противоположную стену.

— Попробуешь? — спросил он.

— Нет. — Я отстранил его руку, дотронувшись пальцем до холодного ствола. — Ты что же, его с собой носишь?

— Только в машине. С собой у меня «Макаров». Пока что хочется жить, вот и ношу.

Я помолчал. Потом сказал — нервно, торопясь:

— А мне хочется жить, очень, и я боюсь смерти... и я поеду к матери, к отцу, и это нормально, да, это хорошо, лучше, чем у тебя, Вадим, ты не прав.

— Прав,— сказал он негромко.— Я это знаю. Помнишь, Влерики, всех этих философов-гедонистов? Так вот, я мечтаю достичь только одного: сделать так же, как один из них. Он, ученик Эпикура, поспорил с христианином о том, кто из них больше боится смерти. Христианин сказал что-то о праведной жизни, о том, что за это не накажут на небе,— что-то вроде этой чепухи он и сказал. А наш грек-эпикурец говорит: «Не боишься смерти? Так убей себя сейчас». Христианин отвечает: «Нет, это грех». «Ах, вот как»,— сказал грек, попросил у проходящего стражника меч и, продолжая о чем-то спрашивать христианина, всадил себе меч в живот. Мне хотелось бы суметь сделать, как он, хотя бы мысленно, но я пока не могу. Больше всего на свете я хочу быть готовым к тому, что сделал этот грек.

Вошла негритянка с кофе и бутербродами. Поставила все на стол и тихо вышла. Я заметил, что она не поднимала глаз.

— Это твоя служанка?

— Да, ее зовут Дениза. Правда, симпатяга? Совершенно безропотное существо. Кубинская студентка, не захотела возвращаться к себе. Я ей хорошо плачу и пальцем не касаюсь. Мне достаточно того, что она есть. Знаешь, когда я в детстве мечтал, то видел себя таким романтическим графом в замке со слугами-неграми. Люблю исполнять свои мечты. Это приятно. Тебе что, кажется это странным?

— Нет,— ответил я.— Я очень хорошо тебя понимаю. Но я понял и еще кое-что.

— Что же?

— Ты сверхчеловек.— Сказав, я почувствовал страх.

— Ты это понял?

— Не совсем. Значит, ты не человек. Ты не человек, это все равно, что не вернуться к природе, а прыгнуть вперед — через нее,— но там тоже люди, так же, как и животные сзади. Человек не может быть один. Ты, как волк, как собака, которые забывают свою мать, но мы же люди. Я говорю, потому что поверил тебе, ты всегда умел убеждать. Я поеду к родителям и не скажу им про тебя, не волнуйся. Впрочем, тебе даже это все равно.

Брат смотрел на меня, подбородок его был приподнят.

— А ты, Гип, все-таки обрадовал меня. Молодец, это твоя первая сносная речь. Хвалю. Ты прав. Нищестанство — это долгая болезнь, ее не вылечить даже компьютерами. И никаких аристократов духа. Сейчас милое время — время коллективизации, так модно, так ласково быть похожим на другого — как все. Какие там личности, Гип! Мне вот хочется перестать быть человеком. Как это мало — быть человеком! Ты даже успокоил меня, брат, подсказал кое-что.

Он замолчал, и я спросил:

— Что?

Он взял со стола «Ремингтон» и сказал, усмехаясь:

— Вот этой штукой меня можно убить, как собаку, и это не будет метафорой.

Я позвонил Файгенблату и сказал, что собираюсь съездить домой, может быть, на неделю. «Нам нужно ехать сейчас,— что-то жуя, сообщил он,— я уже взял билеты». «Опять? — спросил я.— Третий раз в этом месяце». «Так нужно, да и ты получишь не две, а три, Ромеев». Файгенблат говорил со мной медленно, чуть рассеянно, словно улыбаясь кому-то в своей квартире, может быть, женщине.

В Стамбуле шел дождь. Впервые здесь было холодно. На Босфоре штормило, официанты торопливо убрали столы и стулья с террас уличных кафе; ветер вырывал белые скатерти у них из рук, валил выставленные на тротуар стенды с открытками.

Мы спешили. Файгенблат сел в автобус, уехавший на десять минут раньше моего. Усевшись в кресло, я сразу заснул, выпив стограммовую бутылочку ли-

монной водки. Я давно уже делал так, чтобы не смотреть в окно и ни о чем не думать, — тогда время шло быстрее, незаметнее.

На границе, еще не проснувшись, я сразу понял, что мы стоим слишком долго, — наверное, во сне реальность становится точнее. Я открыл глаза, было два часа ночи.

— Случилось что-нибудь? — спросил я своего соседа, эстонца.

— Впереди какая-то задержка.

Салон был полупустой, большинство пассажиров стояло снаружи. Нашу пав в кармане пачку сигарет, я вышел из автобуса и, почувствовав сырой холод воздуха, поднял воротник куртки, втянув голову в плечи. Я огляделся — кругом в темноте приглушенные разговоры, огоньки сигарет.

— Что случилось? — спросил я.

— А черт его знает... впереди что-то...

Автобусы с выключенными двигателями стояли друг за другом. Водители сидели в кбинах и лениво переговаривались. Ко мне приблизилось лицо, освещенное сигаретой.

— Файгенблат? — узнал я. — Что там впереди?

Он молча потянул меня за рукав, мы отошли в сторону.

— Ромеев, — торопливо сказал Файгенблат, — понимаешь, там, впереди, что-то не то...

Я вздрогнул, почувствовав прилив слабости — в руках, коленях, — и несколько раз глубоко затынулся.

— Что не то?

— Турки проверяют автобусы.

— Проверяют? Они что, все вещи смотрят?

— Да... Но подожди, еще ничего неясно.

— Что тебе неясно? — быстро заговорил я. — Рюкзак не при мне и...

— Да тише... Конечно, Валера, все нормально... Я просто зашел, чтоб ты знал: тебе ничего не грозит. Вот что, в Софии ты иди и бери сам себе билет до Москвы, в поезде встретимся...

— Что значит в поезде встретимся? — спросил я.

— Я говорю, что теперь надо быть осторожней. Товар отнесешь к себе, я позвоню, — торопливо говорил он. — Ты, главное, веди себя спокойно, глупостей не делай... Ты же знаешь, сколько там товара, больше, чем раньше. Я заплачу тебе полторы тысячи, а не одну, только...

— Да что только? — Я дернул его за руку. — А если они найдут, если проследят — прицепят туда что-нибудь, маячок какой-нибудь, а?!

— Тише, тише, — шептал Файгенблат, — нас могут услышать...

— Так вот, я тебе говорю, что к этому рюкзаку я не притронусь, понял?!

— Да тише ты... Еще ничего не известно. Это обычная проверка, они не роются в вещах, просто заглядывают, как и раньше...

— Почему так медленно?

— Не знаю. Может, проезд один закрыли... Ты сиди, а я пошел.

Он повернулся, но я схватил его за локоть:

— Послушай, ты ведь там был? Турки что, с собакой?

— С собакой? — Я, едва видя его глаза, сразу почувствовал, что он испугался. — Собаки... нет, не видел.

— Файгенблат, — сказал я, — а ведь я пойду посмотрю...

В это время в кабине водителя загорелся свет, двигатель заработал. Кто-то из пассажиров подошел к дверям автобуса, но водитель что-то крикнул из окна и махнул рукой. Колонна автобусов медленно, мигая тормозными огнями, поползла вперед; пассажиры, разговаривая, шли рядом. Потом колонна остановилась, наш водитель вышел, захлопнув дверь, закурил.

Я шел вдоль автобусов. Первый стоял на ярко освещенной площадке, пассажиры толпились в стороне. Я заметил возле автобуса груды вещей, вытасканных из багажного отделения. Потом я увидел, как пассажиры по очереди подходят к вещам, берут какой-нибудь чемодан и отходят с ним в сторону.

Ближе ко мне, в тени, стояли двое таможенников. Третий сидел на корточках. Присмотревшись, я увидел, что он гладит собаку — небольшую, гладкошерстную, похожую на пинчера. Собака повернула ко мне голову, я заметил белый поясok ошейника и поводок.

Я вернулся и быстро пошел назад. Я где-то слышал или читал об этих псах, которых превращают в наркоманов для того, чтобы они находили нарко-

тики. Колонна автобусов вновь двинулась — пассажиры, куря, шли мне навстречу. Я заскочил в автобус, нашел сидящего в кресле Файгенבלата и шепнул: «Пошли...» Мы вышли, и я быстро сказал ему:

— Я видел. Я видел собаку, теперь они все найдут. Я не притронусь больше к этому. Все.

— Ты ничего не понимаешь,— запинаясь, сказал Файгенבלат. Его голос дрожал.— Ведь героин не под курткой же у тебя.— Он попытался улыбнуться.

— Вот именно. Я к нему больше не притронусь.

— Во-первых, они могут и не найти, во-вторых, это нельзя бросать, нельзя, понимаешь?

— Иди к черту! — сказал я и пошел к своему автобусу.

— Я тебя умоляю...— успел я услышать его голос.

Колонна остановилась. До освещенного фонарями пространства оставалось минут десять — пятнадцать. Я зашел в свой автобус и встал у кабины водителя.

Турки сидели в высоких креслах, один из них пил кока-колу. Я сказал по-английски, что оставил паспорт в багажном отделении в вещах, попросил водителей выйти из автобуса и открыть багажник.

Один из них, тот, что пил кока-колу, взглянул на меня, буркнул по-английски: «Я занят»,— и повернулся к напарнику.

Я повторил просьбу вежливее и короче.

Турок досадливо поморщился, поставил бутылку рядом с креслом, встал, что-то громко сказал напарнику и махнул мне рукой — пошли, мол.

Он открыл багажное отделение и закурил, стоя за моей спиной. Я вынимал чужие чемоданы и сумки, ставил их на асфальт, а потом, когда вытащил свой небольшой рюкзачок, засунул все вещи обратно, сказал турку: «Большое спасибо»,— и, подхватив рюкзак, пошел куда-то в сторону, в темноту.

Я понимал, как это глупо: искать паспорт, взять рюкзак и уйти с ним. Но я бездумно, физически ощущал своего врага — то, что находилось в рюкзаке. Пока оно там — не было ничего страшнее.

Я был в этом туалете несколько раз, когда пересекал границу с болгарской стороны. Там бесплатно, грязно, пахнет хлоркой — как в нашем уличном туалете.

Я зашел в кабинку и, придерживая дверь одной рукой — задвижка была сломана,— быстро снял с плеча рюкзак, вытащил, едва не уронив на пол, куртку, затем пакет.

Сзади раздали шаги, я испуганно выпустил ручку двери, и она открылась. Краем глаза я увидел серую спину полицейского. Он остановился напротив меня, потом я услышал журчание его мочи. Я замер, прижав пакет к правому боку, рюкзак, опять оказавшийся на плече, немного закрывал меня. К тому же здесь было темно.

Свободной рукой я расстегнул ширинку и наклонил голову. Глаза щипало, текли слезы. Покачиваясь, едва удерживая тяжелый, как гиря, пакет, я безуспешно силился помочиться. Полицейский, громко стуча ботинками, вышел. Я услышал рядом у входа громкий разговор — в туалет собиралось войти человека три. Отшагнув, я быстро впихнул тяжелый пакет в рюкзак, замер и тут же, перевернув рюкзак, встряхнул его — куртка и пакет упали под ноги. Нагнувшись, уже слыша шаги входящих, я схватил героин и швырнул его в квадратную дыру, обложившую кафелем — пакет накрыл отверстие, и тогда я наступил на него ногой — он прогнулся и рухнул вниз,— а в это время люди, громко говоря по-турецки, уже вошли.

Может быть, меня спасла их громкая речь.

Куртка была в моей руке, я не заметил, как поднял ее. Турки, разговаривая, шумно мочились у меня за спиной, мне казалось, что кто-нибудь из них сейчас заденет меня локтем.

Выйдя из туалета, я увидел ходящего взад-вперед полицейского, кажется, он смотрел на меня. Потом сзади кто-то захохотал. Издали я заметил Файгенבלата, он курил. Подойдя к нему вплотную, я прошептал:

— Все, все кончено.

— Ты что? — сдавленно просипел Файгенבלат. Я видел, что у него задрожала нижняя губа.— Ты что сделал, дурак?

— Это ты придурок, ты...— Мне казалось, что я говорю совсем не то.— Иди ты...

— Что ты сделал, Ромеев, где товар?

— Турки на него сейчас срут, на твой товар, понял? Я не хочу сидеть, понял?

— Где? Где? — быстро спрашивал он.

— В сортире. Я бросил мешок в дырку сортира.

— Ты идиот, меня же... Господи... Господи...

— А что мне оставалось делать? — спокойно, четко выговаривая слова, спросил я. — Что? Плевать я хотел!

Я повернулся, задев его рюкзаком, и пошел к автобусу. Файгенблат догнал меня и заговорил, заглядывая в лицо:

— Нас же убьют...

— Нас? — Я остановился. — С каких это пор мы вместе, а? Ты же сам говорил, что это моя работа, а то — твоя. Да, может, ты сам все сбываешь и нет никаких бандитов?

— Есть, есть, — зашептал Файгенблат, — нам конец.

Я посмотрел на его крупное, подрагивающее лицо. Мне захотелось ударить его, посмотреть, как на белой коже выступит кровь.

— Иди-ка ты... — Я отвернулся.

Заработал двигатель, пассажиры стали садиться в автобус. Вошел таможенник, собрал паспорта и попросил всех выйти, оставив вещи в салоне. С отворачиванием куря очередную сигарету, я увидел знакомую собаку — она подошла к чемоданам, вытащенным из багажника, и тщательно обнюхивала их. Затем собаку провели на поводке мимо выстроившихся в шеренгу пассажиров — иногда она останавливалась и обнюхивала чьи-нибудь ноги.

13

В Москве через неделю после приезда ко мне зашел Файгенблат. Ему открыла хозяйка. Он постучал в дверь моей комнаты — я лежал на диване и смотрел телевизор, — вошел и сел рядом.

— Я не знаю, что делать, Валера, — сказал он, — не знаю.

— Почему ты приходишь без звонка? — спросил я. — Вчера тоже ты приходил?

— Вчера? — переспросил он. — Нет... вчера нет.

— Кто-то заходил ко мне, хозяйка открыла... Ну, говори.

— Я должен теперь деньги... Помоги мне, — сказал Файгенблат.

— Сколько? — спросил я.

— Сто тысяч.

— Товар стоил сто тысяч долларов?

— Нет... меньше, наверняка меньше... Но они округлили, как всегда. Они дали мне две недели, начиная со вчерашнего дня.

— Да кто они? Кто они? — Я сел на диване. — Может, ты все выдумал, Файгенблат? Я не верю тебе, не хочу тебе верить, вот и все. Ты всегда был скотиной, Гена, даже в школе. Вежливой, но скотиной. Если бы меня взяли тогда на границе, ты бы целовал свою еврейскую задницу от радости, что остался цел. А теперь я должен тебе помогать?

— Господи, Ромеев! — Файгенблат встал и, взмахнув руками, потер небритые щеки. — Ну ведь бывает, бывает, как ты не поймешь? Сегодня все было, а завтра нет! Дурак я был, дурак, надо было еще в августе бросать эти перевозчики и уезжать, улетать куда угодно. Я не знаю, что делать, Ромеев. Я говорил с ними, они... приходили ко мне...

— Били? — усмехаясь, спросил я.

— Нет, зачем, первый раз не бьют... Но я же помогал тебе, Ромеев, ведь это я тебя забрал с Арбата...

— А я бы оттуда и сам ушел. Думаешь, я не нашел бы, как заработать? Катись-ка ты... Ну где я возьму тебе денег? Ну есть тысяча пять-шесть... Да если я даже продам машину и все барахло, все равно ведь это тебя не спасет.

— Не спасет, — тихо сказал Файгенблат, — но ведь у тебя есть брат... Ты говорил, он хорошо зарабатывает...

— Вспомнил, значит...

— Что?

— Да так, — сказал я. — Только брат ничем помочь не сможет. Я не знаю, где он живет, мы не общаемся, у нас разная жизнь. Я тебе дам, сколько смогу,

но что толку, где взять сто тысяч, это же огромная сумма. Тебе надо просто уехать.

— Это невозможно.— Файгенблат покачал головой.— Ладно, я пойду...

— Давай,— сказал я,— только советую тебе завтра же уехать. Или собрать все свои главные деньги и отдать. Ты еще заработаешь, ты сможешь.

— Я пойду...— Файгенблат с опущенной головой пошел к двери.

— Эй! — окликнул я его.— Я не буду просить у брата. Не хочу.

Не ответив, он ушел.

Вечером я вышел на улицу. У моей машины, прислонясь спиной к дверце, стоял парень. Он был в короткой замшевой куртке и в черных джинсах. Посмотрев на меня, он лениво, засунув руки в карманы, отошел. Я всегда ненавидел взгляды таких типов, хотя бы и случайные,— может быть, я боялся, что они приметят во мне что-то, например, мой страх.

Вернувшись, я спросил у хозяйки, кто приходил ко мне вчера. «Ребята,— ответила она,— ваши друзья, Валерочка». «А Гена, который был сегодня, тоже вчера приходил?» «Этот очаровательный черноволосый юноша? Нет, его не было, это уж точно». «А что они сказали,— спрашивал я,— как они спросили, кто им нужен?» «Ну...— ответила хозяйка,— они сказали: «Нам нужен Валера Ромеев», да, так они и сказали, а я говорю: «Нет его сейчас, зайдите завтра». Это были ваши однокурсники, Валерий». «Они что, говорили, что однокурсники?» «Да, кажется...»

Я заснул, не раздеваясь, на диване. Мне казалось, что я накрыт темным, прохладным одеялом, и спал, пытаюсь высмотреть в темноте хоть какой-нибудь сон — светлое, потерянное пятно радости. Потом темнота стала дрожать, раскачиваться, падать кусками в еще большую черноту. Я проснулся, дрожа всем телом, в липком поту.

Хозяйка громко стучала в дверь:

— Валерий! Валерий, вас к телефону, срочно!

Шатаясь, я подошел к двери, открыл. Свет, ударивший в лицо, показался неестественно ярким. Жмурясь, я вышел в коридор и взял трубку.

— Ромеев,— сказал Файгенблат,— я хочу сказать, что... я все им рассказал, все о тебе, они знают, кто ты...

— Что, уже били? — спросил я.

— Ты идиот! Они знают о тебе, знают тебя в лицо, где ты живешь...

— Ну, теперь назови себя сволочью.

— Я сволочь, Ромеев, но я же боюсь, боюсь!

— Давай, бойся,— сказал я и положил трубку.

Не спеша я зашел в свою комнату и закрыл дверь на ключ. Взглянул на часы — почти час ночи. Мне хотелось ледяного пива, хотелось, как никогда, хотя бы глоток. Желание надвигалось, глотало меня, я думал о пиве тревожней и искренней, чем о том, что сообщил мне Файгенблат.

Я оделся: высокие ботинки и длинное пальто, на улице уже холодно, ветер, почти дождь. Вышел в коридор, потом, дотронувшись до замка входной двери, вернулся на кухню и посмотрел в окно. Я ничего не видел, «опель» заслоняли деревья. Вдруг я вспомнил: хозяйка утром покупала пиво. Осторожно открыл холодильник и увидел освещенную желтым светом бутылку. Сковырнув ножом крышку, я быстро приложился сухими губами к горлышку — тело затрепетало, вздрогнуло. Мне показалось, что я стал сильнее и поэтому мог убежать.

Стараясь не спешить, я подошел к «опелю». Я почти не оглядывался и насторожился, только открывая дверь,— краем глаза я заметил в машине, стоящей на другой стороне улицы, вспыхнувший огонек сигареты.

Когда я проезжал мимо, огонек все еще тлел.

Выехав на проспект, я остановился у ряда коммерческих ларьков. Купил несколько бутылок пива и тут же выпил одну из горлышка, сидя в машине.

Я смотрел в зеркало заднего вида, пил пиво и улыбался — я никак не мог почувствовать себя, как в кино. Наконец я что-то увидел: это была патрульная машина. Шурша шинами, она медленно объехала мой «опель» слева и остановилась. Я слышал, как трещала милицейская рация. Двое вышли из машины, подошли ко мне.

— Что, парень,— сказал один из них, нагнувшись к окошку,— как пиво, ничего?

Второй сказал:

— Выходи, подышим.

— Сколько с меня, ребята? — спросил я.

Они помолчали.

— Ну, сколько, как сам думаешь? Чтобы и нас не обидеть, и самому пешком не топтать. Подумай.

Я нащупал бумажник, тот, в котором лежали доллары, вытащил одну купюру и протянул в окно.

— Ну, приятель, — сказал милиционер, — нас же двое...

Я протянул вторую купюру.

— Как в Сокольники проехать? — спросил я.

Они лениво объяснили, сели в машину и уехали.

Может быть, Лине стоило сначала позвонить. Но я знал, что она дома, что у нее ничего не изменилось — должны же быть люди, у которых ничего не меняется, никогда. Я долго звонил в дверь, а когда она наконец открыла — сонная, горячая, — я схватил ее и понес. Я говорил ей почти скороговоркой, прижав губы к ее щеке: «Я люблю тебя, Лина, я страшно тебя люблю, будь моей женой!» — а она, уворачиваясь, не давая даже поцеловать себя, шептала, зажмуривая глаза: «Ты врешь... Ты знаешь, что ты врешь и все это ерунда, Валерочка...»

Отпустив ее посреди комнаты, я спросил: «Почему?» Она сказала: «Я знаю это. Просто знаю», — и ушла на кухню. Перед этим она устало сказала: «Я накормлю тебя. Ты, наверное, голодный...» Казалось невероятным, что я только что говорил ей слова любви. Она стояла на кухне спиной ко мне, с распущенными русыми волосами, в длинной ночной рубашке и короткой вязаной кофте. Изредка поворачиваясь, она показывала мне заспанное, почти чужое лицо какой-то до оцепенения несчастной женщины, и я не узнавал ее.

Мы поели. Я выпил все свое пиво. Она что-то говорила, почти не глядя на меня, потом встала:

— Пойдем, я постелю тебе в детской.

— В детской?

Я, как мальчишка, искал повода, чтобы подрагаться. Шатаюсь, я шел за ней и вдруг схватил за руку:

— Иди сюда! Ты знаешь, что говорил о тебе брат, знаешь?

— Пусти! — Дернувшись всем телом, она упала на одно колено.

Ее лицо оказалось рядом, бледное, закрытое спутанными волосами, с перекосенным от отвращения ртом. Я навалился на нее, выкручивая ей руку, стремясь повалить на пол, а она, извиваясь, все же стояла на коленях и сопротивлялась быстрыми, ровными рывками — я не мог ее даже сдвинуть. Потом, что-то крикнув, Лина ударила меня головой в живот. Я упал, а она била меня сверху коленями, кулаками, подбородком. Меня вырвало, я забрызгал ей колено. Она встала, и я услышал ее голос:

— Извини... я не в себе.

Я видел ее ноги, она уходила к себе, в спальню. Я пролежал какое-то время, отвернувшись от липкой лужи рвоты. Когда я, шатаюсь, попытался встать, она вышла из комнаты, взяла меня за плечи:

— Пойдем в ванную... я вымою тебя... Валерочка.

Я не остался у нее. Было пять утра, мне не хотелось спать. Лина приготовила кофе, мы сидели напротив друг друга за белым кухонным столом, и иногда встречал ее взгляд. Теперь все было почти наоборот: она заглядывала мне в глаза, словно медленно с чем-то прощаясь, — не только со мной, может быть, вообще не со мной, а с чем-то несбывшимся, прошлым.

Надевая пальто, я обернулся и сказал:

— Нет у тебя никакого мужа.

Она пожала плечами.

— Нет, конечно.

Я спросил:

— Он, что ли?

Она не ответила.

— Ну, и ребенок, — усмехаясь, сказал я, — твой красавчик и умница ребенок.

— Он существует, Валера. Хотя вряд ли когда-нибудь поймет, что ты его дядя. Он в интернате для умственно отсталых. Аутизм. Слышал про такое?

Я молчал, пытаюсь почувствовать себя неловко. Потом спросил:

— Вадим знает?

Она отвернулась. Я смотрел вместе с ней на стекающие по оконному стеклу дождевые капли.

— Лина!

— Что?

— Ты... любишь моего брата?

— Я хотела быть его женой, Валера. Но в нем есть что-то страшное. Я еще не понимаю, что.

— Ромеева, — сказал я.

Она поцеловала меня на прощание — как раньше, но по-другому.

Я заехал в парк, выключил двигатель и откинул сиденье. Наблюдая, как по лобовому стеклу текут капли воды, я заснул. В десять я оставил «опель» во дворе какого-то учреждения, пересек улицу и вскоре вошел в лифт шестнадцатиподэтажного дома, где жил Файгенблат. На ступеньках лестницы у его этажа сидела девушка в красном плаще, курила. Увидев меня, она подняла голову; ее глаза были сильно, нелепо накрашены.

— Я вас знаю, — сказала она. — Вы художник, мы были с вами и Геной в одной забегаловке, ели японскую лапшу. Вы не удивляйтесь, у меня хорошая память на лица, особенно на такие.

Я вспомнил. Но та девушка была блондинка.

— Вы перекрасились? — спросил я.

— Да. Что делать в этой жизни? Хотите рома? У меня есть баночка коктейля, я одну уже выпила.

— Нет, спасибо. Вы ведь невеста Гены. А где он?

— Это не Гена, — ответила девушка, — это заяц еврейской национальности. Скорее всего он укатил в Израиль, как и было задумано, но без меня.

— В Израиль?

— Ага. Конечно, я чихать хотела на этот его вечный зов предков, но мы договорились встретиться, а его нет, сижу тут час. Посижу полгода и уйду. Хотите рома?

— Нет.

Я спустился по лестнице и в дверях подъезда встретил двух высоких парней: они входили, один из них сильно толкнул меня плечом и оглянулся — я это почувствовал, не поворачивая головы.

Вадиму я позвонил из автомата. Никто не отвечал. Я ехал по улице, оставался, звонил. В конце концов заехал в арку его дома — я чувствовал, что он там.

Открыла негритянка — он. Хмурое, заспанное лицо, длинный халат, кое-как запахнутый, глаза узкие, белые.

— А... походник. Как Южный полюс, открыт?

— У меня к тебе дело.

— Что так рано? — Я почувствовал запах спиртного. — Я, как тебе сказать... еще бы поспал.

— Ты же никогда не вставал поздно, — сказал я, раздеваясь, — я думал...

— Да? — прервал меня Вадим. — С чего ты взял?

Мы пошли по коридору, Вадим открыл одну из дверей, остановился, сказал:

— Кстати, хочешь?

Я заглянул в зашторенную комнату — там, в глубине, привстал на кровати негритянка, одеяло сползло с плеч; блеснув глазами, она посмотрела на меня.

— Вставай-ка, животное, — тихо сказал брат, — надо поесть.

Мы вошли в его кабинет. Компьютер с большим экраном стоял теперь на ковре, посередине комнаты, стол был в углу. Мы сели в кресла. В руках у брата была сигара, он зубами откусил кончик, закурил.

— У меня есть великолепное ирландское виски, — сказал он, шепелявя из-за сигары, — хочешь?

Я усмехнулся.

— Мне сегодня с утра все предлагают выпить. Даже родной брат, который, я думал, вообще не пьет... А говорил, не куришь.

— Но ведь раньше курил.— Брат улыбнулся, не вынимая сигару изо рта.— Почему бы не продолжить, а? Подумаешь, маленький перерыв. Хорошо жить, Гип. Особенно если раз в сто лет выпивать по утрам чашку рома и выкуривать хорошую «Гавану». А все остальное время можно по утрам обливаться, питаться отдельно и делать клизму два раза в день. Что у тебя за проблемы, Гип?

— Меня хотят убить...

Брат, вынув сигару изо рта, сухо, негромко рассмеялся.

— Вот как? Тут мечтаешь: вот бы кто придушил во сне, а ты...

— Брось, Вадик. Я серьезно. За мной следят, это точно, и если я не отдам деньги...

— Деньги? — оживился брат.

— Да.

Негритянка в коротком платье из белого шелка вкатила в комнату сервировочный столик — на нем стояли поднос с завтраком и бутылка виски,— взглянула на меня и вышла.

Я рассказал Вадиму все. Он не прерывал меня, выкурил полсигары, а потом, покачив головой, сказал:

— Да, талантлик, что-то, а уж рассказывать ты умеешь, я прямо заслушался. Почему бы нам с тобой не устроить на радио передачу «Умные братья», а? Ты будешь говорить, я — комментировать.

— Вадим,— сказал я,— мне... страшно.

— Страх — хорошая разрядка, говорят, даже очищает. Да ты не бойся, хотя денег я тебе не дам.

— А я и не прошу, черт возьми,— быстро сказал я.

— Просишь,— Вадим щелкнул пальцами,— но зря. Во-первых, у меня их нет. Сто тысяч — это не шутка. Во-вторых, тебе и не нужно их платить.

— Что мне делают?

— Сейчас расскажу. Ты вообще общался с подобными ребятами?

— С какой стати? С этими лысыми...

— Ну да, ты же нищий. Стал получать две тысячи в месяц — и вот, надо встретиться. Я общался с ними — так, иногда, и без всяких там наркотиков, Влерик. Все зависит от того, насколько они сильны. Ведь ваш героин — это чепуха, мелкий извоз. Но это не важно. Конечно, твой приятель работал не один и его наверняка заставят платить. И он, если даже рассказал о тебе, все равно ничего не выгадает. Бандиты спросят с того, кто на них работал, им плевать, если он будет тыкать в тебя пальцем и кричать, что это ты зашвырнул наркотики в сортир. «Это твои проблемы», — скажут они, назначат срок, а потом, если он не заплатит вовремя, пойдут проценты — скажем, тысяча долларов в день. Здорово, да? Прошла неделя — плати семь тысяч. Если не заплатит, тогда его убьют либо он поступит в рабство — начнет на них работать, будет возить героин, пока не доживет до старости и не умрет. Тобой, Влерик, они начнут интересоваться только в одном случае. Знаешь, в каком?

Я молчал.

— Если он сбежит. Если уже не...

— Сбежал,— сказал я,— это точно.

— Ты же говорил, что просто его не застал?

— Да нет же! Я знаю, Файгенблат уехал, он улетел, он в Израиле, я ненавижу...

— Остынь, Влерик. Что ж, бандиты теперь могут навестить тебя.

— Да иди ты...— Я встал с кресла.— За что мне это, за что?!

— За то, что пользуешься их средствами,— холодно сказал брат.— Надо было зарабатывать на жизнь обыкновенным гением... Вот ты, когда возил сумочки с героином, не думал о последствиях?

— Думал,— громко сказал я.

— Я не о том. Я о кровавых мальчиках, например... О тех юношах, что наюхались твоего порошка да померли. Или кого-нибудь умертвили. Кстати, героин — злая штука, это не трава-мурава, я как-то пробовал. Ну так что же, совесть не мучает?

— Ты же...— сдавленно сказал я.— Ты же сам мне говорил, что я пресмыкаюсь на Арбате!

— И что, посоветовал возить героин? А ведь ты, Гип, сделал то, чего все ожидали от меня, и мама, и сестричка...

— Как будто они тебя заботят!

— Но вместо меня это сделал ты,— спокойно дымя сигарой, продолжал Вадим.— Забавно, не правда ли? А ведь я, Гип, никогда бы не занялся этим гнусным делом, даже если бы помирал с голоду.

— Видно, что не помирал,— сказал я.— Я сам все это знаю! Какого черта мне говорить!

— Уезжай, Влерик,— устало сказал Вадим.— Лучше на месяц. Ах, да ты же студент, кажется? — В его голосе мне послышалась насмешка.

— Ерунда,— сказал я,— свободное посещение. Куда мне ехать? Не к родителям же...

— Ты же собирался к ним съездить,— улыбнулся брат.— Помнишь, как просвещал меня тут насчет всяких родственных чувств?

— Я к ним поеду,— сказал я,— потом поеду...

— Ладно,— сказал брат,— не хочешь домой, езжай в Одессу, в Бугаз. Дядя обрадуется, скажешь, каникулы, как раз скоро ноябрь. Машину оставь здесь, у меня во дворе, садись на поезд и вперед. Кстати, можешь взять что-нибудь из моего арсенала, «Макаров», например, берешь? Так, на всякий случай.

— Нет,— сказал я,— покупаю билет и уезжаю. Приятно было на тебя посмотреть...

— Да подожди ты! — Вадим встал, подошел к двери, раскрыл ее и позвал: — Дениза!

Войдя, девушка остановилась и опустила глаза.

— Дениза, это мой брат, помнишь? Младший, правда, но брат...

— Да перестань ты,— быстро сказал я.

— Ну так как? — Вадим кивнул на Денизу.— Давай?

Смотря на него, я вспомнил о том, что рассказала мне Лина. Кажется, он знает. Или, может быть, нет? Какая разница, мое знание не добавило мне ничего. Я не понимал, почему не могу спросить,— ведь это легко.

— Давай,— сказал я.

Я подошел к девушке, осторожно коснулся пальцами ее руки, погладил запястье. У негрятянки была холодная кожа.

14

Сойдя с поезда, я пошел пешком вдоль железнодорожного полотна. Дом дяди потемнел — как и все в этом новом, отчетливом мире. С моря дул ветер, я поднял воротник пальто. Я удивился, увидев в дядином дворе незнакомого человека, он копался в двигателе стоящей возле дома машины и, заметив меня, вдруг приветливо помахал рукой:

— Эге-ге, да это ты, что ли, Ромеева сын, младший?

— Я,— сказал я.

— А зовут, бог ты мой, забыл... Валерка?

— Точно.— Я улыбнулся, припоминая лицо этого пожилого человека.

— Да я сосед дядьки твоего, Иван Иванович, помнишь, мы вместе каждое лето...

— Помню,— сказал я.— Вы все время нам арбузы с рынка привозили, на этих «Жигулях», кажется...

— Да нет, ту я продал. Да и эта «шестерка», черт ее раздери, барахлит. Я тут, Валер, понимаешь, собрался вещички домой отвезти, вот багажник набил, а она, стерва, глохнет. Отъеду немного — и глохнет. Боюсь, до Одессы не дотянет. Ты, кстати, в жигулевском движке не волокешь?

— Да как вам сказать? — Я пожал плечами.— Вообще-то не очень. А дядя где?

— Дядя? Да уехал.— Иван Иванович махнул рукой.— Дачу вот продает и уехал в город. Его сын новую квартиру купил. А дачку эту тю-тю, дохода она большого не дает, я, кстати, *может, ее и куплю, у вас двор больше. Я сюда машину-то поэтому и поставил — простор. И ключи от дома у меня. Ты надолго?

— Так... У меня сейчас каникулы, давно на море не был. Думал, дядя здесь, поживу...

— И живи. Только зря в ноябре сюда, для молодых сейчас тоска — мертвое место, пески. Хотя есть один зимний санаторий, далеко, правда, часа полтора пешком. Там, кстати, и дискотека — ночью слышно.

— Конечно,— сказал я,— схожу и в санаторий. Я, может, тут недельку побуду. Камин работает?

— А как же! Слушай, Валерка.— Иван Иванович засуетился, порывлся в карманах ватника, что-то достал, склонился над двигателем «Жигулей». — Раз уж ты здесь, сядь в машину, крутани стартер...

Я сел на место водителя, завел двигатель — он сразу стал глохнуть.

— Подсос, подсос давай! — кричал Иван Иванович, махая мне свободной рукой.

Двигатель заработал неровно, с перебоями.

— Хватит!

Я вылез из машины и спросил:

— Ну как?

— Свечи надо менять. Сейчас я... — Иван Иванович засунул руку в капот и попросил: — Найди свечной ключ... там, в багажнике, сверху.

Ключ я нашел под свернутой в рулон резиновой лодкой.

— А лодка та? — спросил я Ивана Ивановича, когда он захлопнул крышку капота.

— Лодка? — спросил он. — Да, лодка та... Ты на ней рыбу с отцом ловил.

— Не я. Вадим, мой брат.

— Ах, да.— Иван Иванович махнул рукой.— Забыл я все. Где Вадимка-то?

— Уехал...

Вечером мы поели, выпили водки, Иван Иванович рассказывал о своей жизни, теперешней и прошлой, мне было скучно, я вежливо улыбался и иногда о чем-то спрашивал, он длинно, подробно отвечал, а я думал о своем.

Ночью мы растопили камин и легли спать, а утром Иван Иванович уехал на электричке в Одессу, обещая вернуться через три дня.

Мне нравилось жить здесь — один среди десятков пустых домов, посреди засыпанного песком пространства, казалось странным, что существует лето и что сюда приезжают люди. Я, запахнувшись в пальто, бродил по песку, смотрел на море. Мне нравилось спокойствие, нравилось, что не надо никуда спешить. Вечером я взял связку ключей, что оставил мне Иван Иванович, и открыл две запертые комнаты — там я нашел свои детские почти засохшие краски и бумагу для акварели. Я искал свои рисунки, но, видимо, их мы увезли с собой. Рано утром я сидел на песке на берегу моря и рисовал восход. Получилось плохо, смешно. Я подумал, что не умел рисовать никогда. Больше всего мне хотелось найти хоть какой-то старый рисунок, чтобы сравнить или посмеяться, и я снова стал рыться в старых вещах: журналы, желтые газеты, какие-то письма чужих людей, фотографии, но рисунков так и не нашел.

Однажды, гуляя по песку, я увидел белый блестящий автомобиль — он ехал вдоль железнодорожной насыпи, затем исчез. Я вернулся к дому дяди. Ворота были раскрыты, во дворе рядом с «Жигулями» стоял белый «форд» брата. Рядом, засунув руки в карманы, в светлом плаще и в солнцезащитных очках, улыбаясь, стоял он сам. Я подошел.

— Почему-то я не удивлен, — сказал я.

— Я тоже, Валера... — сказал брат, снимая очки.

Мы пошли в дом.

Не знаю, соврал ли я. Мне ведь сразу захотелось спросить: «Зачем ты приехал, Вадим?»

— Здесь все по-прежнему, — говорил Вадим, сидя с зажженной сигаретой на старой кушетке, когда-то я спал на ней, а он на раскладушке в другой комнате.

— Только холодно, — сказал я, — камин плохо греет.

— Ничего, я кое-что взял с собой и сегодня вечером приготовлю грог. Идет?

— Идет.

— Только неплохо бы сначала поспать, я ведь всю ночь был за рулем.

Моя акварель — розовый восход — лежала на видном месте, на столе, и Вадим, конечно же, заметил ее. Но только позже, когда мы поели, он сказал, взяв рисунок двумя пальцами за угол:

— А... закат.

— Нет. Это восход, — сказал я.

— Понятно.

Он что-то недоговаривал. Спросить было легче — это я знал. Но смог бы он ответить так, чтобы сказать правду и остаться собой, братом? Мне показалось, что я ошибся, решив тогда, что брат нашел свое изменение и поэтому уе-

хал, порвал со всем. Я не знал. Я смутно понимал, что, может быть, он сам отшагнул ко мне назад — просто, легко уничтожив шесть лет, — и все-таки я не спрашивал. Я боялся почувствовать хоть какой-то стыд, который я, конечно, переживу сильнее, чем он. Я и сейчас — не понимая — чувствовал его сильнее, чем себя. Здесь, в этом царстве спокойствия, он словно накинул на свои нервы теплый покров тишины. Мы были наедине — рядом, одни в деревянном доме, стены, окна которого тихо дрожали от ветра, и что-то близкое, слишком чистое окружало нас — в этом тесном пространстве, как когда-то очень давно, в детстве, в собачьей продуваемой ветром будке, которой давно уже не существовало.

Мы уснули, не раздеваясь: камин не грел, мне казалось, что я тоже был за рулем всю ночь, как брат. Ночью, когда я открыл глаза, Вадим стоял у окна, спиной ко мне.

— Что там? — Я подошел и тронул его за руку.

— Тихо... — прошептал, не поворачивая головы, брат. — Видишь?

Он отшагнул. Я, посмотрев в щель между шторами, ничего не увидел.

— Ну? — тихо спросил брат.

Вдруг я заметил очертания автомобиля, он стоял сразу за нашим забором, в тени деревьев.

— Вижу... Это что?

— Пока не знаю. Может быть, просто кто-то приехал...

— Вадим... Они за мной...

— Но почему две машины, Гип? Два джипа, странное дело, а?

— Ты видел вторую?

— Да, вон там, слева. Если снова закурят, увидишь.

— Может быть, не к нам? — спросил я.

— Может быть. Надо подождать.

— Что же, ждать всю ночь?

— Тише... Я сказал — надо ждать. Сядь на диван, нечего тут торчать вдвоем.

Я заметил у стены, возле ног Вадима, темный предмет, напоминающий футляр, кажется, это был «Ремингтон» в чехле. Я сел на диван, взглянул на часы — было около трех ночи. Временами я закрывал глаза, продолжая бодрствовать в абсолютной темноте. Хотелось курить, но сигареты были далеко, в другой комнате, пришлось бы включить свет. «Ну как?» — один раз спросил я Вадима, но он не ответил. Он неподвижно стоял у окна, ровный, прямой. Камин остыл, было холодно. Я нащупал пальто — оно лежало рядом, надел его, стало уютней, теплей, и вдруг вспомнил Файгенבלата, Турцию, как мы мучились от жары. Я видел Босфор — поблескивающую поверхность моря, темные лица официантов, нереальные, слишком искренние улыбки зазывал — и вдруг сильно вздрогнул: изображение вспыхнуло, сон исчез.

Я вскочил и, еще ничего не понимая, смотрел на зашторенное окно, смотрел до тех пор, пока не услышал рев заработавших снаружи двигателей — сразу двух, трех, нескольких. Вадима не было, стоял только прислоненный к стене «Ремингтон» в чехле. Я подскочил к окну: белый «форд» Вадима задом выезжал со двора. Мне в лицо ударил свет фар, я отшатнулся, присел, закрывшись шторой, и видел, как они поехали за ним, две машины, два одинаковых джипа, один за другим. Прячась, я опрокинул «Ремингтон» и сидел на нем, коленями на кожаном чехле. Потом я встал и, держа «Ремингтон» в одной руке, вышел во двор, все еще слыша удаляющийся гул двигателей. Я подбежал к «Жигулям», открыл дверь, включил зажигание — машину трянуло, и двигатель заработал. Включив ближний свет, я выехал со двора. Машину трясло, я ехал по песку, боясь перейти со второй скорости на третью, только так я мог видеть следы, еще не занесенные песком. Потом я не выдержал, увеличил скорость, помчавшись неизвестно куда.

Потеряв следы, я попытался развернуться — двигатель сразу заглох.

Я выключил фары, повернул голову и увидел рассвет: над морем ползла серебристая полоса, в воде дрожали искры холода. Прошла минута. Я понимал, что дороги здесь нет. Впереди, слева и справа, все засыпано песком. Песок и ветер — словно живое пляшущее существо. Я выскочил из машины и побежал к указателю, он был метрах в тридцати. «Каролина Бугаз» — прочитал я, закрываясь руками от ветра. Табличка ритмично тархтела на столбе. Я вернулся в машину, застегнул пальто на все пуговицы и, помедлив, взял с соседнего сиде-

нья «Ремингтон». «Каролина Бугаз», — бормотал я про себя и все еще медлил. Ветер тихо барабанил в стекло, как человек.

Потом я вышел и сразу помчался в сторону от машины, нагнув голову и стараясь смотреть под ноги. Я понимал, что искать следует не возле железной дороги, где дачи и жилые дома, а здесь, на песке. Дважды я чуть не упал. Потом увидел отпечатки автомобильных шин — свежие, еще не занесенные ветром. Я бежал по ним, как по дорожке, и ветер стучал мне в спину — неистово, мелодично и зло. Полы пальто путались, мешая ногам, туфли вязли в песке. Краем глаза я видел серебристую стрелу рассвета, она розовела и все время выдавалась вперед, обгоняя меня. Потом следы резко свернули вправо и ветер задул в лицо. Но все же, закрывая лицо свободной рукой, я увидел впереди что-то светлое.

Пятно приблизилось. Я остановился — до белого «форда» с распахнутыми дверями и выбитым лобовым стеклом оставалось метров десять — и пошел, тяжело дыша, дальше, стараясь смотреть только вперед. Подойдя к машине, я положил на капот «Ремингтон», взглянул на брата. Запрокинув голову, он сидел на водительском месте, руки на коленях, застегнутый ремень безопасности перекинут через грудь. Странно, что он застегнулся. Я осторожно, обеими руками, приподнял ему голову, заглянул в открытый глаз — конечно, его приняли за меня, даже сейчас, весь в крови, он был совсем как я. Интересно, когда он подумал об этом? Может быть, в Москве? Или уже здесь, этой ночью, когда стоял и смотрел в окно. Вероятно, мертвый, я бы выглядел так же. Наверное, они стали стрелять в него сразу, с двух сторон — у «форда» были выбиты оба боковых окна. А может, Вадим специально спровоцировал их: внизу, под его ногами, в луже крови я заметил «Макаров». Мне не было страшно прикасаться к его голове, на которой сохранился только один глаз. Я не испытывал ничего, даже жалости, сразу поняв, что это случилось, — он мертв, его нет. Я его не чувствовал, но понимал — сейчас, после смерти. Может быть, я бы спас его, сказав или хотя бы спросив о сыне? Может быть. Тоскливо, смешно было оправдываться сейчас, в полном одиночестве. Я вернулся к «Жигулям», принес свернутую в рулон вместе с веслами лодку; когда я развернул ее, она показалась мне длиннее, чем та, из детства. Кроме того, я нашел в багажнике спальный мешок. Было темно, серебристая полоса на горизонте, чуть расширившись, застыла. С помощью резиновой подушки я накачал лодку — минут за двадцать. Чувство удивительно чистой реальности опьяняло меня; впервые, не оглядываясь и не смотря вперед, я жил простым слепым действием — сегодня, сейчас. Из «форда» я вытащил аккумулятор, положил его в спальный мешок, в ноги Вадиму. Я застегнул «молнию» на мешке и положил брата в лодку, бросил туда «Ремингтон», весла. Море было рядом. Почему-то казалось, что там светлее, чем на берегу. Я греб, быстро натерев мозоли, но все же отплыл еще не так далеко. Светало. Я греб, почти полностью промокнув, не чувствуя заледеневших ног. Мне казалось, что вода везде — может быть, уже пошел дождь. Потом я бросил весла, поднял брата, прижал его к груди, опустил ногами в воду и отпустил — он сразу ушел на дно. Следом я швырнул ружье.

15

Ведь прошло чуть больше года, а казалось, что я возвращаюсь в родной город из странствия, которому нет конца. Едва выехав на знакомую улицу, я уже возненавидел ее — за дождь, грязь, дорожные ямы, за низкие серые дома, за пирамиды терриконов на горизонте. Все было по-другому — как наваждение, как отвратительный сон. Люди — грязнее, пьянее, уродливей. «Дворники» моего «опеля» непрерывно работали, но все равно потоки мутной коричневой грязи заливали лобовое стекло. Встречных машин не было — да и откуда им взяться здесь, в мире землероек? За мной бежали только собаки — молча, по грязи, по лужам.

Вечерело. Я увидел забор нашего сада — он потемнел, краска облезла. Я посигналил. Мне показалось, что дом тоже стал темнее. Выйдя из машины, я открыл незапертые ворота и въехал во двор, как когда-то отец на своем «Москвиче». Звонок не работал, я постучал в дверь — от толчка она открылась.

Я прошел через темный коридор к гостиной, оставляя на полу грязные, мокрые следы.

— Эй, мама! — негромко крикнул я.

Где-то в глубине комнат работал телевизор. Кажется, в спальне родителей. Проходя по комнате, я вдруг заметил грязь — сухую, нетронутую. Моя комната, Вадима... Вот спальня. Постучав в дверь, я приоткрыл ее.

Отец сидел в кресле, смотрел телевизор.

— Папа,— сказал я,— папа!

Отец медленно повернул голову. Я видел, как побежали морщины по его лицу, освещенному бликами телеэкрана, его губы раздвинулись, глаза раскрылись шире. Улыбаясь всем ртом — я увидел, как мало зубов у него осталось,— он, как мальчик, легко соскочил с кресла, быстро подошел ко мне и обнял, поцеловав в макушку, потом в щеку — я почувствовал, что он небрит.

— Сын,— говорил он, захлебываясь,— ты приехал, родной мой...

— Как у вас дела? — спрашивал я, снимая туфли.— Я не разулся... я удивился: почему не закрыта входная дверь?

— Ах, да, я, верно, забыл закрыть ее, перекапывал огород — и забыл...

— Да я захлопнул, папа.

Мы перешли в гостиную, сели на диван. Отец расспрашивал меня о том, как я учусь, чем подрабатываю, где живу. Я рассказывал ему о чем-то.

— Ты голодный,— вдруг засуетился он,— так, надо поесть, сейчас, сейчас.

— А где мама? — спросил я.

Отец вытянул, оттопырив, губы и медленно развел руками.

— Она тварь,— сказал он негромко, задумчиво.— Я не хотел тебе говорить, сынок, но она живет у какого-то мужика. Да черт с ней! Мне пятьдесят девять лет, и я с ней прожил тридцать, не знаю... Она мне всегда изменяла, еще даже когда Вадька не родился...

— Ладно, не страшно,— сказал я, глядя в сторону и улыбаясь.

— Ну что мне с ней было делать? — спросил отец нас обоих.— Я ее даже ударил, а теперь — все равно. Разводиться хотел, а потом подумал: куда? У меня язва, ты же знаешь, она сидела ночами у меня в больнице. А потом, когда полегчало, она стала к нему, к этому, ходить ночевать. Они даже здесь ночевали, в нашей спальне, представляешь? Я ее ненавижу. Ты, может быть...

— Не надо,— сказал я,— я уже большой.

— Вот и хорошо. Ты большой. И хорошо, что на шахту не пошел работать.

— Работы нет?

— Нет. Считай, что я на пенсии. А она и ушла, скотина, мать твою.

— А машина как? Ездишь?

— Ржавеет. Дорогой бензин. Да и куда теперь ездить? Но это ерунда, сынок, ерунда. Я живу один, и мне хорошо. Ко мне сослуживцы часто заходят, и я к ним... Я, знаешь, читать тут пристрастился, все книги наши перечитал, теперь у соседей беру. И телевизор — теперь интересные передачи. Так что мне хорошо, ты не думай. А есть сейчас будем.

Мы пошли на кухню, отец открыл холодильник и задумчиво сказал:

— Ну вот, посмотрим, что нам тут мама оставила...

— Мама?

— Да.— Он вытащил из холодильника одну за другой две кастрюли.— Она приходит иногда, раз в неделю, готовит, продукты приносит, хотел я ее послать подальше, да ладно...

Разогрев тефтели и борщ, мы принялись есть. Ел отец быстро, шумно, некрасиво, как всегда.

— Ты же знаешь,— говорил он,— она молодая еще, ей сколько? Сорок восемь, что ли, она обожает хорошо жить...

— А ты? — спросил я.

— Я тоже. Но пожили, будет. А хоронить она меня придет.

— Ты что, отец? — крикнул я.— Тебе же только пятьдесят девять! Что ты несешь?

— Да поживу я еще, поживу,— улыбался отец щербатым ртом.— Главное, ты учись.

— Я-то учусь. Только, как вы живете, мне не нравится. Ты знаешь, где она сейчас?

— Мать? А как же. Здесь, недалеко.

Выслушав отца, я сказал, что мне надо ее увидеть.

— А... давай, сынок,— сказал он задумчиво,— как хочешь.

В окнах дома, где жила мать, горел свет. Я поднялся на крыльцо, позвонил. Вышел мужчина, грузный, невысокий, от него разило спиртным, за его спиной было шумно — хором пели, смеялись.

— Ты кто? — спросил мужчина. В темноте я разглядел, что он лысоват.

— Я хочу видеть свою мать,— сказал я.

— Ага! — Мужчина кашлянул.— Вадим?

— Нет, я...

— А... младшенький.— Мужчина, качая головой, смотрел мне под ноги.— Валерка, значит... Я ж тебя на руках носил, помнишь?

— Нет,— сказал я громче,— позовите мать.

— Да сейчас, сейчас, Валерка.— Мужчина качнулся вперед и оперся на мое плечо.— Ты заходи, у нас тут вечер, все свои, весело, давай вытирай ноги.

— Нет, мне мать.— Я убрал его руку.— Я на минутку, спешу...

— В чем дело, Лев? — спросила мать, появившись за его спиной. Она была выше его, волосы перекрашены, завиты. Увидев меня, она ярко улыбнулась — все зубы белые, ровные, целые.

— Иди, иди, Лева.— Она осторожно взяла мужчину за плечи, развернула и легко подтолкнула в спину.— Иди, я сейчас.

Мать была в платье, похожем на халат; полы ткани, распахнувшись, обнажили ее правую ногу, которую она выставила вперед. Скрестив на груди руки, она прислонилась к дверному косяку и, улыбаясь, смотрела на меня.

— Ну,— сказала мать,— здравствуй, сын. Приехал?

— Приехал.

— У отца был?

— Был.

— Все нормально?

— Все нормально.

— Ты извини, что не целую,— сказала она,— вижу, что тебе не хочется.

— Отчего же? — Я пожал плечами.

— Ну, тогда иди сюда.— Она притянула мою голову к себе и поцеловала где-то возле губ.

— Иди домой,— сказала она,— я завтра приду. И отцу скажи. Я бы тебя пригласила сюда, да ты, конечно, не хочешь.

— Не хочу.

Сказав «пока», я спустился с крыльца, прошел по дорожке к калитке, вышел на улицу и вернулся домой. Отец смотрел телевизор. Он опять забыл закрыть входную дверь. Я улегся в своей комнате, но ночью, часа в три, пришел в комнату Вадима. Здесь все было по-прежнему — с тех пор, как он уехал, здесь только, вероятно, подметали и мыли пол, но обстановку не трогали. На стене, напротив дивана, висело пять или шесть цитат. Я подошел ближе и узнал их — те самые, о которых я его когда-то спрашивал и он мне уклончиво отвечал. Слева, в книжном шкафу, я увидел среди книг дневник Вадима, взял его и стал читать, забыв обо всем. Я читал до рассвета, а потом, плохо понимая, какой сейчас час и почему я здесь нахожусь, добрал до своей комнаты и упал на расстеленную постель.

Через три дня я сказал отцу, что мне пора ехать. Он спросил, почему так рано, и я сослался на университет, в котором, кажется, уже не учился.

Было часов шесть утра. Я зашел в комнату брата, чтобы оставить дневник, который раньше собирался взять с собой, ведь я его прочитал. Я положил тетрадь на полку, оглянулся и увидел освещенные солнцем цитаты — среди них была та, про которую Файгенблат сказал, что она неправильная. Я подошел ближе и прочитал: «И сказал Господь Авелю: где Каин, брат твой? Бытие 4.9.»

Собираясь, я оставил отцу деньги, он долго отказывался, не хотел брать, потом все же отнес их в спальню, вернулся и шепотом спросил меня:

— Эти деньги передал Вадим?

Помедлив, я уже на улице ответил, что да, он.



И после смерти петь...

Боль

На ночном перроне
Продавали боль —
Девять граммов пачка
И впридачу соль.

Я купила десять,
Чтобы про запас,
В очереди долгой
Простоявши час.

Опоздав на поезд,
Позабыв вагон,
Перепутав город,
Потеряв перрон.

Заблудясь во мраке
Множества мостов,

Улиц без названий,
Домов без номеров.

В странную квартиру,
В дверь под цифрой «ноль»
Я вошла без стука,
Не назвав пароль.

Выключила лампы,
Чтобы не смотреть,
Выпила все сразу,
Чтобы умереть.

Десять пачек боли,
Десять банок слез,
Город без названья
И полночный мост...

Колокола

Колокола ласкают звоны
Медными языками,
Медленно, сонно стонут,
Выкатывают звуки,
Вырокатывают, вызвякивают,
Ласково порыкивают,
Птичками подчирикивают,
Ласкают звуки колокола,
Таскают звуки колокола,
Туда-сюда, сюда-туда,
И так — до Суда.

Все мы ходим под Богом

Все мы ходим под Богом,
А Бог — он у нас под боком,
Ни далеко, ни близко,
Ни высоко, ни низко.

А мы-то ни сном, ни духом,
А мы-то ни рылом, ни ухом,
А к нам-то стучаться глухо —
Земля возле рыльца пухом,

Идем над падшей листвою,
Возвысившись над Москвою,
Красивые и босые,
От пива слегка косые.

Ищем Бога далеко,
Свищем его высоко,
А он — голубок на ветке,
А он — желобок в конфетке.

А мы-то ни сном, ни духом,
 А мы-то ни рылом, ни ухом,
 А к нам-то стучаться глухо —
 Земля возле рыльца пухом,

Идем над падшей листвою,
 Возвысившись над Москвою,
 Красивые и босые,
 От пива слегка косые.

Что ты будешь делать

Что ты будешь делать,
 Когда превратится в притон твой дом,
 Что ты будешь делать,
 Когда твой город превратится в Содом,
 Что ты будешь делать
 На пепелище этих миров,
 Под ищущей пищи стаяй ворон,
 Среди потерявших кров
 Рабов и воров —

Ты будешь играть на флейте!

Что ты будешь делать,
 Когда ты будешь босым и нагим
 Перед входом в дым —
 Открой Сим-Сим,
 Здесь был дом, но ему не хватило воды,
 Что ты будешь делать
 С этой войной, чумой, крезой, тюрьмой,
 Возвратившись домой
 Не тем, кем ты был,
 Но не тем, кем ты стал,
 Милый мой —

Ты будешь играть на флейте!

Имей терпенье, детка

Имей терпенье, детка,
 Терпение иметь,
 Имей терпенье, детка,
 То сметь, а то не сметь,
 Имей терпенье, детка,
 Молчать и не хотеть —
 Смеяться после смерти
 И после смерти петь,
 А то нам
 Всем будет крышка,
 Решкой ляжет фишка,
 Всем нам будет вышка
 От пули до звонка,
 Все мы хватим лишку,
 Скажу не понаслышке:
 Ждет нас не передышка —
 Дубовая доска,
 А пока

Имей терпенье, детка,
 Молчать из-за стекла,
 Имей терпенье, детка,
 Не рваться из угла,
 Имей терпенье, детка,
 Имей — и все дела —
 Я тоже, может, хотела,
 А все же не смогла,
 А то нам
 Всем будет крышка,
 Решкой ляжет фишка,
 Всем нам будет вышка
 От пули до виска,
 Все мы хватим лишку,
 Скажу не понаслышке:
 Ждет нас не передышка —
 Дубовая доска.

Ангел смерти

Если пушки в цене,
Значит, дело к войне —
Кто не хочет платить,
Тот заплатит вдвойне.
Если в небе свинец,
Значит, скоро конец —
Весть еще не пришла,
Но в дороге гонец.

Ангел смерти летит

Если рана в груди,
Все еще впереди,
Позади только жизнь,
С остальным подожди,
Если больно дышать,
Позови свою мать,
Кровью зов напиши
И с тех пор не дыши.

Ангел смерти летит

Будет светлою даль,
Будет белой постель,
Где седая печаль,
Где зеленая ель.
Только крест над холмом,
Где последний твой дом,
А наследство-то все —
Только стрем и облом.

Ангел смерти летит

То, что было вчера,—
Каша из топора,
Горький мед из любви,
Бред под крики «ура».
Все, что будет сейчас,—
Неба огненный глаз,
Пальцы, сжатые в стон,
Дым от брошенных фраз.

Ангел смерти летит

Песни порванных вен,
Пляски новых измен,
Флаги над головами
Не вставших с колен.
Через тело дождя
Каждый выстрел в тебя,
Это время слепых,
Бьющих время поддых.

Ангел смерти летит

Не спеши умирать,
Не спеши убивать —
Может быть, кто-нибудь
Возвратится назад,
Чтоб узреть в небесах
Крыльев огненных взмах,—
То господень гонец
В золотых облаках.

Ангел смерти летит

Бой-мальчик

Не плюй в прибор, мальчик,
Бой-мальчик,—
Еще пригодится утопиться
В соленой водице.
Не плюй в огонь, мальчик,
Он — мальчик —
Будет прощаться, но не простится,
Что загорится.
Ты не можешь знать, когда настанет
Твой последний в жизни трах,
Ты все о бабах и о вине,
А пушки — все баба́х, все о войне,
Ты успел забыть, как выглядят дети,
Деды сморкаются левой ногой,
А пушки победы играют отбой —
Спой, сыграй, веселый изгой!
Раскаются бои,
Раскаются геи,
Раскаются гои и евреи —
И настанет общий Ой.

Фига

Немые умеют летать,
 Слепые умеют плакать,
 Глухие могут молчать,
 Плохие добры к собакам,
 А я не умею петь,
 Зато я играю на флейте,
 А ты умеешь сопеть,
 А вы — ничего не умеите!
 И нам все равно хорошо —
 Мы вместе такая фига:
 Умеет дышать большой,
 А маленький может прыгать,
 А средний носит кольцо,
 А безымянный с ним в паре —
 Мы все сохраним лицо
 И в грязь ни за что не ударим.

Фарфоровая девочка

Фарфоровая девочка, гуляющая с собакой, — это я.
 Облитая белой глазурью девочка с собакой белой — это я.
 Гуляющая около зеркала девочка — это я.
 С отбитой рукой безмятежная девочка с собакой белой — это я.

Вот те раз

Вот те на, Что за времена — Курицы летают, Днем горит луна!	Не было печали — Отпала голова. Вот те три — Кожа внутри, Потроха наружу — Хоть не смотри.
Вот так да — Вверх течет вода, Мертвые все знают, Да молчат всегда.	Это что — Ходит пальто, А зачем и куда — Не знает никто.
Вот те раз — Никто нам не указ, Хотим расцелуем, Хотим дадим в глаз.	Вот те пять — Пора кончать, Обернемся, развернемся Да начнем опять!
Вот те два — Зимой растет трава,	

Наступает время

Но наступает время нам на пятки, на горло и на хвост.
 Бери свои манатки — нас кинули, нам кинули кость.
 Играет музыка в прятки, бежит во все лопатки вода.
 Бьют часы по морде словами «сейчас» и «никогда».



Два рассказа

БАБЬЕ ЛЕТО И НЕСКОЛЬКО МУЖЧИН

Часть I

ОТ АВТОРА

Бабье лето засиделось у нас в гостях. Окно мое вечно распахнуто, и с рассвета ко мне заглядывают косо освещенные деревья. Но и холодком тянет тоже. Свежее синее небо обещает безоблачный день, боюсь, не сдержит своего обещания. И почему, вас спрошу, литература отвернулась от жизни и природы и занялась сама собой? А как замечательно было читателю Ивана Тургенева читать про осень, а на дворе весна, и солнце — другое солнце, и мокрядь, но другая мокрота — и кашель, и капель!.. Почему мы оставили эту привилегию описывать что-либо соцреалистам? Ведь их скорее всего и перечитывать не будут. Или какой-нибудь модернист возьмет и переделает все по-своему. И осень у него будет похожа на весну, весна — на осень, а герой и вовсе ни на что не похож, так — загогулина. По совести говоря, у самого руки чешутся. Нет, пока просто и честно опишу все, что стоит перед глазами: хотя, трогая струны души читателя, как писали в девятнадцатом, можно скорей оживить эти строки и приблизить их к жизни. А если не трогать, если оставить читателя в покое?

1

В парке на берегах появились, высветлились первые желтые косы. Мощно кипами с краю коричневеют клены. Эти розовые, а вот, хоть и солнце на него не попадает, висит среди веток весь лимонный на просвет кленовый лист. Липы желтеют не спеша, выборочно, с достоинством, благородные дворянские деревья.

Но вот полетела с высоты лиственная мелочь, какие-то эфемерные погоны, медали, смахнешь с куртки — просто сор. Постой, подыши осенью.

2

Отец, помню, рассказывал мне про войну. Въехали в немецкий городок рано утром. Туман, тишина. «Останови», — говорит шоферу. Вышел из кабины отец: мостовая наискось, тротуар и сразу — дубовая дверь в лавку. Попробовал — не заперта, видно, хозяин сбежал, боялись нас немцы. Вошел, фонариком подсветил: чудеса! В ювелирную лавку попал. И все на своих местах, все цело, мерцает. Отец недаром старшиной служил, прямо с витрин горстями часы, ожерелья, всю сверкающую мелочь стал сгребать в свой солдатский вещевой мешок. Медлить нельзя было. Минометный обстрел начался.

Увязал отец мешок и забросил его в кузов полуторки. «Погоди», — сказал шоферу. И отошел пописать за угол, хоть и в тумане. Как шархнет! Шофер

убит, половины кузова как не бывало. Пропал клад. А отца спасла городская его привычка: не ссать прямо посреди улицы.

А сегодня я подумал: вдруг это чудо — все эти часы, золото и бриллианты сплавилась тогда в один слиток (чего на войне не бывает!) и перенеслись силой взрыва лет на пятьдесят вперед. Выйду я сейчас в осенний парк и увижу слиток, поблескивающий на темной мокрой дорожке.

3

Гляжу на большие заржавые листы ольхи и каштана, полукругом налипли они на мокром асфальте. Это осень разложила мне веер листьев, и я доволен: сплошь благородные короли, дамы — бубны и черви. И я при своем интересе. Бубны, правда, не гремят, зато черви роют свое, роют.

Погадай мне, осень, о прошлом. Какое нагадаешь, такое и будет.

Интервью.

ГАЛЯ АККЕРМАН. Ну а дальше?..

ГЕНРИХ САПГИР. Дело в том, что очень быстро получилось так, что началась война. Я уехал в город Александров, где тогда работал отец. (Жил в Москве, а работал в Александрове.) Так что мы с матерью и хромящим отцом (в одной из своих поездок он был ранен в ногу), что называется, эвакуировались — за сто километров в тот самый день, когда немец подошел к Москве, 16 ноября. Помню, ахало, ухало, огромные алые — ночью стояли алые горизонты, там был фронт, был виден — бесконечные налеты, бомбы летали и падали всюду...

Безвластие было в Москве. Все раздавали, я прекрасно помню, как из магазина с мешками бежали взрослые, подростки оглядывались. А никто за ними не гнался.

ГАЛЯ АККЕРМАН. Как же так?

ГЕНРИХ САПГИР. Просто раздавали населению рис, муку, сахар. А войска уходили — обозы с лошадьми, пушки везли, уходили. По шоссе. Через центр.

И тут же шли в обратную сторону, но не эти люди, а совсем другие: обученные сибиряки в добротных полушубках с автоматами за спиной, с лыжами на плече. Я теперь думаю, война любит хорошую, вкусную пищу, правда, стариками и детьми тоже не брезгует...

Эти, отступающие, шли — такие потрепанные, усталые... Какого-то рыжего немца вели, может, австрийца, я не знаю, такой снежок легкий падал...

ГАЛЯ АККЕРМАН. А...

4

...А то летит зеленый листок. Еще и пожелтеть не успел, черенок уже слабо держится, не тянет соки, омертвел. Мне кажется, дереву облететь не больно. И ветви устали за лето нести груз листьев. Сбросить все — и дело с концом!

Из письма.

... стихи, без сомнения, реалистические, но уже в особом творческом аспекте с новыми, свойственными только вам гармониями. Вот тут реализм сам говорит за себя, как самое страшное, в скрытом, как бы бредовом, надреальном состоянии.

Обычно за реализм считают тот глубокий сон, когда все ясно, и понятно, и просто, и даже мило, и даже хорошо.

Но во всех и во всем еще есть некое, как ужас, пугающее, скрытое, но вдруг выявляющее свою тайную личину.

Мы подсознательно стремимся к пробуждению — нам страшно, но некое тайное нас толкает на это. Это пробуждение от сна мирной реальности к скрытой реальности мы чувствуем как неизбежное, неотвратимое.

И недаром же все мы отдаленно, как некую проблему, чувствуем: смерть — пробуждение. И болезни нас томят, и кошмары, и одурманиваем мы себя алкоголем, табаком, морфием, элениумом, кокаином, потому что та тайная реальность и подлинная, кажущаяся сонной реальность нашей повседневности зовут нас к пробуждению.

Трансцендентальный реализм — это реализм нашего интеллекта, но вот реализм тайных эмоций страшен, неотвратим и неизбежен: он неизбежен!

Конец лета был zelo хорош, но теперь уже все, кончено.

Осень.

Желаю успеха.

Ваш Евг. Кропивницкий.

5

Он вычертил линию своей жизни еще в Харькове, как схему пистолета-пулемета, которая висела на стене его комнаты, которую он снимал в Москве, рядом с портретами Мао Цзэдуна и Че Гевары, которые были его юношескими идеалами, которые... Он прочертил эту линию так же добросовестно и ровно, как шил тогда брюки или сшивал тетрадки своих стихов.

И пролегла она, линия, длинная, как его подруга, — одни ноги: Париж где-то у колена, педикюр в Риме — вскидывая вверх, через океан, уперлась в Бродвей, стройные лядвия — икры-лодыжки-ступни.

А потом эта линия бросила его, как, впрочем, и та женщина, это была женщина-линия, и она не могла, чтобы стал ее парень просто политиком. Вытянув ногу, она подкинула его и забросила на пятый этаж в маленькую полуквартирку-полустудию на улице Мазарини, эмигрантский быт.

А ведь он ей всегда был верен, он любил все ее изгибы, никогда не мог себе позволить: «К черту линию!» И когда в засаде там, в Сербии, он следил взглядом мягкие линии гор или когда очутился ниже ватерлинии корабля и захлебывался соленой водой, когда бил себе по пальцам линейкой, еще в детстве, чтобы научиться терпеть, он служил своей линии жизни, а она ему, можно сказать, всегда изменяла.

Иначе седеющий, коротко стриженный, в черной косоворотке — почему он не президент? Почему он только писатель? Интересно, убил ли он кого-нибудь или так и промечтал всю жизнь? Убить не запланировал, думаю, а то бы убил.

6

...на Алтае в городе Бийске, где никогда потом не был. Просто родился. Что за карты выпали отцу — страстному игроку и нэпману тогда: такой расклад или виноват усатый?

Горы вдали уже порыжели и побурели, как сейчас не помню. Шли долгие дожди, и мне явно не хотелось появляться на свет. Но время пришло, ничего не поделаешь. По случаю моего рождения отец созвал в гости весь город: и толстого владельца завода «Ландрин», и его тощую манерную жену, и первого секретаря, и его подхалимов, и хозяина обувного магазина, с которым постоянно имел дело, всех не запомнишь. В общем, были все: такие усатые, бритые, страшные — и тыкали в меня пальцем. А я смотрел на них круглыми глазами и все не мог к ним привыкнуть, до сих пор не могу.

Мишке — среднему брату — было девять, а Игорь был постарше — тому десять исполнилось. Два мальчика в матросках бегали между гостями, ползали под стол, в общем, радовались по-своему. И тут Мишка, негодяй, уговорил серьезного Игоря подкрасться к маме, стать за ее стулом, притаиться. И вот наступил торжественный момент. Один из отцов города, краснолицый в кителе сибиряк, встал и произнес прочувственную речь, посвященную моей маме — красивой женщине, надо сказать. Все поднялись чокаться, и мама тоже: в одной руке хрусталь, другой прижимая запеленутого меня к груди. И тут Игорь выдернул стул из-под мамы, чтобы смешнее было. Семейное предание гласит, что выпороли обоих: Мишку и Игоря. Этого всего я не помню, но больно мне до сих пор. И когда великий киноактер произносит с экрана: «Когда моя бедная мама уронила меня с четырнадцатого этажа», — я чувствую в нем нечто родственное.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

Все шевелится вверх и вниз — и вдруг все стихает. Не так уж там вверх поредело, а столько листьев набросано, как на поле сражения. Если пригля-

деться к ним, сохлым и жухлым,— судороги, муки агонии, рваная плоть, все вповалку — Бородино какое-то. И туман стоит...

— Крыша поехала! Крыша поехала! — кричал кто-то так пронзительно, даже оскомина во рту.

И действительно, крыша старого здания на площади поехала, приподнялась, и все утонуло в сумасшедшей пыли и грохоте направленного внутрь взрыва. И зачем вспомнил?

«В доме Т. Оглы на ул. Ползунова, 9, главарь банды приказал хозяйке...» Дочитать не успел, сегодня особенно сильный ветер, унесло обрывок газеты. И хотя мне было любопытно, что приказал, не гнаться же по переделкинским улицам за белым клочком и не ловить же его на ветру.

Но все-таки что приказал придурок? Мне кажется почему-то, что ползать. Почему ползать? А почему на улице Ползунова? И кто такой Ползунов? И куда делась вся моя жизнь вплоть до настоящего момента? Лишь ползают вокруг истлевшие дубовые листья, подползают ко мне... Усталость подкрадывается. Боюсь, вдруг обрушится все, как это старое здание.

7

С вечера шел дождь, и не «тихой переступью», а шумел вверху по крыше ровными накатами океанских волн. Поэтому бар, где мы обычно собирались втроем, в подвале, мы так и прозвали: «Подводная лодка».

Достойные обломки шестидесятых, разбитые инфарктами, инсультами, вообще потрепанные жизнью, мы пили черное молдавское: «негро пуркару». Пить мы умели и выпили за свою жизнь много.

Драматург с блеклыми, запрятыми в складки кожи глазами, подсмеиваясь сам над собой, рассказывал, как еще тогда здесь, где мы сидим, какой-то неизвестный горский писатель, пишущий на никому не известном горском языке, горячо уговаривал его лететь в Дагестан и, разгоряченный коньяком, обещал просто царский прием. И как драматург полетел туда со своей любовью, со своей тогдашней любовью, тогдашний процветающий он. А на деле роскошный прием оказался захудалой гостиницей с тараканами, уборная на улице, и даже полотенец достать было невозможно. И ему там стало плохо, ему стало плохо, тогдашнему, процветающему. Я не спрашивал, каково было его женщине, потому что со мной была такая же история в Гаграх. Мне казалось даже, что мокрое белье, клопы и тараканы у нас были общие. А третий — скромный, «мужичком», писатель — сочувственно помалкивал. А главное, та, которая летала с ним тогда, была и сейчас рядом. За стойкой бара сильно накрашенная и, кажется, еще привлекательная. Слышала она или не слышала? Или слушала, как шумел вверху хвойный подмосковный океан?

8

Засохший листок в сеточку, вся мертвая ткань выпылилась, а прожилки остались, держат основу.

Такое же было лицо очень старого писателя, одессита, аристократа пера, ну, конечно, была в нем подлость, была, но столько прошло, столько выветрилось со временем, столько похоронил. Теперь от него веяло забытым благородством, и даже старческий запах кипариса, душистого табака, потертой шерстяной ткани — все располагало к нему. А главное — с какой безразличностью и презрением, с какой ненавистью он смотрел через стол на своих визави — советских «письменников». Длинный стол был накрыт в саду. Стоял еще август или уже сентябрь, было сухо. Вдали виднелась дача-особняк.

А как просветлели, как дьявольски повеселели твои глаза, когда молодой худосочный поэт-цуцлик напился и полез цыплячей грудью буквально на стену, на штангиста — чемпиона Союза, друга хозяина. Распалая себя в праведном гневе, он выкрикивал нечто нечленораздельное, но очень обидное для всех присутствующих. То, что думал ты про них всегда. Чемпион так удивился, что стал успокаивать юнца. Под шумок цуцлика выкинули. «Не приглашать больше!»

Как ты ему завидовал! Пойдет — и больше «не приглашают». Если бы ты был этим болваном-штангистом, ты бы всех запросто передал.

Тополиную тлю, оказывается, и давить не надо. Поставишь большой па-лец, чуть касаясь, сама под ним шелковой пылью рассыпается.

Ползет по столу поздняя божья коровка. Вдруг остановилась, замерла, лежит мелким камешком. Вот оно что. Кисть моей левой руки шевельнулась, как ожившая гора.

Боже, для каких-то существ я — большая гора. А сам всего-то хуже чем боюсь, опасаясь.

9

Живет вверх от Сретенки в пыльном переулке, во дворе, с давних времен стареющий, но все еще не старый поэт. Тощий седой джинсовый парень. Иногда думает обо мне. Думаю, не может не думать, потому что дружим всю жизнь.

Как тебе я и моя осень представляются? Как мимолетные тени? Вообще одни слова или вполне реально? Вот я вышел прохладным утром из двухэтажного дома в парке. Дом как на ладони — на асфальтовой площадке — салатово-белый с ненужными колоннами, помещичий дом пятидесятых. Вот я здороваюсь с гуляющими, отдыхающими, работающими, то есть размышляющими на ходу, притворяюсь, что знаком, что помню их. А кое-кого я помню очень хорошо, и, ты понимаешь, встречи с ними я стараюсь избежать.

Ты видишь меня со спины: углубляюсь в парк. Оглянулся: никого. И поскокал по дорожке козленком. Веселый, толстый, усатый, схватил в зубы обломанную ветку, встал на четвереньки и погнался за хвостом мелькнувшей в кустах собаки. За розовой сойкой лечу, мы мелькаем в чаще — два пестрых пятнышка. Упал, зарылся в сухую листву, мне нравится, как она шуршит. Подбрасываю вверх листья. Мне хорошо.

И никто не видит меня. Только старый мой друг из окна своей московской квартиры во дворе Ананьевского переулочка.

В другое, гораздо более раннее время взрослые девочки на нас, маленьких, надевали кленовые венки. Короновали. И вели на самый верх белой московской колокольни. Вереницей детишек. Мы играли — во что, не помню. Но так было надо. Карабкались. Высокие ступени, чья-то липкая ладошка в руке, синее-синее над Москвой.

10

А как видит меня теперь еврейский поэт, покойный Овсей Дриз? «Я издал полное собрание моих зубов!» — шутил он, возвращаясь от стоматолога, незадолго перед инсультом. И у него получалось: шобрание.

Полное собрание его зубов осталось в земле на Востряковском кладбище. Неправдоподобно густая шапка седых волос всегда казалась мне париком. Костюм сидел как на вешалке. А сам-то он где?

На другие кости небось нарастил новое мясо, и бегаёт теперь смуглый до черноты мальчуган по серым худосочным холмам возле израильского поселения. Долго стоит и смотрит на ослепительную полоску моря вдаль. Нет, не может он так расстаться со всем этим и еще одну жизнь проживет.

А если пока не пришло время, он видит меня очами своей души. Сквозь бледные кленовые листья на просвет — моя фигура. И оно, мое тело, лунно-прозрачно: сквозит прошлое, будущее и все милое ему на земле.

11

Жил-был человек. И так прожил свою жизнь, будто и не жил никогда. А может быть, жила-была пустота?

Эту сказку я каждый раз себе рассказываю перед сном. Тогда и засыпать не страшно.

Пустоты все обширнее там, среди верхушек берез, а здесь еще пируют, захлебываясь яркими красками, кусты и осинки. Во всяком случае, как налетит поверху ветер, аплодисменты слышу. Осыпаются аплодисменты.

Красный обшлаг желтого рукава заслонил на мгновение бокал. Когда отошел злодей, бокала на итальянском столике уже не было. Да он еще и фокусник!..

Моцарт был такой пухлый, бритый и наглый, будто он сам — Сальери... Он ткнул пальцем в клавиши, актер явно не умел играть, даже подобия не вышло, лучше бы не касался...

Я хотел бы, чтобы Сальери был этой грустной осенью, а Моцарт — голубым беззаботным небом...

Пусть поднимется этот красно-желтый атласный занавес и все листья улетят в небо. Как птицы...

Тогда останемся мы на земле одни — заметные мишени. Хорошо, если в сторону за березу пописать отойти успеешь.

Часть II

НЕ ОТ АВТОРА

Я не автор, даже не человек, просто я могу заглянуть в его рукопись. Какие-то наблюдения, воспоминания, причем не все его лично. Из этой мозаики он хочет склеить нечто единое, по настроению хотя бы. Не новая идея. «Бабье лето и несколько мужчин», — крупно начертил-напечатал вверху страницы. Не знаю, можно ли меня назвать мужчиной, но, несомненно, я активное создание. Так и подмывает меня вмешаться в его рассказ и сразу после его строк поместить свои. Я ведь тоже впечатлительный по-своему. Это можно будет сделать ночью, когда он спит в стороне таким бугром одеяла, в комнате холодно. Он закутался с головой и не увидит, как на компьютере сам собой появляется текст, компьютер негромко гудит. У него он постоянно включен.

1

Странные люди, они дышат осенью, хотя известно, что временем года дышать нельзя, это достаточно отвлеченное понятие. Эти люди все путают. Скажем, поэт вплетает толстые витые женские волосы между ветвями березы. Метафора — странная идея. Чисто человеческая. Я бы осень нарисовал так:

Березы, осинки, сосны, кустарник, сторож, гуляющие, дорожки, небо, собака, автобус. Желтеют, краснеют, темнеют, зеленый, ругается, смотрят, уходят, синее, бежит, едет. Эти и эти, там и повсюду, тот и туда, оттуда и громко, нежно и быстро, вонючий.

2

То, что автору рассказывал отец про войну, — обычный случай. На этом месте встал — убило, перешел на другое — спасен. Это просто варианты перемещений и траекторий. И стоит только подняться немного над реальностью, можно увидеть все целиком. Но человек в пути, ему некогда видеть все, как оно есть, даже взглянуть кругом не всегда себе позволяет. Он постоянно глядит в себя, а в себе он видит вселенную, и его не смущает, что таких вселенных множество. Одна вселенная спотыкается о другую, одна другую вытесняет, и приходится признать: одна уничтожает другую. И все эти вселенные — одна-единственная. В их физическом мире этого не может быть. Но у людей мистическое сознание, и они живут вовсе не в мире, а в своем сознании.

Я бы выстроил воспоминания отца так:

Я, не теперь, а тогда: война, Германия, красивые лужайки, особняки крестьян, неправдоподобно красиво, живут же люди, утренний туман, куда-то едем, похоже, город, подожди, я сейчас... Боже мой! Никогда не видел столько золо-

та и бриллиантов! Взять, имею право, а что? Победитель, ведь они у нас, я богат, надо еще дожить, доживу, бьет, сволочь, близко, не успеть, успел, все забрал, спать хочу, подожди, надо убрать, Господи! Я богат, ну, давай писай, писька, миллионер «от головы до ног», почему Шекспир? Рядом ударило, ну, кончай свою струю, что же товарищи? Где же мешок? И машину разнесло, а могло бы меня, где это? Что ж это, ведь я же в мешок и завязал крепко, сволочи немцы, будто приснилось, надо искать своих, проклятый туман!

3

К третьему отрывку. Здесь даже сказать нечего. Человек постоянно находится в неведении насчет своего прошлого, какое оно было. Помнит далеко не все, а как ему надо, так и складывает свое прошлое. То любит, то ненавидит, в зависимости от. Любопытные узоры получаются. А государство? Как выгодно сегодняшним чиновникам, так они и выстраивают историю. Оппозиция кричит: погодите, все было не так; все было совсем наоборот! И оба относительно правы. Потому что было все. Все, от чего бежит изворотливый ум, который постоянно нуждается в допинге, в самооправдании, тогда у него появляются цель и силы дальше жить. Если бы я был человеком, я бы сказал, что разум — это самозванец Дмитрий, который внушает всем и себе, что он царь. Притом сам чувствует свое самозванство и каждую минуту боится, что его свергнут с трона. Но будет ли идущий за ним царем, а не еще одним самозванцем? Скажете: метафора? Нет, до метафоры я не дорос, просто аллегория.

Интервью я бы изобразил так:

Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман, Генрих Сапгир, Галя Аккерман.

Александров, Москва, Александров, Москва, Александров (в перспективе).

Утро, снежок, ахает, ухаает, страшно, но здорово, мать тыркает, отец хромает, я смотрю: страшно интересно. Лошади, подводы идут через Москву, это же праздник, иллюминация, весело-весело, грабят, несут, мешки, коробки, бутылки, все такие занятые, а эти растерянные, могут убить, русские, австриец, солдаты, пленный, ребенок, я, кто я? Сам, сам, сам! Вечный, радостный! Никогда не убьют.

4

Автор смотрит на падающий зеленый листок. Здесь его посещает мысль о довременной смерти. А дерево, видимо, род человеческий. Нет, это опять он сам, несущий груз своих грустных мыслей. Грустных — груз. Грустеподъемник, грустянин, грустевик. Возникают слова, я представляю, что это такое. Грустевик — грустный человек, весь обшитый грустью, как броней. Он еще и груздь — такой большой, такой лесной и неподъемный. Грустевик прячется где-то в развалинах, подстерегает ничего не подозревающего старика или влюбленную пару, чтобы выстрелить из грустя. И сразу из прошлого выскочат фантомы — любимые женщины, близкие люди, умершие уже, и начнут отщипывать по кусочку души. Неприятное зрелище для таких, как я. А вам, людям, это даже нравится, вся эта грустятина. Вы живете в том, чего нет да и не было никогда, в том, что вы сами придумали на досуге. А вы говорите, метафора.

Конечно, некоторые из вас чувствуют иное, скрытое от них. И, поскольку это совершенно непохоже на весь их придуманный мир, пугаются до ужаса, до онемения, до судорог души. Я бы так переписал письмо одного из таких, мудро-го старого художника и поэта:

Некое, скрытое, страшное, тайное, чуждое, неизбежное, неотвратимое, невыразимое.

Сон, бред, бредовое, меня уничтожающее, боюсь, боюсь, себя боюсь, соседей боюсь, мать еще жива, матери боюсь, боюсь ту, кого люблю, боюсь ту, которую разлюбил, боюсь всех, кого не люблю, боюсь идти за картошкой, боюсь ехать в город, боюсь электрички — и не стыжусь этого, жизни боюсь, а не смерти, вот моя тайна и скрытое, тайное, чуждо-враждебное, страшное, неотвратимое, неизбежное, невыразимое, ночью сердце, слышу, стучит.

5

А этот, про кого ревниво и коротко упоминает автор, — любопытный экземпляр человеческий, прирожденный лидер, но беда — писатель. Как лидер, он любит купаться в людях, возвышаться над ними, учить сам не знает чему, главное — поза и уверенность в том, что это — реальность, а не приснилось тебе в одночасье... Но когда эти куклы падают или их сшибает, как кегли, время, они снова становятся обыкновенными людьми и сами недоумевают, что такое происходило с ними. Нет, я вижу, слишком много терлись они среди человеческого такого разного, такого дерьма, их начинили всем этим — пряной начинкой. И главное — от них разит, а они радуются, будто это Кристиан Диор. Они печатают шаги по-командирски, они произносят речи, лишь бы слушали, слишком часто им кажется, что на них взирают с восторгом. Остается их только пожалеть, сами-то они никого жалеть не умеют. А этот парижанин из Харькова вообще идеолог войны, как здоровой мужской прогулки, где мужчины, шутя, борются на лужайке, похода, любят подруг и радуются атмосфере, когда стреляют. Слишком много потного тела для меня.

Убить, убить, убить, убить, убить, что это? Разве это я? Кто это? Меня нет, нет убитых, нет страдающих, Бога нет, никого нет, кто меня подменил мною же? Кто?

6

Автор описывает случай среди алтайских предгорий на празднике в честь его рождения, который происходил, как я понимаю, в зале бывшего дворянского собрания или в реквизированном купеческом особняке. По стилю я вижу: автор крепко надеется на это. Если мама держала его, автора, на руках, то он мог видеть своими бессмысленными глазками лепных ангелочков на потолке и хмельные головы окружающих. Автор сетует, что его уронили, но это по рассказу очевидцев, было ли это? Может быть, старшие братья только хотели уронить, а выпороли их за другое. Почему автор не вспоминает широкий офицерский ремень отца? Что, его не били никогда? Даже мать стегала его ремнем. Отсюда — страх.

А пиршественный стол. Я представляю все это так: усы, усы, борода, глаза, стеклянные, страшные за стеклом, глаза, синие щеки, ус приближается, приближается, мне страшно, хочет уколоть, он колет меня, я кричу изо всех сил, меня трясут, я кричу, меня трясут сильнее, мне страшно, я кричу, закатываюсь в неслышном плаче, мне протягивают большое, теплое, родное, вкусное — сию, еще всхлипывая, чмокаю — теплое, сладкое течет в меня, успокаивает, но я не забыл, нет, я не забыл эту щетку, колющую нежную кожу, эти ножи, этот стеклянный навикате глаз.

И теперь, глядя на опавшие листья, я вижу: голые женские бедра, сморщенную старушечью грудь, коробящиеся на огне «испанские башмаки», порванные кривящиеся рты, вывернутые розовые влагалища, и влага — стеклянный навикате глаз, на котором уселась улитка.

Вот что бы я написал на экране компьютера, будучи автором. А потом бы все это стер: вон из подсознания!

7

Об усталости говорит автор. Листья вокруг него, видите ли, ползают. Листок газеты унесло. И автор тут же вообразил себя каким-то сумасшедшим, трясущимся, несущимся, простирающим руки к бумажным обрывкам, к летящим листьям по пустынной дачной улице. Такой силуэт из себя вырезал. Даже в печали люди любят себя собой.

А печаль по поводу наступающей старости. Хоть и нечем мне сочувствовать, а жалко его, автора. Ведь я тоже отчасти почувствовал себя человеком, читая его обрывочную историю. Хорошо, что не мемуары, а то бы я совсем скис.

Воспоминания приятеля его — драматурга — я бы изобразил более реально. Не что говорили, а что думали.

ДРАМАТУРГ. Сидит рядом за стойкой — и бровью не ведет. Ничего еще, как ноги раздвигала тогда, как бурно полоскала ими в воздухе. Что-то, кажется, чувствую. Богиня была — белая и большая, когда в кровати.

БОГИНЯ (за стойкой бара). Чего он там врет? Ну, летала с ним в Дагестан, он ведь не знает, что и с его другом тоже и туда же! И еще — было, есть что вспомнить, теперь уж не то. Жалко, конечно, его, еле ходит. С палочкой. Палка у него стояла толстая, Господи, прости.

ДРАМАТУРГ. Слышит, как про нее рассказываю. Мог бы и рассказать про все наши выдумки: и как подушку под спину ей подкладывал, и как — валяем, и как сосать заставлял, и приятеля однажды привел. И ничего, как вода, с нее все сошло. А ведь сколько лет... Охота снова на нее залезть, сердце не позовет.

БОГИНЯ. Хорошо, что я мини-юбку сегодня надела и прозрачную кофточку, пусть смотрит. Наверно, больше ни на что не способен. Муж обещал зайти.

ДРАМАТУРГ. Какая волнующая задница, как она поводит из стороны в сторону ею, знает, чувствует. А ведь там сзади закуток, комнатка сзади есть, если дальше пройти. Повалить бы ее там на пол! (Громко.) Налей нам еще по двести вина.

БОГИНЯ (еще громче). А тебе не хватает?

ДРАМАТУРГ (вздыхает). А куда деваться? Сверху дождь, океан шумит. Только и сидеть здесь, в «Подводной лодке». Вечер просидим, приму лекарства и на боковую. Придешь в номер? (Про себя.) Ведь не придет, пообещает и не придет. Значит, все.

АВТОР (некстати). А мне кажется, что тогда, в те времена, не говоря о девушках и гостиницах, и мокрое белье, и тараканы, и клопы у нас были общие. Выпьем?

8

Тоже сценка, не очень понятная мне. Ну, я понял, действие происходит в вонючие советские годы, сидят в саду за длинным столом в основном старые, обласканные властями, прославленные газетами писатели. И все они, честно ненавидя друг друга, общаются постоянно. Ведь живут в одном поселке, отмечают юбилей друг друга, заглядывают за заборы и в сберкнижки соседей, доносы пишут регулярно, как и романы. Старые лакеи в засаленных фраках, собравшись, воображают себя господами. Но в любой момент может появиться настоящий хозяин и крикнуть: «Цыц!» В лучшем случае прогнать. Отсюда — постоянный страх. Вообще я заметил: чем выше, тем страха больше, тем он гуще.

Одно непонятно: почему такое почтение у автора к этому ветхому одесситу, потрепанному анекдоту, можно сказать? Всю жизнь прожил среди своих и еще смотрит на них свысока, как-то особенно всех ненавидит. Я просчитал, что здесь изображен ваш Валентин Катаев на юбилее вашего же Льва Кассиля, хотя все они для меня на одно лицо. Но ведь пришел Валентин ко Льву, не отказался. Сидит, пьет, ест и ненавидит. Извращение какое-то.

Я бы, со своей нечеловеческой точки зрения, расставил бы их всех по порядку, как сидели:

Валентин Катаев, зяблик мельком (пролетел), Степан Шипачев, лесной клоп на скатерти, Юрий Власов, бутылка водки и бутылка воды, безымянная старушка приживалка, еще бутылка водки (почему-то вся закуска ближе к юбиляру), помидоры, буйствующий цуцлик, божья коровка у него на шее, соленые огурцы в тарелке, еще один Степан Шипачев, поросенок с хреном пошел, дальше бывшая шлюха Валентина Сергеевна, два пионера, Назым Хикмет, кагэбэшник с плоским затылком, а там уж осетрина, севрюга горячего копчения, балык, икра и сам юбиляр, худой, как палка балыка, в очках, несколько недоуменно посматривающий на присутствующих: а зачем вы все сюда собрались? По поводу метафоры: от него пахнет какой-то интеллектуальной копченостью для меня.

Над белым столом яблони склоняют свои отягченные румяными плодами ветви. Встанешь: бум! — тяжелое яблоко ударит тебя по затылку. Кто-то раздавил лесного клопа, и водка пахнет клопами. Всех можно только пожалеть.

Если бы все это не было воображением, я бы решил, что люди приобрели новое качество, нужное им сегодня, которое может изменить все их последующее существование. Старый друг, который живет в Москве, видит из своего окна парк за оградой, там два здания — старое 50-х и новое 80-х — и гуляющих по аллеям писателей — старых 50-х и новых 80-х. Причем 50-е думают, что они ничего, а 80-е — что они лучше.

Из своего окна, из которого ничего не возможно увидеть, кроме зачуханного двора, друг видит автора почему-то со спины, будто он смотрит из окна комнаты, где автор теперь живет. Сам себе телевизор, чудеса! Попахивает фантастикой, но в принципе возможно. Вообще я заметил, что люди за всю историю ничего не придумали, что бы потом не осуществилось. Примеров тому масса. И если люди придумали Мессию, то Он явится, будьте спокойны. И Страшный Суд достаточно реален. Бесконечно малое оборачивается бесконечно большим и замыкается тем самым на конечность. Мой компьютер доказал Его существование.

Я изобразил то, что мог бы увидеть друг автора, если бы посмотрел внимательно:

- 1. Автор стал собакой.
 - 0. Собака не сделалась автором.
 - 1. Автор залаял.
 - 0. Собака не заговорила.
 - 1. Автор радуется осеннему утру.
 - 0. Собаке не смешно.
 - 1. Автор хватает зубами палку, выражая щенячий восторг.
 - 0. Собака смотрит на него с недоверием, можно сказать, с презрением.
 - 1. Автор — интеллигент.
 - 0. Собака местная, убегает.
 - 1. Автор превращается в сойку.
 - 0. Сойка хочет улететь от непонятной птицы — автора.
 - 1. Автор мелькает в кустах, очень похоже. Хрипло кричит.
 - 0. Сойка в панике.
 - 1. Автор падает в траву и листья, раскинув крылья.
 - 0. Сойка в ужасе улетаёт, так ничего и не поняв.
- Вывод: поэзия страшно далека от природы.

Опять воображение. Умерший друг видит автора на просвет. Как видит и чем видит покойный, люди не знают. Сказал: «Очами души», — и как будто все всем понятно. Очень многое люди обходят стороной, легкомысленные существа.

Но логика тоже не дает полной картины. Я могу подсчитать, сколько черепов, зубов, костей и тряпья люди сложили в землю за время всего своего существования, получится, что вся Земля — сплошное кладбище. Но все это куда-то делось. И почему по всему городу и лесу не валяются птичьи трупы? Ведь птиц неисчислимое множество. Поэт скажет: когда умирает птица, она тает в воздухе, не успев упасть на землю. И будет прав. Воображение дополнит натуру, для полной картины.

Нет ни полной картины, к сожалению, ни частей, потому что они взаимозаменяемы. Все так разнообразно, что от перемены мест слагаемых ничто не может пострадать. И какая бы картина ни представлена, она достаточно законна и естественна. Потому что «что такое неестественность»? И то, что я пришел от отрицания метафоры к торжеству ее, — естественный ход вещей. Ибо все превращается во все. И ничего таким образом нет.

Поскольку все, что в мире существует,
Уйдет, исчезнет, а куда Бог весть,
Все сущее, считай, не существует,
А все несуществующее есть.

Любимый поэт компьютерных существ незабвенный Омар Хайям.

Пустоту не комментирую. Пустота так наполнена, что сама комментарий к себе.

Но в конце повествования автор показал спектакль — сцены из «Моцарта и Сальери» в осеннем свете.

Я, со своей стороны, вижу эти сцены конструктивно.

Сцена 1. Моцарт и Сальери. Моцарт играет плохо. Сальери и не пробует играть на фортепьяно.

Сцена 2. Сальери — осенний парк, Моцарт — голубое небо. Играют оба скверно. Сальери весь осыпался. Моцарт затаен облаками, Моцарт дождит.

Сцена 3. Поднимаются Моцарт и Сальери, рассеиваются и обнажаются конструкции, которые не имеют к спектаклю никакого отношения.

Сцена 4. Автор и еще какое-то количество людей, как я разумею, его сверстников, остаются на голой земле заметными мишенями. Автор надеется, что успеет спрятаться, что в него не попадет, что минует. Но вся эта игра до поры до времени. Человеческое во мне надеется, что автор и его друзья останутся мужчинами до конца. А Бог, который выскочит из моей машины, представит все, как 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и т. д.

Я и сам не уверен, существую ли вне транзистора, или я — вирус, некая мнимая величина, стоит только потрясти текст, чтобы все стало на место, и я исчезну. Но тогда не станет и автора скорее всего.

Прежде чем мы оба испаримся, я изображу на светящемся желтом небе компьютера вознесенные черными стволами и сучьями вороха синей, фиолетовой и лиловой с подтеками кленовой листвы.

КАМНИ

Мы все лежим на своем месте, когда штиль.

Весь наш пляж — это сад камней. Берег как соткан из соцветий и в мгновенном впечатлении своем похож на старинное белое кружево.

Действительно, если присмотреться к нашей россыпи, то обнаружишь, что мы лежим не как попало, а группируемся гнездами, содружествами камней. Это наши обширные семьи. Ближе к центру семьи располагаются большие камни — это старшие, а между ними с края — помельче, всякая шушера — это младшие камни.

Пожалуй, мы напоминаем стадо морских котиков. В середине возлежат матерые камни, возле теснится молодняк. Нет, мы не размножаемся, как рыбы или животные. Не увидишь среди нас и таких камней — черепах, — которые бы выкладывали на песок кучки маленьких белых камешков. (Хотя почему бы им не быть? Но, во всяком случае, не на нашем пляже.) Не разбрасываем мы и семена далеко вокруг, как это делают растения, чтобы выросли из них потом причудливые камни и скалы. (Хотя почему бы им не вырасти? Но, может быть, где-нибудь на другой планете.) Мы — камни — рождаемся иначе.

Когда-то мы были нечто единое: осадочная порода, вулканическая лава, геологический слой. Но постепенно огонь, море и время раздробили нас, обкатали и положили серо-белым пляжем с краю моря.

Мы постоянно тремся друг о друга, нам помогают в этом волны и ветер. И поскольку времени в нашем распоряжении сколько угодно, мы тремся и тремся — разве что не хрюкаем, пока наши бока не станут гладкими, как отполированные. Со временем мы окультуриваемся. Лица наши становятся округлыми, и на них проступает, осмысливается античный узор.

Некоторые нестойкие или с какой-нибудь порчей не выдерживают — рассыпаются, превращаются в песок. Не надо жалеть о них. В сущности, песок — это тоже множество блестящих крошечных камешков — кварцитов. Вроде того, что муравьи и тли — это слоны, тигры и крокодилы в миниатюре.

Вам, людям, конечно, трудно признать свое родство с тлями и муравьями. Но мы рады тому, что песок всюду окружает нас и поддерживает своей родственной средой, что мы все-таки не такие мелкие, как песок.

Здесь, у моря, люди издавна не очень церемонились с нами. Иногда набирали в корзины большие камни, чтобы сложить очаг. Много позже уносили с берега ведра камней, чтобы посыпать дорожки возле дома.

Черпали нас и самосвалами, чтобы превратить потом в цемент и гравий. Некоторые пляжи свели на нет. Хорошо, что мы, камни, по природе своей не мстительны. Иначе как-нибудь в жестокую бурю разом сорвались бы с места и засыпали каменным градом города людей, чтобы даже потомки не отыскали.

Мы покорны своей судьбе. Мы всегда спокойны. И если вас ударил камень, вас ударил не камень, а рука, схватившая камень.

Но есть среди вас и безвредные, те, что сидят и ходят вдоль моря, как тихо помешанные, — кланяются прибою. Они ищут среди нас красивые камни с огоньком. Выхватят порой из волны что-нибудь, блеснувшее на солнце, а оно тихо угасает на ладони. Вот тебе и огонек. Как мы смеемся тогда в солнце над таким неудачливым охотником за дарованиями!

Есть женщина, она только для того и приезжает, чтобы сесть на корточки у края волн и копаться в камешках. Это для нее, говорит, счастье.

Некоторых из нас люди увозят с собой в далекие города, помещают в коллекции. Есть целые Дворянские собрания камней.

Голубоватые яйцевидные халцедоны, розоватые аристократы — сердолики, местные медово-золотистые яшмы, даже зелено-полосатые трасы, мы лежим в старинных шкатулках из карельской березы, просто в коробках из-под сигар. Изредка нас показывают с гордостью: «Этот лягушечка, а этот в рубашечке». «Неужели сами?» — «Ходила вдоль моря и кланялась прибою. Что-то еще осталось, но мало, мало». К нам наклоняются толстые любопытные носы, к нам приближаются внимательные глаза, хлопающие мохнатыми ресницами, еще более страшные за выпуклыми стеклами-окулярами. Раскрываются оштукатуренные красным растрескавшиеся губы, показываются ряды острых зубов, и из темных провалов вырываются клики восхищения. Нам — диковатым, круглым, окатым — боязно с непривычки, как будто всех нас сейчас гости схватят горстями и начнут с аппетитом разгрызать, как драже. Мы бледнеем, стараемся не выделяться. Сейчас мы — серые, слегка подкрашенные стеклышки в коробке.

Но вот гладкие горячие пальцы начинают нас поглаживать, перебирать. И, поддаваясь магической ласке человека, этим скользящим упругим подушечкам, мы постепенно проясняем ликом, начинаем улыбаться. Мы нежмся, как домашние кошки. Каждый становится совсем особенным, неповторимым. «Нет, нет, такого еще никогда не встречалось. Это жемчужина вашей коллекции». И тогда мы гордимся собой, будто мы — ордена, которые Бог выдал отдельным людям за усердие и прилежание.

Мы вообще любим человеческие руки. В серебряной оправе мы любим украшать женские пальцы — и тогда мы прекрасны. Нами любят любящие и любовники. Будто тайная кровь бежит по нашим жилам, мы розовеем и живем. Мы впитываем в себя желание нравиться, магнетизм и страстное волнение наших хозяек, юных или пожилых, все равно. На иной благородной сухой старческой руке мы играем потаенным огоньком с особенным удовольствием: агаты и топазы.

Хранители притягательной силы. Источники тайной магии. Подними любой камень на пляже, сожми и поддержи в руке. Сначала будет приятно холодить ладонь, потом камень согреется и станет почти неощутим, затем все горячее и горячее. И тогда ты почувствуешь: токи, они текут в тебя из камня, как будто отдают тебе силу и знание. Да, да, ты получил зашифрованное послание из начала начал, которое, надеюсь, расшифруют твои гены. Мы могли бы сказать любой плоти, любому дереву: «Мы одной крови — ты и я». Но мы молчим...

Нет, этим не ограничиваются отношения между нами и человеком. Иногда и простые камешки — те, что с узором или поцветней, поглаже, — увозят в далекий северный город. Там кладут в стеклянную вазочку или в тарелку, наливают туда воды из-под крана. И ставят — обычно на подоконник. Мы снова начинаем сиять в зимнем недолгом солнце, в электрическом мертвом свете. Какой-нибудь ребенок, забравшись с ногами на стул и подперев кулачками подбородок, созерцает нас глазами, блестящими, как камешки.

И мы смотрим на него.

Протянулась маленькая ладошка и зачерпнула несколько нас. Мы знаем нашу игру — затеряться где-нибудь в темных углах квартиры и ждать, затаясь. А затем попасть совсем некстати маминому пылесосу — пусть проглотит тебя — и уже тогда загреметь! И греметь, грохотать в его железном нутре. «Откуда этот камень? И как он сюда попал?» — вынут и выбросят в окно. Шпок! — об асфальт и запрыгал. А живые камешки — детские глаза — смотрят и радуются.

Некоторые люди очеловечивают нас. Вырубают из куска мрамора или известняка (он помягче) тело или лицо. Женский торс выглядывает из камня, белея всем совершенством — думаете, женского тела? — нет, того же камня. Мы, камни, расставленные в новых храмах — музеях, вызываем высокий восторг знатоков и поэтов. В любой каменной глыбе заключены Афродита или Давид, надо просто суметь вызвать их оттуда. Но, может быть, зря в мастерской раздается характерный стук стального резца по камню, отлетают острые кусочки сахарного мрамора, в воздухе толчется белая пыль... Мы, камни, таим в себе миллионы еще неведомых ликов и существ... Дело времени и обстоятельств, как и когда они выйдут оттуда. А если даже не выйдут никогда, все равно умеющий видеть — видит.

Нельзя сказать, чтобы сами мы, камни, не имели лица и некоторые из нас не были личностями. Конечно, множество множеств из нас попали в камнедробилку безликим гравием и превратились в бетонные плиты или легли на дорожку под жирный горячий асфальт.

Но тот зеленый, седловидный, грушевидный гольш траса, который много лет лежит на письменном столе автора (и автор это может подтвердить), он — и рисунок, и личность. На «лицевой» стороне камня белый узор рисует пенные волны Хокуссаи, на другой стороне белеющие полосы гладко ложатся на плоский берег — штиль.

Хозяин нередко, задумавшись о чем-то, берет гольш в руку и разглядывает его... «...И станет мне молодость снится, и ты как живая — и ты...» Грустный камень. Он всегда грустит, потому что напоминает о радости. Камень помнит молодость автора, когда бежали, любили, пили, плясали голые, стройные, как на античной стершейся фреске. А теперь он видит, как прозаически стареющий автор, стараясь удержать в памяти клочки романтических воспоминаний, медленно переваливаясь, катится эдаким поседелым валуном под уклон.

...И все-таки стрекоза трепетным блеском слюдяным — она присела на камнях, на пляже. Вижу: белые и серые окатыши — в блеске крыл знойный круг — закружились. Крупный гольш, на который легла ее чуткая тень, гордо поддерживает стрекозу, как тоненькую балерину танцовщик. Выше в живой синеве заплясали невидимые эльфы... И там дальше, в совсем истончающемся мире, доносится отсвет наших забав... Эфирные танцы камней...

Продолжая разговор о своеобразии наших профилей и характеров, нельзя не обратить внимание на великое разнообразие таковых. Одни из нас — гладкие, круглые, как пасхальные яйца, другие — какие-то искривленные злобные уродцы, есть и конгломераты совсем несоединимого: твердого и крошащегося. Ноздреватые губки или пористые носы пьяниц. Указующие персты. Расшлепистые губы и упрямые подбородки. Продырявленные уши африканских негритосов и совершеннейшие улитки. Чье-то мокрое белье, вымытое, отжатое и окаменелое. Каменные макароны и фарш. Седла, троны, папские тиары. Все формы, какие только можно встретить, и все фантазмагорические облики, которые только можно вообразить. Кроме того, любой приморский пляж — это музыка. Это настоящая каменная музыка.

Время. У нас свое время. Это у вас, у людей, «время разбрасывать камни», «время собирать камни». А у нас одно время — время камней. И оно идет для нас правильно: не скоро — не медленно. И делает с нами то, что с нами должно совершиться. У нашего времени лицо гладкого серого камня.

Века, тысячелетия проходят для нас день за днем, ночь за ночью. То нагревает солнце, то охлаждает ночь. Шлепок волны то повернет на один бок, то — на другой. И под вечными звездами старшие камни внушают младшему поко-

лению, которое, между прочим, никогда не вырастет и не состарится, твердые правила жизни уважающих себя камней.

«Во-первых,— говорят они,— лежи спокойно. Если поднимут, не сопротивляйся. Помни: камни падают всегда вниз. И ты еще можешь упасть, как это не раз бывало, если не на затылок, то на ногу потревожившего твой покой.

Во-вторых, в какую бы несвободу тебя ни употребили: положили в основание стены или заставили перемалывать зерно,— помни: время работает на нас, на камни. И стены разрушатся, и мельница развалится, лишь ты будешь спокойно греться под солнцем.

В-третьих, в каком бы положении ты ни лежал, будь доволен своим положением. У тебя есть преимущество перед людьми — ты можешь ждать вечно. Смотри в небо: может быть, ты еще узришь Лицо Бога Живаго, то, чего не узрит никто».

А ты, автор, думаешь, мы всегда молчим. Наше молчание лишь для непосвященного, точнее — для немзыкального уха. Слушай нас в прибое и в зное полудня. И вот что мы тебе скажем, умудренные камни: человек, посмотри на свою подругу. Загорая и плавая с тобой, она стала смуглая и гладкая, как морской камень, ты проводишь рукой по ее спине и чувствуешь желание прикинуть к ней, прильнуть, как мы — камешек к камешку. Лежать бы вам у края воды вечно. Вы хотите быть похожими на нас, но вы слишком непоседливы. Вдруг непонятно почему вы разлетаетесь в разные стороны, будто вас запустили из пращи. Судьба — какой юный, неопытный камнеметатель порой! Но вы уже разлетелись, вы далеко друг от друга. Разлука причиняет вам страдание, но вы ничего не можете сделать, разве что при встрече причинить друг другу боль. Как, впрочем, и мы, камни.

Нет, не одни вы испытываете неудобство, смятение и ужас. Есть и в нашей жизни камней беспомощность и страх, когда налетает морской шторм. Ночью весь наш каменный покров на берегу начинает шевелиться. Сначала набегающие волны захватывают мелочь играючи, утаскивают ее вглубь. На смену из глубины выносит новые пласты песка и камней, этакая неразбериха, толкучка. Нас бьет, колотит, друг о друга, как в настоящей камнедробилке. Мы народ страждущий, ради чего, Господи! Почему каждый теперь помеха другому, хочется выпрыгнуть, выскочить, но мешают, не дают, каждый сам хочет выпрыгнуть — вот и получается, что мы все должны гибнуть, скопом.

Море обретает свою исполинскую силу. Разбегаясь, оно бьет и бьет в берег литой металлической грудью. Скалы трещат. Рушится весь миропорядок. Небо опрокидывается на нас. Все мы — стада камней — сдвинулись с места и побежали куда-то. Испуганные овцы, мы бросаемся туда и сюда. Беспokoйные беженцы — прячемся и мечемся в грохоте артиллерийской канонады... А когда-то при первой ночной бомбежке столицы расстроеному уму подростка представлялось, что этому не будет конца...

Но все же к утру море постепенно успокаивается, как успокаивается все на свете. Мы озираемся на новом месте. Почти у каждого — новый адрес и новые соседи. Повсюду на берегу еще блестят лужицы. Мы просыхаем под утренним светом, есть о чем порассказать. Каждому камню представляется, что хуже, чем ему, не было никому из окружающих. И он спешит поделиться своими впечатлениями. Вы, люди, слышите при этом легкий утренний шорох. К счастью, новые соседи — тоже родственники, новая семья, снова чувствуются тепло и дружелюбное отношение. Во всяком случае, без веской причины никто не встанет и не отбросит тебя с твоего места. Спасибо, спасибо. Мы снова вместе. Старшие камни в центре. Младшие и всякая мелочь между ними и с краю. Цветения камней, мы греемся на солнце. Лежите, лежите... Спокойно... Спокойно...



Под созвездием Близнецов

Анна ПРИСМАНОВА и Александр ГИНГЕР

Впервые стихи Анны Присмановой мне удалось напечатать в 1980 году. Дело было так. Подсел ко мне в буфете ЦДЛ приятель и говорит, что поступил на службу. В журнал «Отчизна», что издавался подразделением КГБ, именуемым Комитетом по связям с соотечественниками за рубежом. Читай: с эмигрантами. Офицеров в штатском там — каждый первый. Но ведь и журнал кто-то делать должен. Вот и взяли журналиста «с хорошими рекомендациями». А ему скучно: занудство, жвачка, рекламные клише. Предлагает мне что-нибудь занятное придумать. Давай, отвечаю, попробуем эмигрантских поэтов попечать — тех, на кого у гэбистов, возможно, компромата нету. И появилась в журнале рубрика с дурацким названием «Строки, затерянные на чужбине» (не без намека: «Нам целый мир чужбина...»). А в ней — сразу же — стихи Присмановой:

Старались мы сказать на сей земле
о жажде и ее неутоленье,
о крике скорби, рвущем нас во мгле
и остановленном в своем стремленьи...

Потом была еще публикация Владимира Корвина-Пиотровского. Тем и кончилось: приятель уволился, недолго выдержал.

Это я к тому, что всякий раз, слыша сетования на давешнее неведение об эмигрантской литературе, кроме считанных классиков, на невозможность что-либо узнать, тем паче напечатать, хочу возразить: «Говорите за себя!»

Толковать сегодня, что история нашей литературы XX века сплошь мифологизирована, — значит запоздало щеголять трюизмом, ломиться не в распахнутые, но даже и с петель снятые двери. Тем не менее начинать приходится именно с этого. Не без риска, так сказать, для репутации.

Все написанное за последнее десятилетие про то, что было написано прежде, и про писателей — как русских советских, так и русских зарубежных — представляет собой, в сущности, лишь разной степени упорства и убедительности попытки разгримировать эту самую историю. То бишь вместо вымыслов, примыслов и домыслов выложить наконец *правду*. Однако миф перевертлив: где прежде виделась решка, теперь — орел. Монетка — та же. Потому что диаспорное существование русской культуры многие годы равно соблазняло на мифотворчество и тех, и других: и обывателей метрополии, и обитателей эмиграции. Искусшает и поныне.

Поясню на простеньком примере. В советской критике бытовало утверждение, а верней сказать — указание, будто в эмиграции талант неотвратимо деградирует, оторвавшись от *языка*, от *своего читателя*, от *почвы*, зарывшись в чужую землю, становится бесплоден, в лучшем случае пускает ростки тусклые, бледные, безнадежно болезненные. С доказательствами, правда, дело обстояло не особенно благополучно. Да ими себя и не утруждали, несоместливо пользуясь недоступностью для абсолютного большинства советских читателей ни «Жизни Арсеньева», ни «Дара», ни, допустим, «Европейской ночи» (и заодно — верно, по слабости памяти — не поминая ни Вольтера, ни Мицкевича, ни Герцена, ни прочих немалочисленных писателей-эмигрантов, чей опыт свидетельствовал совсем об ином). Вывод следовал в духе товарища Жданова (1946): ни одно из поистине замечательных творений искусства не может возникнуть нигде, кроме как в СССР.

Эмигрантская критика в долгу не оставалась, признавая высокие достоинства преимущественно за печатающимся в зарубежье, «не в изгнание, а в послание», по слову Зинаиды Гиппиус. Ибо прокрустово ложе соцреализма и несвобода творчества ничего достойного внимания породить не могут. Ежели кое-что путное все-таки появляется (а за советскими новинками читатель-эмигрант при желании запросто мог уследить), то исключительно вопреки власти, ее «соцзаказу»: произрастает, стало быть, из *внутренней эмиграции*, авторской оппозиционности режиму, разумеется, неявной, проскальзывающей только в творчестве, иначе говоря, в эстетическом камуфляже. Ну, как у Бабеля, Олеси, Зошенко...

(Оставляя без комментариев естественную человеческую слабость: верить в то, во что верить очень хочется,— отмечу присущее даже наиболее прозорливым зарубежным соотечественникам непонимание происходившего в отчизне, их невольном-добровольное сотрудничество с бюстителями художественного и прочего единомыслия: такого рода *тамошние* похвалы нередко оборачивались вовсе не метафорическими *тутушними* неприятностями.)

Вдуматься: в обоих случаях художнику отводилась роль сугубо служебная, подчиненная обстоятельствам внешним, насквозь идеологизированная, подневольная задачам «историческим», не-художественным. Дескать, бытие определяет сознание— и все без изъятия *продукты* оно. Но, как однажды было сказано, сознание с этим не согласно. И строит свои отношения с бытием куда более сложным образом.

В новом, современном варианте изображение видоизменилось. Дело пересмотрено явно в пользу литературы русского зарубежья. Правота критиков, ее наблюдавших, ценивших и в некоторой мере *направлявших*, ныне признана — либо безусловно, либо с несущественными оговорками, в любом случае не-критически. Потому картина рисуется благостная — каюсь, и сам однажды к тому руку приложил, правда, вскользь. Итак, все — или почти все,— творившие в эмиграции, реализовали себя, осуществили свое предназначение. Старшие — силою еще в России обретенного авторитета, во всеоружии унесенных с собою опыта, знаний, мастерства. Младшие — под взыскательно-чуткой опекой мэтров, начиная в литературных кружках, всех этих «Зеленых лампах», «Скитаях поэтов», «Веретенах» и прочих, совершенствуясь при редакциях «Возрождения», «Последних новостей», «Современных записок», «Чисел» и других печатных органов. Книги изданы. Архивы целы и — посмертно — попали в престижные университетские хранилища, в распоряжение пытливых ученых-славистов, да и нам наконец доступны стали. Ну, а тяжкие бытовые условия, в коих им, писателям, как правило, приходилось жить и творить, — лишь фон, оттеняющий их внутренние стойкость и свободу, придающий всему свершенному драматическую убедительность. Конечно, были исключения, судьбы глупо и очевидно трагические. Но когда и где их не бывало!

Ретроспективный взгляд по природе своей ностальгически-лиричен, сглаживает углы, приглушает диссонансы, гармонически komponует охваченное рамкою видоискателя. И подталкивает к возражениям. Хоть и понимаешь, что во всяком споре выявляется не истина, но лишь разнота представлений о ней. Ну, скажем, что такое удачный день — с точки зрения рыболова? И по мнению рыбы?

Стоит ли удивляться тому, что эмигрантские писатели, особенно те из них, кто по молодости не успел получить иммунную прививку российской литературной жизни (отнюдь не такой безоблачной, как это ретроспективно рисовалось), чувствовали себя не совсем так — или совсем не так,— как ожидали, а то и требовали от них законодатели читательских вкусов. И не молчали об этом.

В 1934 году сорокалетний автор двух книг рассказов пражанин Василий Федоров написал статью «Бесшумный расстрел», обозначив таким образом происходящее с молодой эмигрантской литературой.

«...Прежде всего нужно признать, что у нас в эмиграции *нет свободной литературы*, точно так же, как *нет ее в Советской России*. Мы закрепощены так же, как там, с одной стороны, зависимостью от того или иного эмигрантского издания (здесь политика переплетается с протекционизмом), с другой стороны, мы связаны «социальным заказом» доминирующей в эмиграции критики... причем в Советской России этот заказ уже хоть тем удобен, что раз и навсегда «установлен» на Карла Маркса, а у нас он меняется каждый год, иногда каждый месяц, и «установка» его то на Пруста, то на Джойса, то на какого-нибудь иного представителя иностранной литературы, часто вовсе не нового, но откопанного досужим критиком для своего личного «эксперимента»... Стоит ли повторять, о чем пишут из года в год наши литературные мургусы? (Вниманию! — *В. П.*) Здесь и «оторванность от родной почвы», и потому «ничего, мол, из вас не выйдет» (может помститься, что здешние кри-

тики «спроворили» сииз плоские доводы у тамошних, но едва ли; видимо, в случаях заведомо *тенденциозных* выбор аргументов скуден и совпадения такого рода неизбежны — В. П.) ...здесь и постоянные разговоры о кризисе литературы вообще, а эмигрантской в частности... Эмигрантский писатель поставлен в положение школьника-новичка, которого всякий, кому не лень, может дергать за волосы. А если он, Боже храни, идет своим особым путем, независимым от всех этих очередных «установок», то его попросту подвергают остракизму, замалчивают или же вовсе не пропускают в печать. Все это бесспорно, все это правда, и *об этом сейчас упорно молчат*... Никогда ни у кого из русских писателей не было так мало свободного времени «для себя», не было такого душевного одиночества, заброшенности и подневольности. И никто никогда не посылал своих творений в такое безвоздушное, в такое стратосферическое путешествие, откуда ни отклика, ни звука, ни поддержки... И вся самоотверженная работа эмигрантского литератора превращается в конце концов в «исторический документ» для того будущего русского приват-доцента, который, чтоб стать профессором, приготовит ученую диссертацию «О некоторых попытках литературы в изгнании»...»

Я не стал стеснять пространной этой цитаты, дабы не пересказывать все то же «своими словами», но дать услышать отчаянный — на грани срыва — голос писателя, на себе испытывавшего *предмет* наших нынешних академических размышлений. Дать почувствовать одолевающую стилистическую вязкость, замечательно, по-моему, передающую ощущение засасывающей топи литературного небытия.

Острая, прицельная статья вызвала отповедь Дмитрия Мережковского — «Около важного (О «Числах»)». Поучение на тему о несгибаемой силе истинного таланта и о тех, кто недостаточность дара тчитится восполнить сетованиями на «пагубные обстоятельства». Ему решительно возразил Дмитрий Философов — «В защиту г. Федорова из Чехословакии» (так пренебрежительно поименовал Мережковский автора статьи). А затем суждения парижского мэтра оспорил и Альфред Бем. Эхо полемики разнеслось далеко. Думается, еще и потому, что ее инициатор, заговоривший от имени молодого эмигрантского поколения литераторов, не был безвестно-неизданным неудачником, «личных счетов» ни с кем не сводил, и чувствовалась в нем готовность подтвердить, отстоять каждое произнесенное слово.

Впрочем, здесь речь не о Федорове, но о выраженном им самочувствии писателя-эмигранта, таком, мягко скажу, неуютном, что впору завидовать (как ни дико для нас, лучше информированных, это звучит!) советским коллегам и сверстникам.

О том же писали и до Федорова. Например, Владислав Ходасевич — двумя годами раньше — в статье «Подвиг» (тут, по всему судя, неслучайно *полемика заглавий*) безнадежно констатировал: «В общем, старшие к судьбе младших глубоко равнодушны». А много позже, уже не дискуссии ради, но, подведя неутешительные итоги судеб «младших», Владимир Варшавский назвал свою книгу «Незамеченное поколение» (1956).

«На всем вышеизложенном, однако, нимало не настаиваю я», — повторю вслед за Александром Гингером. Разумея под этим, что причина любого занимающего нас явления не бывает единственной, но лишь «одной из». Хотя, полагаю, без «вышеизложенного» вовсе не понять, даже не подступиться к тому, как могло случиться, что, прожив без малого сорок лет не где-нибудь в эмигрантской глубинке, не в Риге, Харбине или Сиднее, но в эпицентре русского литературного зарубежья, в Париже, поэты Анна Присманова и Александр Гингер остались незамеченными, прозеванными — и критикой, и читателями. Будучи знакомы с большинством литераторов, печатаясь в периодике, книжки издавая, в парижской литературной жизни время от времени принимая участие, подчас довольно заметное.

Сказалось, понятно, и то, что из всей культурной эмиграции в наихудшем положении оказались поэты. Дело не в том, что они более зависимы от «аудитории», чем певцы, живописцы или прозаики. Но в том, что у поэзии и в обычных-то условиях читательский круг узок, читателей стиха среди грамотной публики явное меньшинство. А из-за *принципиальной непереводимости* поэзии ни на один из языков (кроме того — единственного, — на который *переведена* она поэтом с языка, ведомого и внятного только ему) поэты, угодившие в иноязычную среду, были вынуждены привлекать к этой жизни без эха. И выход приходилось искать каждому — свой. Присманова и Гингер осознанно выбрали образ жизни герметически закрытый, друг подле друга, размыкая семейный круг редко и для немногих, непосторонних людей. Популярности это не способствует — так, беглые мемуарные упоминания, не сведения — впечатления, почти случайный промельк странно-отрешенной пары...

Помнится, лет двадцать назад говорил я о Присмановой с воротившейся из эмиграции поэтессой Марией Вегей. Читал ей стихи, вот эти:

Невольно ослабляя напряженье
распластанного в воздухе крыла,
подвластна птица силе притяженья,
как в косном этом мире все тела.

Но хрупкий ком, садящийся на кровы,
на разные поющий голоса,
собирающий крупицы у подковы,
опять уносится под небеса.

И перьями поддержанная птица
без трепета висит на высоте,
откуда человеческие лица
чуть видимы, как гвозди на кресте...

И еще:

Прости меня, что не блистала
я в полдень полной красотой,
зато полночью листала
я листья книги золотой,
той самой, что расталась с глиной
и всю меня несет туда,
откуда кажутся равниной
ущелия и города.

Она их слышала впервые. И призналась, что не ожидала *такого*, что представляла себе стихотворство Присмановой куда как зауряднее. Вспомнила, что в Париже потешались над комично-неловкими присмановскими строчками о лебеде, «вытянувшем ухо, как Бетховен», и над другими — про то, как «двое в рубашонках тащат горестей сосуд». А заодно рассказала о парижском Пушкинском вечере зимою 1937 года, где Присманова и Гингер появились, проществовали через полный зал с своими местам где-то в первых рядах, изображая Натали и Пушкина. Она, остролистая и худощавая, — со старомодно завитыми буклями и в глубоко декольтированном вечернем платье. Он, как отмечали мемуаристы, обладавший характерной провинциально-еврейской внешностью, крепко сложенный, среднего роста, но рядом с хрупкой женой казавшийся крупным, — с пышными бакенбардами и во фраке. Публика украдкой прискакала в кулаки. Они же хранили совершенную невозмутимость.

Посмеялся тогда рассказу и я. Теперь думаю, что не так все просто. И кто над кем позабавился — еще вопрос. Пожалуй, авторы-исполнители нераспознанной пародии — над публикой, реагирующей на внешние раздражители и не улавливающей внутреннего содержания.

Внимательных современников не бывает, разве что — *наблюдательные*. Их глаз фиксирует броские частности, выхватывает крупным планом более или менее случайные детали и черты, не соотнося с целым, лес надежно укрыт от них за деревьями. К тому же общее свойство литературы и современников ее: не замечать, обделять вниманием явления, которые не арифметически просто вписываются в свое *время*. Что и произошло с Присмановой и Гингером.

Их стихи очень разны, даже контрастны. У нее — подробная тщательность лирического дневника, размышление о жизни и поэзии, нет, жестче — о жизни-поэзии, разделять не умела и не хотела уметь, книгу поэтому назвала «Близнецы»; мысль стремится к высокой словесной точности, чуть не сухости, готова пожертвовать благозвучием, чтобы на исходе стихотворения выпасть кристаллическим осадком, афористической формулой (еще одна книга называется «Соль»). У него — калейдоскопическая фрагментность, прерывистость соприкосновений с миром, стих центробежен, изнутри вовне, к мистическим тайнам бытия, попытки прорыва — одна за другой, волнами, не знание — предчувствие и догадка (имена книг — «Жалоба и Торжество», «Весть»). У нее — демонстративная традиционность стихосложения, преимущественно ямбы — четыре пятых всего написанного, — на поверхностный взгляд — не без монотонности, взглядеться — канон не стесняет, направляет двухтактное движение к цели, к точке. У него — «сцепление слов необычайных», ритмический поиск и формальный эксперимент, содержательная сложность формы. У нее — слово и ритм. У него — слова, меж которыми мерцают ускользающие

смыслы, ритмы в резонанс мерцанию, дающие эти смыслы распознать. Верно, в непристальности она видится недостаточно оригинальной, он — «оригинальничаяущим». Дальше все — по логическому постулату: к одному и тому же следствию могут вести совсем разные причины. Например, поэтов — к незамеченности...

Объединяю общим очерком двух разных поэтов не потому, что — муж и жена, жили долго и умерли... нет, не в один день, но друг друга не пережили. Гингер умер семью годами позже, но — «доживал», не видя в том — без нее — ни малейшего смысла, и болезнь, его унесшая, по мнению современных врачей, — прямое следствие непреодолимого, стрессового нежелания жить.

Вообще-то в истории литературы подобные семейные союзы — не редкость. И можно сказать, что они заключаются столь же часто, сколь единично оказываются долговечными. Это можно понять: молодые люди, равно увлеченные творчеством, взбудораженные новизной своей причастности к искусству, повстречавшись, внезапно обнаруживают между собою тесное, чувственное сходство — и принимают родство дарований за глубинную близость душ, решают не расставаться. Позже, в совместной жизни, в повседневности, когда спадает паводок чувств, все заметнее становятся не подобию, а различия — характеров, темпераментов, вкусов, привычек наконец. А тут еще разворачивается, не всегда бессознательное, противоборство: за лидерство, превосходство литературное, глядишь, к одному приходит публичный успех, к другому — медлит... Чем зрелее, самобытнее становятся стихи, тем более разнятся отношения с миром, взгляды на одни и те же вещи, даже на пустяки. Чем сильнее было влечение, тем резче отталкивание, не до уступок. Так по кирпичику растет стенка, пока — в рост — не разделит их окончательно. А исключения... Да, по сути, только они и любопытны.

В эмиграции обилие таких семейных союзов бросается в глаза. И неожиданно *большинство* из них — устойчивы. Их цементирует наличие «общего врага», очутиться с которым один на один — беда. Враждебность окружающей среды очевидна — от безденежья и бытовых неурядиц до «речевого вакуума», литературный антагонизм чрезвычайно обостряется, проблемы, на которые дома едва обратил бы внимание, разминутся бы, обошел стороной, обретают контуры глобальные, «теснота» становится синонимом «обиды». Эмиграция для поэта — род необитаемого острова, где в одиночку не выдержать, потому что одиночество как бы удваивается. Вдвоем — вчетверо легче. В конце концов узкий литературный круг можно не расширить, но сжать — до размеров дома, семьи. Метафора реализуется: *союз* — круговая оборона.

Но даже и на этом фоне Присманова и Гингер выделяются — счастливой, гармоничной совместностью. Поэтическое несходство понято как непротиворечиворезкая разница, изредка встречающаяся между близнецами, два минуса, образующие плюс. Соперничества не было — никогда и нисколько. Хотя вроде бы не могло не быть.

Гингер, видимо, попал в Париж году в двадцатом. В двадцать первом там вышла его первая книга — «Свора верных». Годом позже он входит в состав одного из первых эмигрантских поэтических объединений «Палата поэтов». Он общителен, энергичен, хорош в полемике, правда, только на одну тему — о поэзии, причем такие споры возникают в его присутствии как бы сами собою. Среди «младших» писателей-эмигрантов он популярен, а лучший его друг, Борис Поплавский, с Гингера напишет героя своего романа «Аполлон Безобразов», чувствуя в нем тайну истинного художника, когда внешний облик одновременно и сочетается и контрастирует с внутренним.

Присманова родом из Латвии. В том же, двадцатом году, когда Гингер был в Париже, она поселилась в Петербурге. Числилась в Союзе поэтов, членский билет подписан Гумилевым, однако ничем и никому не запомнилась, что странно, хотя бы потому, что в свои двадцать восемь лет она была заметно старше всех «начинающих». Но в литературе и возраст важен *литературный*, а не паспортный, его отсчет — не от появления на свет, но от явления публике. Присманова — ровесница Цветаевой, всего на год моложе Мандельштама и на два старше Георгиев — Иванова и Адамовича. Тем не менее место ее — среди «младших». В двадцать втором она объявилась в Берлине, где провела два года, — и снова ни упоминаний, ни воспоминаний, единственный след — два напечатанных стихотворения, первая из обнаруженных публикаций. В двадцать четвертом переехала в Париж. В начале следующего вышла замуж за Гингера. В конце — родился их первый сын, Базиль. Три года спустя — второй, Сергей.

Здесь — отступление в наши дни. Несколько лет назад стихи Присмановой были опубликованы в «Огоньке». Примерно через полгода меня разыскал незнакомый человек, только что из Парижа. И передал конверт от Базиля Гингера: письмо, последняя книжка отца — «Сердце», ксероксы воспоминаний о нем Юрия Терапиано и Кирилла Померанцева и отзыва Вадима Крейда на однотомное собрание сочинений Присмановой, изданное в 1990 году в Нидерландах усилиями голландской славистики Петры Кувэ (где же еще и выходить-то книгам русских поэтов?), а главное — кассета с единственной существующей записью голосов Присмановой и Гингера, читающих стихи. На той же кассете — выступление Георгия Адамовича на вечере памяти Присмановой в ноябре 1961 года, в первую годовщину со дня смерти.

По манере чтения она, пожалуй, напомнила позднюю Ахматову (которую не слышала). Отчетливо выговаривая каждое слово, не-актерски, «без выражения», обозначая окончания строк не усилением созвучия, но едва заметным интонационным спадом, она остается к своим стихам глуховато-нейтральной, словно голос уже отделил стихи от нее, автора. У Гингера и тут все иначе. Он явно сдерживает возбуждение, созвучия, не только конечные, но и внутренние, акцентированы, паузы напряжены, как будто стих не хочет отделяться от стиха — и от голоса поэта.

Осенью 1993 года я был у Базиля Гингера в гостях. Комфортабельная парижская квартира. Моложавый: невысокий, очень прямой хозяин. В очках. Безукоризненные стрелки на брюках. Слепящие блики лакированных туфель. Хорошо, хотя с усилием и акцентом, говорит по-русски. Признается, что знает язык достаточно, чтобы *прочитать* сочинения родителей, но не настолько, чтобы *понимать* стихи, вероятно, пиши они прозу, ему было бы легче. Однотомником матери очень дорожит, дал мне его на несколько дней — снять копию. А наутро позвонил и сказал, что посоветовался с братом — и они решили эту книгу мне подарить...

По всему выходит, что Гингер, ко дню встречи с Присмановой, хоть и на пять лет моложе ее, уже «признанный», пусть в своем, молодом эмигрантском окружении, вот-вот вторую книгу издаст, уже написана, намного ее «обогнал» (ее первая книга выйдет лишь в 1937-м). Однако, повторю, соперничества не было. Потому что он сам — сразу и насовсем — признал ее превосходство. Единственный, про кого не скажешь, что он ее недооценил. И не переоценил — в самый раз. Решительно отдал ей премьерство, крупный план, отступил на шаг, в тень. С ним не соглашались — он пропускал возражения мимо ушей. И уже не разобрать: то ли эта «роль второго плана» причиной тому, что он мало написал, то ли взял себе эту роль, трезво зная собственные возможности... Так или иначе, но Гингер определенно самый «неплодовый» из русских поэтов двадцатого столетия: всего несколько десятков стихотворений, из которых для последней, итоговой книги отобрал тридцать шесть.

...Потому что не кажется словом
безграничное поле любви:
снежным пламенем в небе свинцовом,
разложением в смертной крови...

Впрочем, взаимоотношения количества и качества в искусстве — дело темное. Если таковые и существуют, то, насколько знаю, покамест никому не удалось обозначить на эту тему хоть что-то, напоминающее закономерность.

Наследие Присмановой тоже невелико. Двести с лишним стихотворений, одна поэма, три рассказа. Все.

Вглядываюсь в фотографии родителей, подаренные мне их первенцем, сыном двух русских поэтов, французом. Маленькие, любительски невыразительные. Пожалуй, любопытнее обратиться к иронически-субъективной «фотопамяти» Юрия Иваска: «Она, Присманова, двух измерений, фигура из Модильяни, а он походил на старьевщика с Гомельской барахолки». Не путать с Гамельнской.

А Зинаида Шаховская записала не изображение — впечатление от Анны и Александра, объединила, назвала «существами серафическими».

Можно, конечно, добавить сюда кое-какие сведения и подробности «из жизни». Ну, рассказать о том, как во время войны Присманова взвалила на себя все житейские заботы и хлопоты. Потому что Гингеру — с его-то внешностью! — появляясь средь бела дня на улицах оккупированного Парижа началось погибнуть. И в полицейский участок — регистрироваться, что еврей, — он не пошел. Так и уцелел.

Или об основании ими после войны поэтической группы «формистов», куда входили еще Владимир Корвин-Пиотровский и Вадим Андреев. Это выглядело бы эпатажем: сугубая забота о «форме» издавна в господствующей русской критике считалась излишеством, чуть не дурным тоном,— если было бы еще кого эпатировать.

Или о восторженном отчаянии, может быть, отчаянном восторге, охватившем их ненадолго на рубеже сороковых и пятидесятых годов, когда повоенной Франции было не до литературы — и собственной, предмета национальной гордости «великогаллов», не то что эмигрантской, а гордость за Россию-победительницу привела на советско-посольские чаепития тех, кого как будто и представить себе было невозможно переступающими тот порог. То ли собирались они брать советские паспорта, то ли взяли, ради чего Присманова и сочинила единственную поэму — о Верре Фигнер, ее и неудачной не назвал бы, никакая...

Не хочется мне делать всего этого — рядом со стихами. Оставляю будущему биографу. Одно условие: он должен быть нелюбителем умозрительных мифов. Например, о русской эмиграции...

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Анна ПРИСМАНОВА

* * *

Существуя без гроша,
без наружной позолоты,—
лишь плодом своей работы
ты жива, моя душа.

Ты узнала с давних пор,
что любившая когда-то —
в сущности, всегда богата,
как любой монетный двор.

Мечется (совсем как я)
по артериям и венам

не привыкшая к изменам
кровеносная струя.

Но она поможет нам,
настоящее нашедшим,
дать отчет во всем прошедшем
будущим предсмертным дням.

Да, конечно, только кровь,
что томленья не забудет,
самой точной рифмой будет
к слову смутному «любовь».

Треугольник

Обычно угловат над морем мыс,
кончается углом рисунок лодок,
краеугольна печь рыбацких мыз
и треугольны головы селедок.

Глаз маяка, от солнца золотой,
слепит рыбацкий глаз, как рыцарь шпагой.
Широкий пляж с янтарной мелкотой
распластан между дюнами и влагой.

Почти забыты мною латыши,
остыла я к воде и водолазу,
но первый угол здания души
я прислоню к либавскому лабазу.

В окне дитя, схватившись за косяк,
в матроске сине-красной с белым бантом,

висело, как живой трехцветный стяг,
воскресным увлекаясь музыкантом.

К несчастью, музыкальный город был
настроен на дождливую погоду,
и чайки, снизив треугольник крыл,
зигзагами предсказывали воду.

Но вдоль квартир, имевших вид змеи,
картонная меня возила лошадь,
а в сквере ноги быстрые мои
сверкали в Треугольника калошах.

Подняв три церкви равной высоты
(о, свод с тремя небесными ногами!),
казался город мирной суеты
треножником, стоящим над снегами.

Морской старик с соленой бородой
тризубцами бился там о гавань.
Был треуголен парус над водой,
в которой плотник Петр Великий плавал.

С убийственной длиною шли дожди,
стремительно шел ветер, влагой полный,
и сногшибательные, как вожжи,
шли к берегу трехъярусные волны.

* * *

Александру Гингеру

Нас забыли, душа. Мы остались на том пароходе,
грудь которого будет, конечно, разбита меж льдин.
Льдом он сдавлен, как панцирем рыцарь в крестовом походе,
он в молчаньи, в полярном сияньи, остался один.

Только изредка видит он лапы мохнатого гостя.
Кто на тающей льдине в мантилье танцует кадрили?
О, смятенье медведей, их рев, их разбитые кости,
и последний из трюма угрюмо добытый фитиль.

В час, когда пред оркестром, икая, качаются пары,
на краю мирозданья такая волна тишины.
В пустыре не лопух, лишь серебряный пух ваш, гагары.
Льдины — пестрых явлений (павлиньих хвостов) лишены.

Только теплое солнце весною меняет их очерк,
только бремя награды достойно венчает труды,
только вследствие слез на бумаге меняется почерк.
Только холод, душа, прекращает движенье воды.

Голод

Родившись в пасмурной глуши,
где полдни солнечные скупы,
привыкла я черты души
рассматривать посредством лупы.

На улицу в глухом пальто
выходите вы в день ненастный...
Я приближаюсь к вам за то,
что вы, по-моему, несчастны.

Вздывает ветер руки роц.
Прохожий поднимает ворот...
Когда идет в тумане дождь,
бездомным кажется мне город.

Туман глотаёт все углы —
должно быть, голоден он очень.

(И я такими днями мглы
не насыщаюсь, между прочим...)

Углы летящих лебедей
давно уже умчались к югу.
Осталось несколько людей,
что медленно идут друг к другу...

Лошадь

Мы ночью слышим голоса
и явно видим все, что было.
К нам каждой ночью в три часа
приходит белая кобыла.

Не в силах ига превозмочь,
безвольно, но неумоимо
живая лошадь в три точь-в-точь,
как призрак, проезжает мимо.

Ее железная стопа
покорно цокает о камень.
Она не спит, она слепа:
глаза ей выел некий пламень.

За ней цилиндры молока
качаются в пустых бульварах.
Луна взирает свысока,
не беспокоясь о товарах.

Фургон подобно кораблю
колышется на двух колесах.
Не знаю, сплю я или не сплю —
я забываю о вопросах,

о всех запросах бытия,
о днях грядущих и прошедших...
Мне кажется тогда, что я
окончусь в доме сумасшедших.

Соль

Неосторожно названная Анной,
я родилась с ущербною луной.
На первый взгляд, увы, кажусь я
странной,
но взгляд второй мирит тебя со мной.

Пусть скорбь дала мне горькую
зарубку,
по имени я все же — благодать.
Сжимая сердца дышащую губку,
стараюсь я всю соль мою отдать.

Соленый ветер взмылил зыбь (и сушу
испепелил), когда я вышла жить...

Открой свою обугленную душу,
чтоб я могла мой груз в нее вложить.

Подводный мир сливается с высоким,
когда туман сиянием гоним...
Корабль плывет, и все морские соки
кипят и разливаются пред ним.

Плывет он осмотрительно и плавно—
не доплывет до цели никогда.
Не знаю в чем (быть может, в самом
главном!),
и у него — несчастная звезда.

Александр ГИНГЕР

Угол

Незаслуженное чудо
ожидает за углом
тех, которым очень худо.
Обогни стоячий дом.

Усмири тревожный трепет
в шумной и большой груди.

Удержи сердечный лепет.
Темный угол обойди.

Воцари в спокойном сердце
золотую пустоту,
победи в пустынном сердце
кровяную суету.

Темный угол, угол дома
обойди и обогни.
Грянули раскаты грома,
брызнули его огни.

Тем, которым было худо,
стало просто и светло.
Неожиданное чудо
не случиться не могло.

Анне Присмановой

Для вас пишу любя и нарочито
в прямом доверии и простоте.
Читайте тридцатипятичито
хоть этот почерк и осточертел.

А там стихопечатальной машиной
которой век пороги обмелил
смят почерк этот чисто камышиный
побит свинцом и стерт с лица земли.

Глядите верно — ведь еще возможно
пока набор писца не оборвал:
я друг — и твердый и еще не ложно —
еще не холощенные слова.

Песок

Хотя невеста на вокзале
в буфете так была бедна,
что некоторые сказали:
смотрите, как она бледна! —

и в коридорчике вагонном,
лобзая губы, руки жмя,
все унывала пред прогоном:
скажи, ты не забудешь мя? —

свисток безапелляционный,
путь полотняный и песок.
Тоски последней станционной
засыпаны и ток и сок.

Ты видишь маленькие кровы
людей, живущих по краям,
и пропитание коровы,
и лошадей у края ям.

Шаг паровозный, шум тревожный
по берегу рек (и Ок и Кам),
а также славный мелкодрожный
лесок прищпальный по бокам.

Железным и дорожным свистом
начальник рывкнул: вам ползти.
И ты повенчан с машинистом.
Крути, Гаврила! Нам пора.

Зрение

Среди полета и паденья
уравновешивая путь,
неукоснительного бденья
прямым хранителем пребудь...

На склоне зрелости срединной
годов утраченных не жаль.
Назначен глазу опыт длинный:
слабее вблизи,
сильнее вдаль.

Не так ли в зрении сердечном
есть возрасты и времена?

Все перемененно, все конечно,
и жизнь по-разному смутна.

Но постоянно умозрима
успокоительная ночь.
Случайное проходит мимо,
условное уходит прочь...

Дела отчаянья и розни
бесповоротно отмети;
ревнуй о том,

чтоб к смерти поздней
с бесстрашным сердцем подойти.

Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА



Возвращение к Вордсворту

Вильям Вордсворт до сих пор лишен у нас полноценной репутации и культурной биографии. Несколько строк об «озерной школе» непременно присутствуют даже в самом кратком руководстве по зарубежной словесности, однако до сих пор по-русски не издано ни одной книги Вордсворта. Первый всплеск интереса к английским «лейкистам» (В. Вордсворт, С. Т. Кольридж, Р. Саути) отметил еще в 1828 году Пушкин: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскучив однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. Так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнения многих».

Пушкин не случайно поставил рядом имена двух поэтов. Дело в том, что в 1798 году Вордсворт и Кольридж издали совместный сборник «Лирические баллады», открывший новую эпоху в истории английской поэзии. Каждого из них ждала своя собственная поэтическая судьба — в конечном счете их пути окончательно разошлись. Однако именно «Лирические баллады» (со значительными дополнениями переизданные в 1800-м и 1802 году) стремительно завоевали европейскую известность.

Кольридж позднее вспоминал: «*Лирические баллады*» были напечатаны как некий эксперимент: могут ли предметы, по природе своей исключаящие обычные украшения, быть изложены языком повседневной жизни и при этом вызвать удивление и интерес». Соавторы решали эту задачу по-разному: Вордсворт обращался к обыденным событиям и лицам, Кольридж, напротив, отдавал предпочтение ситуациям необычным, нередко фантастическим. Может быть, по этой причине кольриджевское «Сказание о Старом Мореходе» было дважды переведено на русский язык Н. Гумилевым и В. Левиком, баллады же Вордсворта отечественному читателю и ныне почти неведомы.

В «Предисловии» ко второму изданию «Лирических баллад» (1800) Вордсворт подробно разъясняет свои поэтические принципы. Согласно его убеждению, чувства и эмоции живут подлинной жизнью только в сознании, свободном от напряженных интеллектуальных усилий. Оттого резоны простых поселян неизмеримо более истинны, нежели умствования и фантазии горожанина, мыслителя, поэта. Цель настоящего художника — прорваться сквозь заблуждения рассудка, избавиться от привычки упиваться таинственным, необычным, ярким. Вместе с тем Вордсворт подчеркивает, что «каждое стихотворение преследует определенную цель: разум читателя должен обязательно просветиться». Не кроется ли здесь неразрешимое противоречие? Как совместить изображение незатейливого быта простолюдинов с установкой на умственное просвещение читателя? Если не нацупать путей к синтезу этих крайностей, то легко увидеть в вордсвортовских балладах лишь череду утомительных назидательных сентенций о прелестях крестьянской жизни на лоне природы.

Центральное понятие эстетики, по Вордсворту, — «удовольствие» («*pleasure*»). Предполагается, что «удовольствие» читатель испытывает вовсе не от созерцания пасторальных сцен. С другой стороны, любование собственной «моральностью», способностью сочувствовать радостям и печалям простых крестьян тоже не в силах принести читателю подлинно художественное «удовольствие». Для Вордсворта важен прежде всего процесс перехода от обыденного к высокому, от бессознательного к утонченному. Конкретный предмет изображения в конечном счете безразличен: важно не просто заинтересованно следить за рассказываемой историей, необходимо не упустить момент прозрения, наступающего нас в ходе спокойного поначалу чтения. Именно в этот миг незначительное становится фундаментально значимым, читатель находит путь к «удовольствию» и нравственному просветлению.

Сочетание нейтрального тона с необыкновенной интенсивностью лирического чувства — вот ключ к загадке названия сборника Вордсворта и Кольриджа. «Лирические баллады» — сочетание для современников почти немислимое. В традиционной балладе преобладало повествовательное начало, властвовал интерес к развитию событийной интриги. Вордсворту впервые удалось совместить остроту балладного сюжета с эмоциональной изысканностью малых лирических форм. В этом главная причина успеха и необыкновенной популярности сборника 1798 года.

Нынче на дворе совсем другое столетие. Однако изысканный минимализм Вордсворта созвучен проблемам современной русской поэзии, издевавшей, кажется, уже все варианты экспериментаторства. И, может быть, прав Пушкин, сто восемьдесят лет назад утверждавший, что «зрелую словесность» неминуемо ждет возвращение к простоте.

Новые переводы Вордсворта появляются в печати нечасто. Из недавних опытов вспоминается, пожалуй, лишь опубликованная в «Иностранной литературе» баллада «Слабоумный мальчик», переведенная безвременно ушедшим от нас Альбертом Карельским. Игорь Меламед давно работает над переводом полного текста первого издания «Лирических баллад». Нынешняя публикация — очередной шаг к исполнению этого непростого замысла.

Дмитрий БАК

Вильям ВОРДСВОРТ

Стихи, написанные вечером у Темзы вблизи Ричмонда

Как ярк отблеск встречных волн
В час летних сумерек, пока
На алый запад тихий челн
Стремит вечерняя река!
А позади растаял свет —
Улыбка краткого мгновенья!
И ловит движущийся вслед
Обманчивое отраженье.

Так юный думает певец,
Что красок этих вечен пир,
Пока в могиле, наконец,
С ним не исчезнет этот мир.
Хоть и умрет в печали он —
Пусть грезой тешится дотоле!
Кто ж не лелеял сладкий сон
В преддверье горечи и боли?

Струись же до скончанья лет,
О Темза, в блеске нежных волн,
Чтоб здесь мечтал другой поэт,
Как я, видений чудных полн!
Теки, прекрасная река,
Покуда там же плавным ходом
И души наши на века
Не уплывут, подобно водам.

Нет, будь такую до конца,
Как ты сейчас явилась мне,
Затем что светлый дух певца
В твоей сияет глубине!
Сей дух благословил того,
Кто, сам нуждаясь в утешенье,

Оплакал брата своего
 Последней песней сожаленья*.
 О Память! Помолись со мной,
 Челна остановивши бег,
 Чтоб этой скорби ледяной
 Другой поэт не знал вовек!
 Какая тишь! Лишь капель звук,
 С весла упавших! Мир в объятье
 Вечерней тьмы, и всё вокруг,
 Как в снизошедшей благодати.

Нас семеро

Ребенок простодушный, чей
 Так легко каждый вдох,
 В ком жизнь струится, как ручей,
 Про смерть что знать бы мог?

Я встретил девочку, идя
 Дорогой полевой.
 «Мне восемь»,— молвило дитя
 С кудрявой головой.

Одежда странная на ней
 И диковатый вид.
 Но чистый взгляд ее очей
 Был кроток и открыт.

«А сколько братьев и сестер
 В твоей семье, мой свет?»
 Бросая удивленный взор,
 «Нас семь»,— дала ответ.

«И где ж они?» — «Ушли от нас
 В далекий Конвей двое.
 И двое на море сейчас.
 А всех нас семь со мною.

За нашей церковью в тени
 Лежат сестренка с братом.
 И с мамой мы теперь одни
 В сторожке с ними рядом».

«Дитя мое, как может вас
 Быть семеро с тобою,
 Коль двое на море сейчас
 И на чужбине двое?»

«Нас семь,— ответ ее был прост,—
 Сестра моя и брат,
 Едва войдешь ты на погост —
 Под деревом лежат».

«Ты здесь резвишься, ангел мой,
 А им вовек не встать.

Коль двое спят в земле сырой,
 То вас осталось пять».

«В цветах живых могилы их.
 Шагов двенадцать к ним
 От двери в дом, где мы живем
 И их покой храним.

Я часто там чулки вяжу,
 Себе одежку шью.
 И на земле близ них сижу,
 И песни им пою.

А ясной летнею порой,
 По светлым вечерам
 Беру я мисочку с собой
 И ужинаю там.

Сначала Джейн ушла от нас.
 Стонала день и ночь.
 Господь ее от боли спас,
 Как стало ей невмочь.

Мы там играли — я и Джон,
 Где камень гробовой
 Над нею вырос, окружен
 Осеннею травой.

Когда ж засыпал снег пути
 И заблестел каток,
 Джон тоже должен был уйти:
 С сестрой он рядом лег».

«Но если брат с сестрой в раю,—
 Вскричал я,— сколько ж вас?»
 Она в ответ на речь мою:
 «Нас семеро сейчас!»

«Их нет, увы! Они мертвы!
 На небесах их дом!»
 Она ж по-прежнему: «Нас семь!» —
 Меня не слушая совсем,
 Стояла на своем.

Перевод с английского Игоря МЕЛАМЕДА

* В оригинале примечание Вордсворта: «Ода Коллинза на смерть Томсона. /.../ Эта Ода также подразумевает в следующей строфе».

В. А. ТИХОНОВ, академик

«...Я давний и убежденный «рыночник»»

Пока еще многие у нас, в растревоженной и взбужденной России, считают, что нынешний российский кризис развивается в основном по линии противостояния между сторонниками нарождающегося капитализма и защитниками тоталитарного социализма. Нет, уверен, это не так. Борьба сегодня идет между многоликим племенем бесчестных себялюбцев и властолюбцев и людьми здравого смысла, сохранившими в душе совесть и сострадание к человеку.

Это старая история. «Одним праведником вся деревня держится» — видимо, не случайно подобная мысль родилась именно у нас, в России. Владимир Александрович Тихонов — как раз один из тех немногих, кто своей яркой научной и общественной деятельностью разбудил наше общество и показал ему выход из его трагического положения. Причем именно тот выход, которым оно было, как говорится, беременно само, который оно само вопреки всему хранило где-то там, в глубине, в своих недрах и которого не видели (или не хотели видеть) наши кабинетные догматики безразлично демократического или, напротив, коммунистического толка.

Все его работы, посвященные вопросам реформирования экономики, не потеряли свою живейшую актуальность и, уверен, долго еще не потеряют ее. В этом читатель убедится сам, познакомившись с предлагаемой статьей, датированной концом 1993 года. Объяснение этому простое: В. А. Тихонов писал о коренных болезнях и проблемах нашего общества, которые не поддаются быстрому решению и которые нам предстоит решать еще не одно десятилетие.

Реформы пока практически не затронули главный, глубинный порок российской экономики — невероятную степень ее монополизации, парализующей действие любых рыночных механизмов, без чего немислимы ни радикальная структурная перестройка всего нашего экономического потенциала, ни технический прогресс, ни устойчивое равновесие на рынке между товаром и деньгами. По сути дела, мы еще не приступали к ликвидации советского варианта крепостничества в сельском хозяйстве. И, наконец, увлекшись безобразным делом государственной собственности в форме «номенклатурной приватизации», наши новые реформаторы за последние годы не сделали ничего для поддержки малого и среднего частного предпринимательства — главной силы экономического подъема во всем мире, но пока еще не у нас.

И потому никто не может сказать, сколько нам понадобится времени для окончательного отрезвления. Но если когда-нибудь нам все-таки суждено прийти к нормальной, здоровой человеческой жизни — в этом, убежден, будет и немалая заслуга Владимира Александровича Тихонова.

Николай ШМЕЛЕВ

Следовало бы наконец уточнить экономическое содержание той эпохи, которую мы переживаем и цель которой определена как переход к рынку, к рыночной экономике. Подобный лозунг стал, похоже, общепризнанным. Но он неточен. Он может применяться как некое расхожее, обыденное представление. Но вряд ли он удовлетворителен как научное определение.

Нерыночной экономики в современном мире быть не может. Обмен есть неотъемлемый элемент совокупности экономических отношений. Обмен есть рынок. Но вопрос в том, каков он, этот рынок.

Сразу оговорюсь: я давний и убежденный «рыночник» еще с далекой середины шестидесятых годов. Но и в те годы, рискуя вызвать недоумение друзей-единомышленников, утверждал: альтернатива не в противопоставлении «план или рынок», а в том, какая экономическая система господствует, преобладая в обществе: монополизм или свободное предпринимательство. Каждая из них создает рынок по образу своему и подобию.

Рынок может быть монопольным (моно-, полео — единолично торгую), и он может быть свободным, конкурентным. Между этими полярными формами, более того — внутри каждой из них, как правило, имеется множество промежуточных форм, различающихся разной степенью свободы товаропроизводителя и потребителя — покупателя товара. Это неизбежно, ибо рынок всегда есть единство стихийности и организованности. А соотношение между ними определяется конкретными социально-экономическими условиями, т. е. характером господствующей хозяйственной системы, формой государственного устройства, хозяйственными функциями государственного аппарата, системой распределения и присвоения потребляемых и производимых ресурсов.

Последняя треть XIX — начало XX века ознаменовались промышленной революцией, принесшей с собой небывалую ранее концентрацию и централизацию производства. Наряду с новейшими технологиями возникают адекватные крупному производству теория и практика научного управления производством, организация труда. Обладая неоспоримыми преимуществами, крупное массовое производство вытесняет мелкого производителя, а вместе с ним и свободную рыночную конкуренцию, ограничивая тем самым свободный рынок и создавая экономические основы промышленного монополизма. С начала двадцатого столетия промышленные и финансовые монополии активно проникают в государственный аппарат, переплетаются с ним и в известной мере подчиняют его себе. Так формируется система государственно-монополистического капитализма.

Монополизм имеет ряд привлекательных социальных черт. Концентрируя производство на крупнейших предприятиях, осуществляя его централизацию, монополизм создает условия для ограничения рыночной стадии. Тем самым ослабляется опасность риска. Создается некая система социальных гарантий для предпринимателей. В какой-то мере эти гарантии распространяются и на рабочих.

Вместе с тем монополизм, ликвидируя стихию свободного рынка и возможности свободной конкуренции, создает факторы, противодействующие экономическому и технологическому прогрессу. Неизбежным следствием монополизма является чрезвычайно инертная, тяжеловесная, невосприимчивая к техническим, технологическим и организационным новшествам структура производства. Концентрация капитала и производства неизбежно сопровождается утяжелением технологии, а ограничение свободной конкуренции создает препятствия для свободного межотраслевого перелива капитала — самого надежного инструмента поддержания соответствующей общественным потребностям структуры производства.

Не случайно и сейчас в высококонцентрированных, монополизированных отраслях удельный вес продуктов-новинок ежегодно в четыре — шесть раз меньше, чем в немонополизированных. Даже в Японии, стране изумительно быстрого научно-технического прогресса, доля товаров-новинок в продукции монополизированных предприятий электронной, радио-, приборостроительной и судостроительной промышленности составляет ежегодно не более десяти, а в продукции малых и средних предприятий — свыше сорока процентов.

Монополизм всегда несет в себе опасность застоя. Чем выше уровень монополизма и чем сильнее авторитарный характер подчиненной монополиям политической власти, тем сильнее эта опасность. Не случайно ни одна развитая страна мира не избежала более или менее длительного периода борьбы с авторитаризмом в политике и монополизмом в экономике. Идеология и практика госмонополизма не смогла оказаться долговечной там, где она не сопровождалась авторитарной политической властью, т. е. там, где монополии не сумели овладеть государственным аппаратом.

Силой, противодействующий монополизму, практически всюду выступает мелкий частный бизнес, находящийся в развитых странах под покровительством правительства. Так, в начале 30-х годов в Америке правительство Рузвельта, провозгласив новый курс, прежде всего ввело целую серию антитрестовских законов — так называемое антимонопольное законодательство, тем самым восстановив свободный рынок и поддержав мелкий и средний бизнес.

Малый и средний бизнес всегда и везде выступает носителем истинно либеральной экономики. Развитие малого и среднего бизнеса отчетливо проявляется

как в становлении свободного демократического экономического строя, так и в формировании соответствующего демократического политического строя. Ведь мелкий частный предприниматель — это человек, который хочет жесткого выполнения законов и свободы деятельности в пределах, установленных этими законами. Ему органически чужда постоянная смена правил игры в экономике. Наконец, именно представители малого бизнеса составляют тот самый средний класс, который служит надежной социальной базой подлинно свободных выборов, свободного функционирования парламента, свидетельствующего о степени демократизации общества.

Именно малый бизнес обеспечивает необходимую маневренность экономики страны и приводит тем самым структуру народного хозяйства в соответствие с постоянно изменяющимися потребностями общества. Промышленные гиганты ведь слишком неповоротливы и достаточно консервативны. Малый бизнес оперативен и гибко приспосабливается к любым изменениям рыночной конъюнктуры. Его стремление овладеть душой и кошельком покупателя порождает и постоянно стимулирует творческий поиск, погоню за новшествами в технологии и структуре производства.

Во всех развитых странах промышленные гиганты сосуществуют с великим множеством мелких и средних предприятий. Гигантизм не оправдывает себя, и потому нормальное национальное хозяйство — это единство крупных, средних, мелкоотварных и даже нетоварных производителей.

Сегодня соотношение между крупными, малыми и средними предприятиями таково: в Японии — 99,3 процента малых и средних и только 0,7 процента промышленных гигантов; в Америке — 16 процентов крупных предприятий, 84 — мелких и средних; в Германии примерно то же соотношение; в Италии — крупных два процента, 98 мелких и средних.

Советская хозяйственная система изначально формировалась как система жесткого государственного монополизма. Ленин в 1913—1916 годах усиленно занимался изучением теории и практики государственно-монополистического капитализма и сделал широко известный вывод о том, что государственно-монополистический капитализм есть непосредственное «преддверие» социализма. (Подробный анализ взглядов Ленина на систему государственного монополизма и реализацию Сталиным этой системы на практике я изложил в книге «Кооперация: за и против», опубликованной в 1991 году.)

В то самое время, когда правительство Рузвельта принимало антимонопольное законодательство, в СССР монополизм бесповоротно стал государственной политикой. И с тех пор ему не только не создавались и не создаются препятствия, но, напротив, он постоянно усиливался и усиливается путем сращивания монополий с аппаратом политической и административной власти.

Государственно-монополистическая система, формируясь, создавала и создала соответствующий ей монопольный рынок. Его главные отличительные черты: монопольная собственность государственного аппарата на все производимые и потребляемые ресурсы, монопольные, т. е. установленные госаппаратом, цены на все без исключения товары, обращающиеся на так называемом «организованном» рынке, монопольные прибыли, распределяемые и присваиваемые государственным аппаратом, монополизированные тем же государственным аппаратом кредитные ресурсы и регламентированные инвестиции.

Но монополизм, даже государственный, не уничтожает, а лишь жестко ограничивает товарную природу экономики. Он модифицирует рынок, ограничивает его стихийность и неимоверно расширяет сферу организованности, технократической плановости. Рынок вергается в рамки жестких административных параметров, устанавливаемых государством.

Конечным результатом государственно-монополистического советского строя и монопольного рынка и явилось состояние экономики, сложившееся к началу «перестройки». Это прежде всего уродливая структура народного хозяйства. С одной стороны, она не соответствовала объемам и структуре имеющихся в стране природных и трудовых производственных ресурсов. С другой — не только не совпадала, но радикально противоречила объемам и структуре потребностей общества: при постоянном перепроизводстве сырьевых материалов и некоторых видов продукции машиностроения, а также военных отраслей, регулярно и в плановом порядке воспроизводился дефицит потребительских товаров. Пустые полки магазинов, карточное распределение продуктов. Рутинное состояние сельского хозяйства с его колхозно-совхозной, т. е. тоже монопольной, системой производства. Разрушенные прямые связи потребителей и производителей товаров.

Хозяйственная система полностью утратила всякую способность к саморегулированию и саморазвитию. Не менее, а, пожалуй, наиболее важным и даже трагическим результатом государственно-монополистической системы явился упадок общественной, в том числе деловой, активности людей, падение интереса к труду, возникновение и широчайшее распространение иждивенчества, социальной апатии. Все это привело к возникновению и усилению факторов, затормаживающих технический и экономический прогресс. Воистину государственный монополизм породил и привел в действие глубинные, имманентно присущие ему факторы, обусловившие неизбежное загнивание экономической системы.

Глыба государственного монополизма увлекла нас на дно и породила глубочайший кризис всей хозяйственной системы. На этом фоне и был провозглашен лозунг «перехода к рынку».

Известно: четко сформулированная цель определяет стратегию ее достижения. И, напротив, аморфно сформулированная цель дает возможность двусмысленного ее толкования, позволяет сместить стратегические ориентиры. Именно так и произошло: из ложного лозунга «перехода к рынку» родилась и соответствующая стратегия реформ. Давно назревшая потребность в либерализации экономической системы оказалась подмененной движением к «рыночной экономике», при этом рынок-то сохраняется и воспроизводит все черты монопольного.

Пришедшие в то время к политической власти новые люди с охотой восприняли сложившиеся правила игры монополистической системы, ее аппарата и начали свой путь к реформам с реализации именно тех тенденций, которые объективно присущи монополизму, — с повышения цен под флагом «расчистки путей к рынку».

Некоторые экономисты, в том числе и я, пытались убедить правительство — сначала правительство Рыжкова, позже — Гайдара, что нельзя поддаваться соблазну начинать модернизацию экономики с реформы цен. В создавшихся условиях, настаивали мы, любое изменение цен будет означать укрепление монопольных цен, их искусственное подталкивание вверх, даст новый толчок инфляции. Но правительство пошло по привычному, испытанному пути и добилось именно предсказанных результатов.

Цены на все без исключения товары непрерывно повышались. Это был отнюдь не стихийный их рост, а сознательное и целенаправленное повышение волею властных управляющих государственных структур. Первый крупный толчок был задан правительством Н. И. Рыжкова в мае 1990 года по инициативе бывшего в ту пору министром финансов В. Павлова. Второй — в 1991 году самим Павловым, ставшим к тому времени главой правительства. И, наконец, третий — уже российским правительством. В перерывах между этими крупными одновременными толчками шло нерегламентированное, но подталкиваемое сверху повышение цен волею местных властей, отраслевых министерств и государственных предприятий — монопольных производителей преобладающего большинства товаров.

Власти, в том числе демократически избранные, к тому времени верховные и иные советы, стремясь нивелировать пагубные последствия роста цен для населения страны, принимали одну за другой все более широкомасштабные социальные программы, увеличивая государственный долг и стимулируя эмиссию денежных знаков. Каналы денежного обращения интенсивно переполнялись, рубль обесценивался, подталкивая темпы роста цен и приближая уже неотвратимую гиперинфляцию.

Когда российское правительство уверовало, что государственные цены достигли совершенно невероятного уровня, было принято решение об экстренном отказе от системы государственных монопольных цен и переходе к системе «свободного ценообразования». К тому моменту государственные цены уже были централизованным путем подняты за пределы сколь-нибудь разумного уровня.

Что же означала либерализация цен в тех условиях? По сути она означала, что государственный аппарат высокого уровня отказался от права монопольного установления цен на все товары, производимые в России, но передал эти функции более низким уровням государственной структуры. Монополия с уровня Кремля была спущена на уровень предприятия. Каждый руководитель получил право устанавливать цену на свой товар, отталкиваясь от уровня отмененных государственных цен и не думая о том, какова толщина кошелька покупателя. Стремление повысить крайне низкую зарплату людей, занятых в промышленности, дополнительно подталкивала директоров предприятий к повышению цен на свою продукцию.

В результате выстроилась цепочка цен, охватившая все вертикальные нити в экономике, начиная с добывающей промышленности и кончая отраслями по производству предметов потребления. Еще более укрепились позиции крупных государ-

ственных предприятий как монополистов — позиции, которые всегда культивировались в нашем обществе. Разница состояла лишь в том, что раньше пирамида монополизма замыкалась на Кремле или Старой площади, а теперь возникло множество локальных монополистических пирамид. И в каждой отрасли такие пирамиды заканчивались даже не министерством, не государственным комитетом, а тем предприятием, которое производило данный продукт, не имея конкурентов, но обладая нужными материальными ресурсами.

Вспомним, на фоне каких событий стали формироваться эти новые структуры. После августа 1991 года начался ускоренный развал народного хозяйства. Именно ускоренный — развал как таковой начался давно и был неизбежен. Но никто не ожидал таких темпов, какие начались осенью того года. Провозглашенная куцая и уродливая приватизация приняла форму прямого воровства со стороны чиновничества сохранившихся и вновь созданных структур. И мы прямоком попали из системы государственной монополии в не менее, а может быть, еще более опасную систему чиновничьего монополизма. Монополизма наибольшего, который, ничего не производя, овладевает собственностью и безграничная алчность которого способствует еще большему ускорению инфляции и развала экономики. К сожалению, этой алчностью заболели и некоторые люди демократического толка, пришедшие к административной власти.

Тогда-то мы особенно ясно увидели, как вреден лозунг приватизации с подспудным содержанием: приватизировать по форме, но сохранить власть чиновничьего аппарата над приватизируемыми предприятиями. Ведь даже тот, кто ничего не хочет знать в экономике, понимает, что основными ресурсами народного хозяйства по-прежнему распоряжаются государственные чиновники.

В этих условиях мы и пришли к новому скачку цен после января 1992 года. А весной того же года разразился кризис наличных платежных средств — ведь у нас до того времени господствовала система безналичных расчетов в народном хозяйстве. На нее-то и надеялась команда Гайдара, разрабатывая свою экономическую стратегию. Однако уже в 1989—1991 годах государственные предприятия отработали достаточно эффективный механизм превращения безналичных денег в наличные, используя, в частности, кооперативный сектор экономики, а затем — народившуюся систему коммерческих банков.

Но вот что особенно печально: к началу реформ у нас уже сложилась социальная группа людей, занятых в свободном секторе экономики. Прежде всего в кооперативах. Эти люди обладали, по сути, только одной возможностью накопления капитала — накопления его в денежной форме. В период своего становления (в 1988—1991 годах) они были лишены права доступа к материальным ресурсам: могли арендовать у государственных предприятий какие-то помещения, оборудование, а законных возможностей получения в свои руки материальных ресурсов не имели. Основной их капитал функционировал и существовал в денежной форме. И этот капитал в результате ценового скачка стал быстро обесцениваться.

Большинство производственных кооперативов ко второй половине 1992 года либо стали нищими и прекратили свое существование, либо должны были использовать свой денежный капитал для быстрого оборота в сфере обращения — в оптовой и розничной торговле, в биржевых махинациях и т. п. Наиболее дальновидные обратились к сфере банковского капитала, ибо союзный закон о кооперации позволял создавать банки. А кто-то просто вернулся в область теневой экономики, в которой родился и из которой вышел и легализовался в единственно возможной тогда форме свободного предпринимательства — кооперативной.

Стало быть, в результате либерализации цен и платежного кризиса пострадали две группы населения, все накопления которых существовали в виде денежных ресурсов: во-первых, люди, живущие на заработную плату, и, во-вторых, едва народившиеся предприниматели, не обладавшие материальными производственными ресурсами.

Но одновременно с обесценением денежного капитала стала резко расти масса капитала, материализованная в производственных ресурсах, которые находились в монопольном пользовании государственных предприятий и государственного аппарата. То есть изменение системы ценообразования, с одной стороны, привело к быстрому обесценению денег, а с другой — способствовало концентрации национального богатства, воплощенного в производственных ресурсах, в руках людей, управляющих государственной экономикой.

Так, либерализация цен без либерализации экономики, хотя несколько расширила для некоторых групп населения возможности более масштабного предпринимательства (в основном в сфере обращения), но и способствовала мощному усилению

монополистического характера производства и монополистических позиций устоявшихся руководителей крупных предприятий. Структура народного хозяйства, ради изменения которой, казалось бы, замышлялась реформа, осталась практически неизменной, поскольку его разрушение одинаково захватило как те отрасли, продукция которых была относительно излишней для общества, так и те, по продуктам которых складывался перманентный хронический дефицит.

Предвидело ли правительство Гайдара тот результат реформ, который вылился в укрепление монополистического характера нашей экономики? Думаю, в полной мере — нет. Но дальнейшие шаги и правительства Гайдара, и правительства Черномырдина показывают, что правительственный аппарат в общем-то не хочет разрушения экономики монопольного типа. Ведь там прекрасно осознают, что единственной и действительно мощной опорой политической власти является непосредственное господство над материальными ресурсами страны. Ослабление властных структур, которое мы наблюдали в 1993 году, обострение столкновений законодательной и исполнительной власти, которое привело к октябрьской трагедии, были объективно обусловлены начавшимися процессами приватизации, ослаблявшими государственный сектор экономики.

Идеологией сохранения системы монополизма наш государственный аппарат просто пропитан. И вопрос для меня в том, понимают ли руководители правительства, что эта идеология существует, дает ростки, может быть источником некоторых достаточно устойчивых негативных тенденций. Сегодня я вижу, что мои опасения 1989 года оправдываются. Сознательно или неосознанно, исходя из ежедневной необходимости затыкать какие-то бреши в экономике или по каким-то иным причинам мы идем по пути формирования монополистической системы экономики.

Нетрудно увидеть зависимость от правительственных решений руководителей не только государственных предприятий, но и предприятий акционированных. Эти руководители находятся с правительством не просто в союзнических отношениях, а в отношениях подчиненности. Просто пользуются теперь иными экономическими рычагами — льготными кредитами, субсидиями, пролонгацией долгов и т. п. Сейчас в стране возникает значительно более опасное явление, нежели наш традиционный государственный монополизм. Появились относительно самостоятельные, относительно обособленные от государственного аппарата монопольные группировки. Этим группировкам нужна органическая связь с правительственным аппаратом, обладающим массой производственных и финансовых ресурсов.

Государственная монополия была монополией вне какой-либо конкуренции, потому что она объединяла в своих руках властные функции и в политике, и в экономике. Это порождало и некую, хотя и не очень обременительную, ответственность правительства перед народом. Пусть на нищенском уровне, но поддерживалась гарантированная заработная плата, формировались так называемые «общественные фонды потребления» и т. д. И на каждой ступени аппарата чиновник знал, что он отвечает за исполнение команд «сверху», и испытывал страх наказания за их неисполнение.

Сегодня ситуация изменилась. Я вижу усиливающуюся опасность в том, что на почве нашей привычной идеологии государственного монополизма начинают вырастать частные монополии, которые безответственны перед людьми и за материальные, и за социальные условия жизни. И эти, уже частные, монополии через своих ставленников сращиваются с правительством, заставляют работать его на себя. Государственный аппарат в таких условиях по-прежнему осуществляет политические функции управления, но уже в интересах частных монополистических групп.

Быстро нарождающаяся «приватная» монополия ничем не лучше, но хищнее, алчнее, безжалостней монополии государственной. И эта монополия уверенно прорывается к власти.

Ход предвыборной кампании 1993 года показал, что теперь и сами предприниматели стремятся войти во власть. Везде и всюду, в любом государстве предприниматели во властные органы не рвутся. Предприниматель, лично идущий во власть, — это, по моему, человек, служащий каким-то теневым монополистическим объединением. Именно им требуются свои чиновники во властных структурах. И, когда я вижу знакомые мне лица, объясняющие с экранов телевизоров, что предприниматели только сами могут представлять свои интересы в парламенте, я убежден, что как предприниматели эти люди ничего из себя не представляют. Они выступают лишь как некие марионетки более крупных финансовых группировок, быть может, пока не проявившихся на поверхности.

Оценивая ситуацию, я думаю, что правительство видит выход из сложившегося в экономике положения в том, чтобы на базе сложившихся государственно-моно-

полистических структур создавать формально свободные рыночные, а фактически точно такие же монополистические структуры, связанные с правительством, но непосредственно в него не входящие. Я имею в виду развивающуюся в последнее время идеологию формирования промышленно-финансовых групп, холдингов, возникающих на базе государственных структур. Причем преобладающее место в них занимает государственный капитал. То, что руководитель холдинга не называется сегодня министром, по сути, ничего не меняет.

Иначе говоря, идет мощная концентрация объединенного государственного, частного и участного акционированного капитала. Мы вновь торопимся создать условия для максимально высокой степени «управляемости» экономики. Совсем нетрудно разглядеть, что такая система есть попытка создать просто-напросто второе издание централизованной государственной системы управления хозяйством.

Примитивного единого центра уже не получится. Но возникнет система полицентризма, которая со временем выработает механизм множества локальных и отраслевых центров, в конечном итоге связанных воедино. И нет никаких сомнений в том, что правящее ядро страны будет состоять из представителей именно этих центров. Вот тогда мы получим во всей красе типичную современную систему государственно-монополистического капитализма, а может быть, социализма, ибо существующей разницы в этих названиях не останется.

За позвившимися в последнее время лозунгами восстановления государственной власти над экономикой (а они провозглашаются уже не только оппозицией) скрываются очень мощные и далеко идущие цели, может, пока не до конца осознанные. Сама логика формирования и существования государственно-монополистической экономики неизбежно породит соответствующий политический режим. Так было всегда в истории.

Почему Сталин решил в 1929 году так резко ликвидировать нэп? Потому что успехи нэпа, расширение свободного предпринимательства и свободной торговли, становление класса частных собственников вскоре стали бы реальной опасностью для коммунистического режима. Ленин, вводя нэп «всерьез и надолго», понимал эту опасность. Подтверждением тому служит инцидент на X съезде РКП(б). Расшифровывая ленинскую формулу, Ольминский предположил, что она означает отступление от коммунистических идей примерно на четверть века. Ленин резко оборвал Ольминского, заявив: «Глупости. Дай Бог пять — десять лет продержаться». И Сталин к концу десятилетия резко повернул руль на уничтожение нэпа и главной ее социальной силы — свободного крестьянства и мелкого производителя.

Активная борьба президента Рузвельта против крупного монополистического капитала объясняется не только тем, что развившийся монополистический капитал начал серьезно уродовать американский рынок, ослаблять долю потребительского рынка в экономике США или создавать базу для широких экономических и политических спекуляций, но и потому, что Рузвельт предполагал возможность возникновения из государственного монополизма благоприятных условий для формирования тоталитарной политической системы в стране.

В Германии не нашлось политиков, равных Рузвельту. И всевластие промышленных монополий на волне возмущений полуголодного народа породило политический режим Гитлера.

Развитый государственно-монополистический строй — надежнейшая основа любого вида политической диктатуры. И нам нельзя отмахиваться от подобной опасности. То, что сейчас происходит, — это не создание новой экономической и политической системы. Идет битва между старыми «государственными» монополистами и новыми «капиталистическими» монополистами. Основа правительства — система монополизма. Та же идеология, я уверен, будет характерна для парламента. Политические цели обеих групп одинаковы: получить места в парламенте и контролировать правительство, исходя из собственных интересов.

И не важно, кто победит в этой битве. В том и другом случае монополии прорываются к власти, соединяются с государственным аппаратом и подчиняют его себе. Так бывало в истории, так будет и у нас, если не сможем уничтожить самую идеологию монополизма.

Пора понять, к чему может привести сохранение государственного монополизма в сочетании с концентрацией монопольной собственности новых частных финансовых групп. А из понимания, возможно, вырастет и осознание необходимости подлинной, а не мнимой борьбы с монополизмом.

Нет ничего вреднее половинчатых реформ. Дают они, как правило, совсем не тот результат, который ожидался. А главное — идею, лежащую в основе реформы,

дискредитируют. Нельзя было начинать модернизацию экономики с реформы цен. Либерализация цен — необходимый, существенный, но частный элемент реформы, возможный лишь как следствие глубинного преобразования содержания нашей экономики. А содержание этого преобразования состоит в установлении и абсолютном преобладании системы свободного предпринимательства. Монополизм и свободное ценообразование — антиподы. Они не могут сосуществовать. Потому и формула «переход к рынку» вполне устраивает те социальные силы, которые стремятся сохранить монополизм в той или иной его форме.

Свободный рынок возникает из одной-единственной экономической системы. Системы свободного предпринимательства. Он никогда не возникнет, если сохраняются даже отдельные признаки государственного монополизма в экономике. И к нему не надо никакого перехода. Он возникает неизбежно, если существуют благоприятные условия для свободного предпринимательства. Вот почему я считал и считаю, что **содержание экономической реформы — не переход к рынку, а переход от государственно-монополистического строя к строю свободного предпринимательства, к созданию наиболее благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса.**

Наши прежние правители не могли понять, что структура народного хозяйства только тогда может считаться эффективной, достаточно маневренной и гибкой, когда преобладают небольшие предприятия. Да и теперь нет такого понимания. Ни одной более или менее серьезной программы, направленной на поддержку малого бизнеса, нам через правительство провести не удалось. Даже такие, которые крайне выгодны правительству и бюджету.

Зато можно показать, в чью пользу работает правительство. Не так давно наш монополист — «Автоваз» — удвоил цену на свои автомобили, а на них и до этого не было платежеспособного спроса. Чтобы поддержать монополиста, государство увеличило вдвое таможенные тарифы и акцизы на импортные автомобили. Торговлей у нас в стране занимаются как раз малые и средние фирмы. Причем наш покупатель благодаря их деятельности мог приобретать более качественные и дешевые автомобили, чем вазовские. Вот далеко не единственный пример решения, несущего прямой ущерб как малому бизнесу, так и рядовому покупателю, но позволяющего монополисту укреплять свои позиции.

Абсолютно пусты в этих условиях разговоры об антимонопольном законодательстве. В этой сфере мы пытаемся что-то заимствовать из законодательства развитых стран. Но там закон направлен на недопущение монополии, у нас же монополия — жизненная реальность. Антимонопольное законодательство возможно только в денационализированной экономике. Не может государство издавать законы, направленные против самого себя. Как может выступать против монополий наш Антимонопольный комитет, если главным монополистом по-прежнему является правительственный аппарат, в состав которого входит он сам?

Сегодня даже западные предприниматели, которые хотят способствовать развитию у нас частного малого и среднего предпринимательства, со всеми своими предложениями вынуждены идти не непосредственно к своим российским партнерам, а к правительственным чиновникам.

Какие условия необходимы для успешного развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере производства?

Во-первых, следует изменить систему налогообложения, чтобы предприниматель мог значительную часть прибыли инвестировать в развитие производства. Налоги — вот главный инструмент. Каждый политик должен понимать: чем выше устанавливаешь налоговую ставку, тем меньше у тебя гарантий получить этот налог. Делай наоборот. Снижай налоговую ставку и тем самым создавай условия, при которых человек соглашается добровольно этот налог отдать в государственную казну. Налог уровня 10—12 процентов от прибыли — это сейчас было бы то, что необходимо и для становления малого бизнеса, и для развития крупного производства.

Постоянное ужесточение налоговой политики не приносит желаемого улучшения бюджетной политики и ухудшает социально-экономические условия воспроизводства в России. Чем жестче налоговая система, тем больше стремление производителей и торговцев выскользнуть из-под налогового пресса. Над тем, как усилить его, размышляют сотни чиновников, а как обойти налоговую систему думают миллионы, накапливая опыт в практической деятельности. Соотношение явно неравное, и последние всегда перетягивают канат на себя.

Жесткий налог отталкивает капитал из тех отраслей, где необходим серьезный бухгалтерский учет, т. е. из материального производства. Капитал переливается в

посредническую и розничную торговлю, денежную и валютную систему, в коррупционно-криминальную сферу, в теневую экономику в целом.

Правительству следует наконец понять это и отказаться от бесплодного «завинчивания» налоговых гаек. Налоговая система на нынешнем этапе должна быть проста, «как мычание коровы». Или, как говорил один из моих друзей, обладать максимально высоким коэффициентом дуруемости.

Следует немедленно и резко снизить налоговые ставки на прибыль. В современных условиях прибыль — настолько неопределенная бухгалтерская категория, что налог на нее всегда чреват преобладающим элементом субъективизма чиновника. Предприниматель постоянно находится под ударом, а чиновник гарантирован беспрепятственно реализуемой возможностью коррупционных доходов.

Стремление защитить отечественную промышленность при дефиците ее мощностей и отсталой технологии повышением налогов на импортируемые потребительские товары ведет только к одному — постоянному инфляционному давлению на рынок, а следовательно, на кошелек покупателя. Цены получают новый импульс к росту, а курс рубля — к снижению.

Особо обращаю внимание на налоговую дискриминацию сферы фондового рынка, сферы услуг. Мне было понятно, чем руководствовались Рыжков и Павлов, вводя непомерно высокие налоги в этих сферах. Но с тех пор положение в материальной промышленности резко ухудшилось. Недвижимость и земля товарного рынка не заполнили. Таким образом, капитал в основном перекатился в сферу обращения и финансов. Именно здесь он теперь действует, хотя и ограниченно, но несколько более активно. Замедление его движения и в этой сфере лишь еще более ухудшит условия экономической жизни в стране.

Во-вторых, несмотря на трудности, надо выискать средства для создания государственных фондов поддержки малого предпринимательства. Государство не вправе оставлять его один на один со своими проблемами, как оно сделало это в свое время с кооперативами. Государственные затраты очень быстро окупятся с лихвой. И уж, естественно, ни в коем случае нельзя пускаться в авантюры типа той, о которой недавно высказался премьер Черномырдин, — относительно ликвидации «мелких лавочек».

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в Японии, например, — следствие дальновидной политики правительства. В Японии имеется одно промышленное министерство — промышленности и торговли. И самое крупное управление в этом министерстве — управление поддержки малого бизнеса. Бюджет ежегодно выделяет этому управлению достаточно крупные средства, и они идут только на поддержку малых предприятий. Условие одно: использовать средства исключительно на модернизацию технологии. Имеется у этого управления сеть региональных контор, которые постоянно контактируют с малым бизнесом, знают, куда выгодно вложить государственный капитал, по их рекомендации отбираются проекты модернизации технологии и выделяются средства фонда. Нам необходимы не один, а несколько подобных фондов.

Мелкие и средние предприятия в основном являются кооперативными. В свою очередь, большинство их состоит в крупных кооперативных и корпоративных объединениях, основная цель которых — создание условий для выживания и нормального функционирования мелких предприятий в условиях конкурентной борьбы с крупным бизнесом. Благодаря умной политике правительства эта цель успешно реализуется.

Есть еще одно важное условие развития свободного предпринимательства — деаппаратизация государственной машины. Россия ее переняла полностью от бывшего СССР. Одумайтесь, правители России! Вы создали государственный аппарат, который, судя даже по тем зданиям, которые вы «национализировали», не меньший по численности и не менее вредный по функциям и методам службы, чем старый, еще догорбачевский. Расцветает аппаратный бюрократизм настолько махровый, что нет веры в возможность разумных и деловых решений. И человек повсеместно придавлен административной громадой. Как и ранее, придавлен и унижен. Особенно это ощущают предприниматели. Даже в тяжелейшие времена становления кооперативов не испытывали предприниматели такого разнузданного и бессовестного взяточничества и произвола.

Думаю, что ключевым вопросом реорганизации экономического строя России все еще является вопрос о частной собственности на землю. Кстати, именно этот вопрос служит питательной средой постоянного усиления политического противодействия процессу реформирования.

● «...Я давний и убежденный «рыночник»

После Указа Президента РФ земля стала наконец рыночным товаром. Впрочем, пока это произошло лишь номинально, и путь к подлинному земельному рынку отнюдь не усыпан розами.

Еще юристы Древнего Рима утверждали, что частная собственность — это такое право обладания имуществом, для реализации которого не требуется никакого иного права, кроме права частной собственности. Однако в процессе российской земельной реформы законники-консерваторы не раз пытались называть «собственностью» то, что самому «собственнику» запрещалось дарить, продавать, сдавать в залог, передавать по наследству...

Сделан лишь начальный шаг, который обязывает всерьез заняться разработкой механизма реализации права граждан России на обладание землей в качестве объекта собственности. И тут мы можем столкнуться с нашей традиционной опасностью: реализовать благие намерения в столь уродливой форме, что благо превратится во зло, демократическое право — в элемент несправедливости, средство социального преобразования — в источник социальных опасностей.

Прежде всего частной собственности на любое имущество без права его отчуждения (купли-продажи), как известно, не существует. Не только хозяева дачно-огородных клочков земли, но все главные землевладельцы — крестьяне, фермеры — должны обладать этим правом. Только тогда они будут настоящими собственниками. А значит, свободными людьми.

Противники радикальной земельной реформы упорно предрекают расхищение земель. Опасность скупки земельных участков, конечно, имеется. И закрывать на нее глаза было бы неправильно и недальновидно. Однако мир накопил достаточный арсенал средств, противостоящих такой опасности. И мы в наших законах можем предусмотреть полный набор препятствий спекулятивной скупке земельных участков.

Если бы мы были единственным народом, который переживает период земельной реформы, тогда были бы оправданы бесконечные споры о путях такой реформы. Но мы же не первые попадаем в подобное положение. Я приведу такой пример. Что такое прусская система земледелия? Это господство крупных помещичьих латифундий. До 1946 года они существовали неизбежно. В чем суть земельной реформы 1946 года в Германии? Помещичьи земельные владения были национализированы, переданы муниципалитетам во владение, а затем, если очень грубо, поделены на двадцатигектарные участки.

Часть их была сразу отдана крестьянам, на оставшиеся наделы был объявлен конкурс. Разрешили куплю-продажу участков. И очень скоро началось постепенное увеличение размеров земельных угодий. Все происходило без какого-либо участия государства, путем естественной трансформации: одним становилось невыгодно хозяйствовать на своем наделе, и они продавали его полностью или частично. Зато более удачливые укрупняли свои хозяйства. Шел вполне естественный процесс концентрации производства в нормальных масштабах.

Ныне в Германии существует высокопродуктивная, очень добротная система фермерских хозяйств. Конечно, государству приходится серьезно заниматься проблемами фермерства, но это уже нормальные хозяйские дела. Кстати, даже сейчас, когда крестьянские хозяйства обладают сорокалетним опытом, контроль со стороны властей за использованием земли, недопущением ее порчи остается постоянным и действенным.

Бояться ли того, что у нас, по расчетам, на семью приходится порядка десяти гектаров? Конечно, в степных зерносеющих районах этого крайне мало. Сумеют ли крестьяне довести свои наделы до оптимальных параметров? Если наши парламентарии сохраняют запрет на свободную куплю-продажу земли, то крестьяне так и останутся со своими малюсенькими парцеллами. А если будет запущен механизм купли-продажи, то неизбежно пойдет та нормальная концентрация землевладения, которая наблюдается абсолютно во всех развитых странах.

Запрещая куплю-продажу земли, наши законодатели не соображают, к каким последствиям приведут их запреты. А последствия таковы: консервация малых участков. Невозможность соединять и укрупнять наделы. Более того, крестьянину, чтобы обустроиться на своем участке, требуются немалые средства. Ему надо приобрести необходимую технику, оборудование. Он идет в банк за кредитом. Но банк не дает ему денег. Почему? У банка нет уверенности, что кредит будет возвращен. Что делается в таких случаях на Западе? Крестьянин вправе заложить свою землю в банк под кредит, который он получает. Но мы, лишив крестьянина права на куплю-продажу, а следовательно, на залог земли, ликвидировали механизм, способствующий прогрессу его хозяйства.

Механизм ипотечного кредита кажется нашим доморощенным марксистам орудием нещадной эксплуатации крестьян. Как и всякое крупное экономическое явление, этот механизм, естественно, неоднозначен и противоречив. Но именно он на-

ряду с другими кредитными инструментами служит рычагом технической вооруженности крестьянских хозяйств, инструментом прогресса технологии, интенсификации производства.

Да, крестьянин может разориться, остаться безземельным, то есть попасть в то же положение, в каком он находился, будучи в колхозе. Но что же делать, жизнь никогда не была легкой. Всегда действовал закон естественного отбора. Каждый человек обрел путь специальности и тот вид работы, к которым он больше способен.

Иногда запрет на куплю-продажу земли объясняют попыткой избежать сокращения занятости в сельском хозяйстве. Но так или иначе объективные тенденции все равно будут вымывать из сельского хозяйства определенную часть населения. Но вопрос-то вот в чем: до сих пор из сельского хозяйства уходили самые дееспособные, молодые. А у нас есть возможность создать такую систему, которая приведет к сокращению числа занятых, но выбывать будут люди, не способные работать в сельском хозяйстве.

Какой я вижу эту систему? Во-первых, необходимо ликвидировать все ограничения к праву частной собственности на землю, т. е. предоставить возможность купли-продажи земли.

Во-вторых, потребуется очень жесткий закон, запрещающий вывод земель из сельскохозяйственного оборота. Земля при любых обстоятельствах остается народным достоянием. И России очень нужен свод законов о ее хозяйском использовании.

Мне, например, не нравится формула президентского Указа, ограничивающая возможность вывода земли из сельхозоборота. Не суть этого ограничения, а именно способ, звучащий традиционно по-советски. Землю разрешается выводить из сельхозоборота при наличии... разрешения местных властей. О, если бы мы были уверены в неподкупности этих властей, если они хотя бы отдаленно напоминали идеалистов-романтиков! Вот почему важно сформулировать законные — административные, государственные — ограничения, которые станут действительным и практически непреодолимым барьером для вывода земель из сельхозоборота. Подобное должно стать редким исключением.

И, наконец, в-третьих: основной путь реорганизации сельскохозяйственного производства я вижу в кооперировании крестьян. Но не в том кооперировании, которое происходило в форме коллективизации в 1929—1934 годах, когда, по существу, была произведена «крепостнизация» крестьян, лишенных личного производственного имущества — земли, скота и т. д. Говоря о кооперировании в нынешних условиях, я имею в виду то, что проводилось широкой полосой во Франции. Именно кооперирование крестьянских хозяйств позволило стране провести «зеленую революцию», занять достойное место на продовольственном рынке Европы и в других регионах, превратиться в постоянного экспортера сельхозпродукции.

Кооперирование частных хозяйств не подразумевает обязательного формирования производственных кооперативов. Земля остается субъектом индивидуального хозяйствования крестьянской семьи. Кооператив формируется для выполнения определенных функций, которые выгодно осуществлять совместно: агросервис, ремонт техники, ветеринарное обслуживание, кредитные операции, переработка сельскохозяйственного сырья, гарантии сбыта продукции.

Еще в предреволюционной России, равно как и в нэповские времена, крестьяне создавали свои кооперативы. И ныне в западных странах не найти, пожалуй, ни единого фермера, который не состоял бы в одном, а чаще в нескольких кооперативах. Но заметьте, ибо это принципиально важно: каждый фермер — член кооператива сохраняет свою хозяйственную самостоятельность. И даже при укрупнении ферм путем их добровольного слияния четко фиксируется доля каждого в производстве и квота каждого в доходах. В этом и состоит экономическая сила фермы, ее способность к приобретению и применению системы машин, современной технологии, высокой производительности.

Каковы же в этой системе роль и место государственного аппарата? За ним сохраняются лишь те функции, которые вытекают из самой природы правового государства в гражданском обществе: защита земледельцев и потребителей их продукции от засилья монополий, ограждение их от безудержного роста цен и, что особенно важно, обеспечение реального контроля над использованием земли и недопущение технологий, неблагоприятных для здоровья людей и среды обитания.

Если наше государство позаботится, как все нормальные правительства, о том, чтобы крестьянские хозяйства развивались, накапливали богатство и расширяли свое производство, мы постепенно и получим тот достаточно мощный слой фермерских хозяйств, который составит основу будущего сельского хозяйства страны. Правительство должно отчетливо представлять: без государственных субсидий, финансовой поддержки крестьянскому хозяйству не выжить — горожане никогда не смогут обладать доходами, позволяющими через цены на продовольствие полностью покрыть все производственные издержки в сельском хозяйстве. Придется про-

кладывать дороги: прекрасная сеть дорог в западных штатах США была порождена развитием семейных фермерских хозяйств — они строились с целью максимально упростить и удешевить доставку фермерской продукции в места ее переработки.

И еще: необходим Указ президента о социальной и имущественной поддержке офицеров, в котором наряду с другими мерами предусмотреть надделение демобилизующихся офицеров земельными угодьями размером не менее десяти гектаров для ведения самостоятельного фермерского хозяйства, выделение им безвозвратной ссуды на обзаведение и возвратного кредита на условиях, предоставляемых фермерам. Тысячи активных, физически и профессионально подготовленных людей существенно улучшат социальную структуру и состав сегодняшней массы предпринимателей, в том числе в сельском хозяйстве, серьезно изменяя социально-психологический климат в этой среде, оздорвят ее. Нами представлялся в аппарат президента проект такого Указа с расшифровкой возможных источников финансирования.

Конечно, все перечисленное — достаточно трудное дело. Но такие крупные социальные преобразования никогда легкими не бывают.

Невзирая на трудности, рано или поздно — в России скорее всего поздно, чем рано — страна придет к хозяйственной схеме организации земледелия, которая характерна для абсолютного большинства развитых государств, где основой являются крестьянские семейные хозяйства. Можно ли ускорить этот процесс? Можно, если вспомнить свою историю, вдумчиво отнестись к зарубежному и отечественному опыту.

Почти четверть века я вместе со своими коллегами занимался проблемой внутрихозяйственной организации в колхозах и совхозах, в частности, созданием так называемых безнарядных звеньев. За небольшими трудовыми коллективами на длительный срок закрепляли землю, технику. В России действовали до 250 тысяч таких механизированных звеньев. В иных за одним механизатором закрепляли до 400 га земли. Производительность труда здесь была в четыре — семь раз выше, чем в обычных колхозных и совхозных бригадах. Заработок получали в виде доли от выращенной и проданной колхозу продукции. Несмотря на свою эффективность, такая форма труда в силу известных причин тогда не прижилась. Она опередила свое время. Сегодня вполне реально возродить ее в виде кооперативов частных собственников. Думается, это путь, позволяющий сохранить при разделе земель потенциал крупных колхозов и совхозов.

В 1979 году по приглашению правительства Вьетнама я вместе с группой ученых организовал обучение вьетнамских руководителей разных уровней основам управления хозяйством. Предложили новую политику закупок сельскохозяйственной продукции, новую систему цен на нее и опыт наших механизированных звеньев. Все это было быстро реализовано на практике. Память о тех днях — Золотой Орден Труда, которым наградило меня правительство Вьетнама. В сопровождающем документе было отмечено, что предложенные нами меры означают для Вьетнама три миллиона тонн дополнительного товарного риса ежегодно. К сожалению, мы своими достижениями дорожить не научились. Сейчас самое время вспомнить о них.

Таким образом, наша рыночная система все еще является системой монополистической. При известном ослаблении государственного монополизма быстро формируется монополизм негосударственных, полугосударственных, а кое-где криминальных структур. Наиболее радикальным средством преодоления этого монополизма в общем виде является создание условий, благоприятствующих созданию новых рабочих мест в малых и средних предприятиях, основанных на частной и кооперативной собственности и создающих в конечном счете ту конкурентную среду, которая при государственной поддержке противостоять монополизму всех перечисленных форм. Если мы этого не признаем и будем сохранять иллюзии, что система монополизма еще на что-то полезное способна, тем дольше и тяжелее окажется период реформирования экономики. Все это имеет непосредственное отношение к преодолению инфляции, ибо без создания базы антимонопольной политики борьба с инфляцией безрезультатна. Этим определяются и глубинные меры противодействия ей.

Публикация Ю. Е. ТИХОНОВОЙ.



Достоевский и Ницше о Боге и безбожии

Статья написана студентом третьего курса философского факультета МГУ, написана, что называется, без посторонней помощи. Большая философская одаренность обычно проявляется в более зрелом возрасте...

Автор рассматривает вопросы, выходящие за рамки узко профессионального философского интереса и касающиеся самого существенного в современных умонастроениях. О Ницше наша молодежь много наслышана, о нем часто говорят и спорят. Его афоризмы питают пафос самоутверждения личности, внутренней силы, стремления к власти над обстоятельствами и людьми, права на эгоизм. К такому жизнепониманию ныне приходят нередко и без чтения Ницше, который, вероятно, устыдился бы своих последователей, увидев только выражения их лиц и походку... Достоевский знал то, о чем думал Ницше, знал и более того. Как заметил А. Эйнштейн: «У Достоевского все есть». Но отечественного мыслителя у нас знают много меньше. «Болезненный какой-то и о болезненном писал»... А ведь именно Достоевскому принадлежит постижение глубочайших основ душевного и духовного здоровья.

Появление таких работ, как предлагаемая журналом, стало возможным с падением идеологических оков. Но освобождение от оков нередко сопровождается в среде молодежи утратой дисциплины мышления, легковесностью суждений и убеждений. Такие студенты, как Алексей Скворцов, позволяют думать, что с Вл. Соловьевым и его продолжателями не ушла у нас способность к глубокому и оригинальному философскому мышлению. Будем надеяться на продолжение полета...

*В. Н. ШЕРДАКОВ,
доктор философских наук, профессор МГУ*

*Меня Бог мучит.
Ф. М. Достоевский*

Есть ли Бог? Как нам ответить на самый сложный, по мнению Достоевского, вопрос? Многие ответят запутанно: что-то, похоже, есть, что — неизвестно, и обязательно спросят: а как вы понимаете Бога? Следующий вопрос будет: сами-то вы Бога веруете?

Часто нам приходится в разговорах бросать короткие привычные реплики «да» и «нет»; мы редко задумываемся над их категоричностью: ошиблись — не страшно, «да» надо превратить в «нет» и наоборот. Но так мы себя ведем в мало-значительных светских разговорах. В них иногда можно ответить положительно или отрицательно и на вопрос о бытии Бога. Но кто в наше время всерьез об этом спрашивает и серьезно отвечает о Боге? Вопрос настолько личностный, что мы чувствуем себя неуютно, столкнувшись с ним. Поэтому мы стараемся или ответить шуткой, или придумать удачную фразу, которой закроем тему, или переводим разговор от Бога к религии...

Однако бывают ситуации, когда шутки и афоризмы неуместны. К сожалению, о Боге задумываются пока лишь в горе, страдании, перед лицом смерти. И тут, задавший себе вопрос о бытии Бога, поймет огромную его значимость, осознает сложность своего положения и сложность мира. Мыслить о Боге как об абсолюте, а не герое из Библии крайне трудно; простое и ясное Его ощущение дано избранным, нам же остается лишь мышление, которое при малейшей доле честности признает свою неспособность двигаться к абсолюту. Мы слишком привыкли рассудоч-

но постигать мир, и первый же крах рассудка приводит нас в отчаяние. Постепенно вопрос о Боге теряет для нас свою актуальность, а кое-кто поспешит назвать его предрассудком: все равно познать нельзя, зачем же мучиться? Действительно, изводить себя в наше время согласится мало кто... А Достоевский мучился вопросом о Боге... «Главный вопрос, который проведется во всех частях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Божие»¹, — писал он по поводу задуманного романа.

В чем же сложность поставленного вопроса? Мы должны хорошо это понять. Задумаемся: нам предстоит честно признаться в своем отношении к Богу. Скажем: «Бога нет», — ничего особенного не прозвучит. Сколько людей, называющих себя атеистами, заявляют именно так. Для них Бог — это понятие, выдуманное насмерть запуганными природой людьми, а мы цивилизованные граждане: как можно верить в древние предрассудки? Давайте уважительно относиться к современным верующим, но когда-нибудь здравый смысл возобладает и над ними... Но сколько раз мы наблюдаем, как убежденные атеисты в положении, требующем от них ответственного решения, начинают взывать к Богу, а иногда и креститься; если же в ситуации многое зависит от удачи, то здесь имя Божие произносится едва ли не каждые полминуты... Когда заговариваешь с такими людьми об их непоследовательности, многие начинают оправдываться и ссылаться на привычку, но иногда можно получить в ответ: «Кто знает? Может, что-то и есть...» Все дело в этом «что-то», ибо перед лицом опасности или смерти мало кто найдет в себе мужество сказать «Бога нет». Именно в этом смысле о мужестве говорили Ницше, а затем Сартр. Бог этот мир покинул, мы взвалили на себя тяжелую ношу — остались наедине со своей свободой. Теперь каждое решение требует силы (Ницше) или ответственности (Сартр). Но даже смельчак Ницше, у кого хватило смелости заявить, что все высшие ценности упадочны, не склонен прямо говорить «Бога нет». «Бог умер», «Бога убили» — звучит немного иначе, по крайней мере Ницше отличает того безумца, возвестившего о смерти Бога, от толпы атеистов. А Сартр отмечает: «...если бы Бог и существовал, это ничего бы не изменило... просто суть дела не в Его существовании». Это не согласуется с другой мыслью Сартра: «Экзистенциализм — не что иное, как попытка сделать выводы из последовательного атеизма»², ибо атеизму вовсе не все равно, есть ли Бог или нет. Главная задача и мужество мыслящего о Боге состоит в том выводе, который он сделает из однозначного утверждения о Его бытии. Ницше пытался сделать такой вывод. Его решение: если Бога нет, то мы сами должны стать творцами в добре и зле. Попробуйте-ка опровергнуть автора «Заратустры»...

Не меньшей смелости требует утвердительный ответ о бытии Бога. Сказав «да», мы с еще большей неизбежностью должны сделать выводы для себя. Нас не оставит чувство вины: мы не живем по велению Божию, не соблюдаем заповедей, хотя дело даже не в них; можно быть верующим человеком, не зная заповедей, но в любом случае стремящийся к Богу ощущает, что живет он недостойно, а есть истинная жизнь, жизнь в Боге, которой и надо достичь. Думающий человек понимает: признав Бога, мы должны изменить свое поведение. Но как же трудно это сделать! Мы не чувствуем сил на нравственное преображение, жизнь в Боге недостижима, абсолютная святость невозможна — это понимают все. Так появляется пессимизм, вера в наилучшее колеблется; в таких условиях размышления о Боге, о себе, о мире и их взаимосвязи становятся ненужными: зачем зря себя изводить сознанием собственного греха?

Получается, обладая в малейшей степени интеллектуальной честностью при серьезном рассмотрении проблемы, мы побоимся дать однозначный ответ о бытии Бога, опасаясь ответственности за те выводы, которые мы должны будем сделать из принятого решения. «Вот так нас в трусов превращает мысль», — говорил Гамлет. Страх ответственности заставит нас ответить: «Не знаю, мало думал». Есть люди, которые ответят четко, но таких мало, для большинства, как и для Сартра, что есть Бог, что нет, поведение их не изменится. «Житейское равнодушие», — так бы назвал подобное состояние Ф. М. Достоевский. Он подчеркивал: убежденный атеист поднялся на более высокую ступень духовного развития, чем тот, для кого проблемы Бога не существуют. «...Равнодушие только совсем не верует. Атеизм самый полный ближе всех, может быть, к вере стоит»³. В сущности, тот, кто, отрицая Бо-

¹ Письма Достоевского. № 386 от 25.03.1870.

² Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм.

³ Записные тетради Достоевского. 1935, с. 229.

га, говорит о социализме и об атеизме, размышляет над тем же вопросом, «только с другого конца», — замечает Иван Карамазов.

Житейское равнодушие — состояние, сходное с растительным, и находящийся в нем чувствует себя вполне комфортно. Но в любой момент он может попасть в ту ситуацию, о которой мы вели речь, и столкнуться с вопросом о Боге... Чуть-чуть поднявшийся над своим прежним состоянием, не имея сил сделать выбор, бывший равнодушный понимает: существование его ценности не имеет и ничем оправдано быть не может. Логическое самоубийство... Любые попытки обрести смысл жизни обречены разбиться о «ничто», о понимание неизбежности близкой смерти. «Не буду и не могу быть счастлив под условие грозящего завтра нуля»⁴, — говорит один из самоубийц-безбожников, монолог которого приводит Достоевский. Даже служение человечеству не даст нам успокоения, ибо все люди конечны, и, вероятно, человечество когда-нибудь исчезнет в результате «любви» к нему очередного безумца. Зачем же служить ему, если это все равно не спасет его от гибели? И даже если допустить, что лет через миллион люди все-таки устроятся гармонично в «правовом обществе», то умерший миллион лет назад даже не узнает об этом. Прийти в отчаяние здесь есть от чего, и самоубийство логическое может превратиться в настоящее — таких случаев много...

Как же защитить себя от бессмыслия? Достоевский видит выход в признании действительного бессмертия души. Если мы будем верить, что земным существованием жизнь не оканчивается, то и любовь к людям становится возможной. Достоевский сам называет данное утверждение «голословным», т.е. не обоснованным строго логически (как можно рационально обосновать бессмертие души?), но, похоже, тут присутствует нечто большее, чем логика. Вопрос стоит определенно: сможем ли мы поистине жить без признания бессмертия души? Можно ли назвать жестко ограниченный во времени отрезок земного существования жизнью? Наверное, это понятие включает в себя нечто большее, а именно наполненность нашего существования смыслом, т.е. пониманием, что живем мы не зря, не случайно. Но как может быть неслучайным единичное явление меня в мир по капризу природы? Пусть даже человек — закономерное природное явление, но природы только земной, есть ли люди где-нибудь в бесконечной вселенной — неизвестно. Получается, что человечество случайно, т.е. опять же бессмысленно. Если же мы предположим бытие разумных существ во всей вселенной, то почему, не ограничивая жизнь пространственно, мы ограничиваем ее временно? Это непоследовательно... Смысл может быть только в вечной жизни, и когда осознание вечности наполнит наше существование, тогда мы обретем смысл. Кто более будет дорожить жизнью: уверенный в конечности своего существования или верующий в бессмертие души? Конечно же, первый: живем мы один раз, и поэтому надо и просуществовать подольше, и успеть побольше получить всяческих благ. Но стремящийся успеть пожить до смерти в отчаянии будет метаться от одного образа жизни к другому и, не испробовав в итоге ничего, быстро откажется обрести смысл. Судорожная попытка в короткий срок найти его оборачивается не желанной целью, а, наоборот, потерей надежды обрести полноту бытия. Иначе поведет себя второй персонаж. Он не станет цепляться за земную жизнь, будучи уверенным, что за ней последует иная. Такой человек может жертвовать собой ради утверждения жизни против смерти, ибо ценит не только свою, но и любую жизнь. Смысл он будет искать не спеша, отличая нравственное поведение от безнравственного, т.к. понимает, что в следующей жизни, вероятно, придется отвечать за эту, а бессмертие вовсе не гарантирует полноту жизни. Ее надо заслужить бескорыстными, самоотверженными поступками.

Рассмотренные нами типы людей во многом идеальны. На самом деле мало кто делает выводы из бессмертия души: спокойное и однообразное существование не располагает к этому. Достоевский полагал, что только в страдании человек может задуматься о своем предназначении и постичь его. Мы не рождены для счастья, его, как и полноту жизни, надо заслужить бескорыстной любовью к людям. Возможна ли она в мире? Достоевский бы ответил: возможна, если есть Бог; Ницше бы ответил: невозможна и не нужна. Оба они прожили жизнь, полную страданий, как физических, так и душевных. Поэтому стоит обратить внимание на то, как решали проблему Бога и какие выводы из нее для жизни делали два величайших страдальца.

Как мы уже отмечали, вопрос о бытии Бога Достоевский считал главным в нашей жизни. «...Вопросы о том, есть ли Бог и есть ли бессмертие... первые вопросы

⁴ Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. Голословные утверждения.

и прежде всего)⁵, — говорит Алеша Карамазов. Тот, кто над этими вопросами не задумывался, обречен на пустую жизнь. И ответить на главные вопросы должно только утвердительно. Достоевский не верил в возможность абсолютного атеизма: «Никто не может быть не убежден в существовании Бога. Я думаю, что даже и атеисты сохраняют это убеждение, хотя в этом и не сознаются, от стыда, что ли...»⁶. Отрицающий Бога попадает в логический тупик: рационально доказать, что Бога нет, он не может — слишком много неизвестного есть еще на Земле. Он начнет нам говорить о пороках церкви, укажет на противоречия в Писании, на слабость древних людей, выдумавших для утешения себе Бога. Но не о Боге будет говорить этот человек, а о людях, их пороках и несовершенствах. Говорит князь Мышкин: «Сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они... будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то»⁷. Так, Ницше, объявляя о смерти Бога, вынужден бороться с моралью, а отсюда и со «слабыми и неудачниками», мораль придумавшими. Тем не менее Достоевский продумывает разные виды приближения к атеизму и следствия из него.

Самый логически последовательный из героев-атеистов — Кириллов. Его Бог измучил до болезни, до помешательства. Он уверен, что «Бог необходим, а потому должен быть», но, с другой стороны, убежден: «...Его нет и не может быть»⁸. Его душу разрывают пополам две страшных силы: с одной стороны, ему даровано свыше ощущать «пять или шесть секунд» «присутствие вечной гармонии». «Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда». Он признается: «В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит»⁹. Сам Бог стучится в сердце Кириллова: как тут не уверовать? Но другая, не менее могущественная, сила, не дает ему верить — невероятная гордость. Он утверждает, что «жизнь есть боль, жизнь есть страх», «все подлецы» и люди нуждаются в другом мире — мире гордости и свободы. Для достижения его надо лишь прекратить выдумывать Бога и выказать своеволие: самому стать на место Бога, и тогда и люди, и Земля перемянутся физически, исчезнет время. Бесспорно, Кириллов обладает огромной силой, если его богоборческие суждения выдерживают живое восприятие Бога. Однако выбор все же должен быть сделан, колебания не для таких людей, как Кириллов. Для него это выбор — вопрос жизни и смерти. «Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?»¹⁰ — спрашивает он у Верховенского. И выбор сделан — он сделан в рассуждениях Кириллова о том, что все хорошо: «Кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — хорошо»¹¹. Для Кириллова стерта граница между добром и злом, для него существуют только счастье и свобода; в этом смысле он говорит: «...Все хороши», т.е. свободны. Тот, кто научит, что «все хороши», тот «мир закончит», и «имя ему — человекобог» (предвосхищение ницшеанского сверхчеловека!). Одна мысль не дает покоя Кириллову: «Неужели никто на всей планете, кончив Бога... не осмелится заявить своеволие в самом полном пункте?»¹² Этот же вопрос будет мучить и Ницше. Видимо, с Богом до конца не покончено; нужен акт абсолютного своеволия, чтобы раз и навсегда доказать: Бога нет, и человек свободен. «Ставрогин... не верует, что он верует», — говорит Кириллов. Это же мы можем сказать и по отношению к нему. Он желает верить, что Бога нет, но как же быть с теми «пятью секундами абсолютной гармонии»? «Я обязан неверие заявить», — провозглашает он, но как это сделать? Тем более Верховенский поддевает его: «...Вы веруете, пожалуй, еще больше попа». Ответ у Кириллова есть: «...Самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому»¹³. Совершивший самоубийство сам станет Богом, ибо проявит полное своеволие и независимость, освободится от страха и смерти и того света. Кириллов жизнью своей желает доказать, что Бога нет. А раз так, то мы сами боги. Эта мысль, по мнению Кириллова, великая. Осознавший ее — «царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе».

Сам себя Кириллов причисляет к «богу по неволе». Ему первому пришла в голову эта убийственная мысль: «Если Бога нет, то я Бог», и теперь он уже обязан

⁵ Братья Карамазовы, ч. 2, кн. 5, 3.

⁶ Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994, с. 68.

⁷ Идиот, ч. 2, 4, 7.

⁸ Бесы, ч. 3, 6.

⁹ Там же, ч. 3, 5.

¹⁰ Бесы, ч. 3, 6.

¹¹ Там же, ч. 2, 1.

¹² Там же, ч. 3, 6.

¹³ Там же.

убить себя, «иначе кто же начнет и докажет»? Все узнают, все поверят, что Бога нет и они свободны; на этом месте «переломится история». Ироничное замечание Верховенского: «Кому узнавать-то? Тут я да вы...» и многовековой опыт, свидетельствующий о том, что на человека, на практике доказывающего свои убеждения, смотрят в лучшем случае как на безумного, не могут остановить помешавшегося на своем подвиге самоубийства и одновременно убийства Бога Кириллова, и он кончается с собой...

Мы вправе спросить себя: возможен ли такой человек, как Кириллов, на самом деле или же этот образ — целиком выдумка писателя? Живет же множество атеистов, и никто из них с собой кончать не собирается... Действительно, Кириллов — человек огромной силы, а его интеллектуальная честность, пожалуй, превзойдет честность изобретателя этого понятия Ницше, который повторил логику Достоевского — Кириллова, но уперся в другую проблему, о чем речь впереди. Признаем: вряд ли мы ныне найдем людей, размышляющих о Боге так, как это делал Достоевский. Его Кириллов — человек, бесспорно, помешанный, но возможно ли остаться в спокойном, здравом рассудке, когда мыслишь о том, что бесконечно превосходит тебя? А тот, кому дано почувствовать мировую гармонию, не будет ли его поведение резко отличаться от обычного? Кириллов желал не только убежденности, но и доказанности; ни одно рациональное обоснование не сравнится с жизненным — это испытали те, кто умер за какую-либо идею...

«Безбожника-то я совсем не встречал ни разу, а встречал вместо его суетливого... — говорит Макар Иванович Долгорукий в «Подростке». — ...Есть такие, что и впрямь безбожники, только те много страшней этих будут, потому что с именем Божиим на устах приходят»¹⁴. Ставрогин, Верховенский, Раскольников — люди во многом суетливые, хотя для них вопрос о Боге тоже жизненно важный. Они либо Бога не принимают, либо Его забывают и действовать пытаются соответственно. Им не открыта мировая гармония, как Кириллову, и поэтому они чувствуют глубокое разочарование в жизни (Кириллов же был счастливым). Ставрогину прийти к Богу помешали его гордость и презрение к людям, судьба Верховенского неизвестна, Раскольников, пройдя через очищение страданием, Бога принял. Однако самый сильный богоборец у Достоевского — Иван Карамазов. Он Бога принимает, но мира созданного принять не может, т.е. идет по дороге сатанинского бунта.

Достоевский писал в ответ на обвинения его со стороны атеистов в темной и ретроградной вере в Бога: «Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман»¹⁵. Иван Карамазов превосходит Кириллова и по своему духовному развитию, и по своей страсти. Он понял то, что «человекобог» не понял: абсолютное своеволие приведет к страшным последствиям. Станет возможна антропофагия, любые преступления; мысль о таком исходе для Ивана, очень болезненно реагирующего на зло, невыносима. «Злодейство... должно быть признано самым необходимым и самым умным выходом из положения безбожника»¹⁶, — подводит итог мыслям брата Дмитрий. Но почему же старец Зосима говорит Ивану, что тот не верует в бессмертие души, называет его «мучеником, забавляющимся со своим отчаянием»? Иван соглашается с ним. Он признает Бога, но не может понять своего очень непростого вывода: «Если Бога нет, то все позволено». Эта мысль не дает покоя Ивану. Он желает найти четкое и ясное доказательство, но находит лишь опровержения: наш мир устроен так, что в нем возможны любые, самые жестокие извращения божественных заповедей. Бездны зла... Для многих людей все позволено; неизвестно, что же еще надо совершить, чтобы в обществе признали твой поступок безнравственным, а не стали оправдывать его разными обстоятельствами. Как можно принять такой мир? Как совместить «все дозволено» с божественным бытием? Отрицать Бога Иван не будет, но не есть ли мировое зло отрицание христианства? Мучения Ивана происходят из-за его неспособности любить людей, своих ближних («разве что дальних») — в этом он признается Алеше. «Иван никого не любит», — говорит про него отец. Мало того, он не верит в Божию любовь к миру и поэтому видит в нем одно зло. Его любовь к человечеству расходится с божественной к людям. «Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству»¹⁷. Иван бунтует из вполне гуманных соображений. Он признается в сильнейшей страсти к жизни, но

¹⁴ Подросток, ч. 3, 11.

¹⁵ Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994, с. 67—68.

¹⁶ Братья Карамазовы, ч. 1, кн. 2, 6.

¹⁷ Братья Карамазовы, ч. 2, кн. 5, 4.

понимает, что с его бунтом жить нельзя. Даже страдания, неистовые мучения над главными вопросами бытия не могут дать ему полноты жизни, ибо он забыл о вселюбящем, всепрощающем Боге. В поэме о Великом Инквизиторе Иван рисует грандиозную картину отступления людей от Христа (заметим, что в одной коротенькой главе Достоевский превосходит или переосмыслил множество западных религиозных учений), а в конце повествования брата Алеша спрашивает у него: с кем он, с Инквизитором, задумавшим исправить подвиг Христа, или с Христом? Иван признается в своем равнодушии, но от формулы «все дозволено» не отказывается. Все дозволено для созидания счастья человеческого, даже пойти против Бога. «Ты убьешь себя сам, а не выдержишь»,— восклицает Алеша, ибо нет такой силы, способной выдержать неприятие всего мира. Но богоборец уверен: такая сила есть, «сила низости карамазовской», т.е. разврат, нравственная деградация. Иван считает, что выдержит до тридцати лет, а потом «все дозволено» возьмет верх над признанием Бога и постепенно можно будет дойти до житейского равнодушия. Но до указанного возраста Ивану в здравом уме дожить не довелось... Мысль о вседозволенности была подхвачена Смердяковым, и тот убил Федора Павловича Карамазова. Первый же практический вывод из собственных размышлений вверх Ивана в безумие. Он не смог перенести вины за преступление, которого фактически не совершал, но спровоцировал небрежно брошенной мыслью.

Без веры в Бога для Достоевского невозможны ни настоящая нравственность, ни подлинная любовь к людям. Заключенный в тюрьму Митя Карамазов говорит Алеше: «Меня Бог мучит... А что, как Его нет?.. Тогда если Его нет, то человек шеф земли, мироздания... Только как он будет добродетелен без Бога-то?.. У меня одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относительная»¹⁸. Если мы будем отрицать существование единого морального идеала, подкрепленного Высшим авторитетом, то придется признать, что возможны всякие представления о морали, в том числе совершенно противоположные. Но когда они сталкиваются друг с другом, мы видим образцы самых губительных безнравственных действий. Если мораль приводит к аморализму, то или мораль ложная (рассуждение Ницше), или она относительна и нет никаких обязательных нравственных норм. Но можно рассуждать и по-другому: существующий порядок вещей далек от должного; слишком большие расхождения во взглядах на нравственность говорят лишь о несовершенстве людей. Тогда все морали представляются нам в большей или меньшей степени искажением и отступлением от единого нравственного идеала из-за людских грехов и слабости. На этом основании возможна терпимость друг к другу носителей различных моральных установок и совместное стремление к нравственной Чистоте. Очень важно научиться меньше оценивать поступки окружающих и больше свои, иначе значимым и моральным будет казаться не сам поступок, а его оценка. Достоевский считает, что судить людей — дело не наше, а Божие. «Помни особенно, что не можешь ничьим судьей быть,— говорит старец Зосима.— Ибо, был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего передо мною, не было бы»¹⁹. Христианское учение понимается Достоевским не как этика, а как жизнь, и заповеди Христа — не ограничитель поведения (как часто толкуется мораль), а некие установления свыше, следуя которым, мы получим полноту жизни в этом мире и вечную жизнь в ином.

Но как нам удостовериться в бытии Бога, как уверовать в Него? В мире так много зла, и нам не дано ощущение мировой гармонии, как Кириллову. Может быть, прав Ракитин, утверждавший, что идея Бога «искусственная в человечестве»? «Доказать тут нельзя ничего,— ответил бы на наш вопрос старец Зосима,— убедиться же возможно. Как? Чем? опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей»²⁰. Пожалуй, этот аргумент посильнее, чем различные «телеологические» и «космологические» доказательства. Если любишь людей, то есть для тебя Бог, не любишь — Бога нет. Здесь нам надо серьезно задуматься... Любовь к людям Достоевский понимает не как любовь к «дальному» человечеству (иначе бы его мысли не отличались от светского гуманизма), а как любовь к каждому человеку со всеми его слабостями и пороками. «Любите человека и во грехе, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле»²¹, — учит старец. Иван Карамазов, как и многие наши совре-

¹⁸ Братья Карамазовы, ч. 4, кн. 11, 4.

¹⁹ Там же, ч. 2, кн. 6, 2.

²⁰ Там же, ч. 1, кн. 2, 4.

²¹ Братья Карамазовы, ч. 2, кн. 6, 3.

менники, не верил, что так любить возможно, ибо это очень трудно, может быть, ничего более трудного и нет на Земле. Но без любви бескорыстной не получим мы ни полноты жизни, ни радости, ни «ощущения живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим».

Нравственный закон дан не только людям; ему подчиняется и все бытие. Тайна Божия совершается и в людях, и в природе. «Да неужто,— спрашивает юноша у старца Зосимы,— и у них Христос?» «Как же может быть иначе,— последовал ответ,— ибо для всех слово, все создание и тварь, каждый листик устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие»²². На животных и в неживой природе нет греха — в этом условие вечной Красоты мира. Долг человека — возлюбить мир как творение Божие, относиться к нему незлобиво и с благоговением. «Брат мой у птичек прощенья просил», — вспоминает Зосима. Как же отличаются приведенные мысли Достоевского от учений, видящих в мире лишь неодушевленную материю, хотя бы и наделенную движением! Думаю, что истоки нравственного отношения к миру лежат в рассуждении Достоевского, а не его оппонентов.

«Все, кроме человека, безгрешно», — проповедует старец Зосима. Ныне мы как никогда далеки от Христа (об этом красочно рассказал Иван в поэме об Инквизиторе), есть от чего впасть в отчаяние. Но отчаяние — серьезный грех. Достоевский верит в осуществление Царства Божия на земле, пусть оно наступит через миллионы и миллионы лет, но наступит обязательно. Вероятно, к тому времени люди настолько изменятся, что исчезнет само понятие «человек», ибо «земной человек, эгоист, есть существо «неоконченное», «переходное». Из человека разовьется существо, свободное от эгоизма, осуществляющее заповедь «возлюби всех, как себя»²³. В это трудно поверить, но без идеала Царства Божия любить людей, а значит, и поистине жить, невозможно.

Достоевский не представлял мир без Бога; отклонение от него ведет к гибели личности, к людским бедствиям: «Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома»²⁴. Бог мучил Достоевского всю жизнь, сделался для него самым важным вопросом бытия.

Не меньшей страстью и не меньшими мучениями были проникнуты раздумья о Боге Фридриха Ницше. Но если Достоевский говорит Богу «да», то Ницше говорит Богу «нет» (не «нет Бога», а «нет» Богу — это важно!). Немецкий философ часто называется самым последовательным богоборцем в истории человечества. Иногда прямо противопоставляют христианство и ницшеанство. Но о какой-либо последовательности взглядов автора «Воли к власти» говорить очень сложно. Скорее это последовательная цепь противоречий. Творческая и духовная жизнь Ницше — постоянное переосмысление своих взглядов, сдача старых позиций и завоевание новых. Ни одно из его произведений не получилось таким, каким его задумывал автор, и нередко он очень нелестно отзывался о своих же книгах. Например, свою первую серьезную работу «Рождение трагедии из духа музыки» он впоследствии называл «дурно написанной, неуклюжей, тягостной»²⁵. Но есть одна идея, которую Ницше проводил во всех своих произведениях, начиная от детских эссе и кончая теми работами, в которых он уже приближается к черте, разделяющей безумие и здравый рассудок. Это даже не идея, а вопрос, измучивший немецкого «ученика философа Диониса», а для многих из нас нынче совсем потерявший смысл: достойно ли человечество лучшей жизни или оно навсегда останется таким же несовершенным, как сейчас? Другими словами: признаем ли мы свое нынешнее состояние правильным и достойным или полностью пересмотрим все свои обычаи, всю мораль, короче, всю культуру? Ни одно «косметическое» изменение не поможет, на него не согласен Ницше. Он покушается на всю современную культуру, которая в большей мере христианская. Ей не под силу сделать людей лучше. Речь идет о переходе от современного жизненного упадка, выраженного в отчуждении людей от всего великого и прекрасного, к героическому сознанию, от мелочных суждений современной морали к свободе духа.

Мир, более чистый и прекрасный, рисуемый в воображении Ницше, очень сходен с миром Древней Греции, дошедшим до нас благодаря мифам. Вот как представляются профессору классической филологии Ницше древние эллины: «Здоровое

²² Там же.

²³ Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994, стр. 101.

²⁴ Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. 1873.

²⁵ Рождение трагедии из духа музыки. Опыт самокритики, афоризм 3.

ловкое тело, чистое и глубокое чувство по отношению к ближайшему, свободная мужественность, военная пригодность..., наслаждение искусствами..., чутье к свободным личностям», но главное: «...они не имели стыда, у них не было дурной совести»²⁶. Такими же хотел видеть философ людей будущего.

Исправление всей культуры казалось юному Ницше задачей вполне посильной и несложной. Достаточно пропагандировать героическое мироощущение Вагнера, трагическое миропонимание Шопенгауэра, жизнерадостность и прославление силы Пиндара и Феогнида, и мир преобразится. Но вскоре молодой профессор понял, как далеко подавляющее большинство его современников от проблематики мыслителей-героев. Видно, их учений будет недостаточно для построения новой культуры, языческой по своему существу. Ницше решает сам повести людей от стадного образа жизни к индивидуально-героическому. Но его лекции «О будущности наших образовательных учреждений», наполненные критикой германских университетов, которые воспитывают, по мнению автора, не гениев, а посредственностей, успеха не имели. Его «Рождение трагедии» было прочитано коллегами с полным равнодушием, а если и были отклики, то только злобные памфлеты или насмешки. Даже друзья по достоинству не оценили его работы, а в опубликовании новых трудов Ницше отказали все издательства. В итоге непризнание привело мыслителя к титанической озлобленности на весь мир; позже он будет жаловаться друзьям на свою неспособность преодолеть приступы подобного гнева. К тому же в это время он тяжело заболевает: страдает нервными расстройствами, жестокими головными болями, почти полной потерей зрения. Иногда страдания и уныние так сильны, что Ницше пытается покончить с собой. В таком состоянии, в перерывах между приступами, Ницше пишет «Человеческое, слишком человеческое» и «Веселую науку».

Для раннего Ницше вопрос о Боге не главный; главная проблема — человек и его жизнь. Но как можно отделить человека от Бога, «тот мир» от этого? Во всех своих работах после «Рождения трагедии» Ницше пытается совершить такую операцию, но все более уверен, что это невозможно: даже самое убедительное отрицание Бога не способно целиком уничтожить его идею. Она все равно сохранится и вернется к нам в разных причудливых, хотя и искаженных, формах. «Человеческое, слишком человеческое», написанное в лучших традициях натуралистической философии, стало первой серьезной попыткой философа ниспровергнуть религиозные идеалы. Ницше решает избавиться от романтических переживаний и поэтических изысканий, приносит их в жертву строгой научной истине, какой бы неутешительной та ни была. «...Никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины»²⁷, — пишет он. Бог, святость, любовь к ближнему, сострадание — предрассудки, выдуманная тема, чья жизнь пуста и монотонна. Христианство находится в остром противоречии с жизнью, его аскетические требования подрывают силы, представления о сверхчувственном мире заставляют забыть о мире этом, а сама история Христа — красивая, но наивная выдумка древних людей. Настоящую радость жизни дают познание причинности в природе и развенчание суеверий.

Но развенчание христианских ценностей радости самому Ницше не принесло. Он испытывает угрызения совести за свою последнюю книгу, написанную в глубоком унынии; слишком далека она от задуманного совершенного произведения, призванного прославить «великую жизнь». А Ницше не из тех, кто быстро расстается с мечтой. Он признается в письме своему другу П. Гасту: «Что бы мне ни приходилось говорить о христианстве, я не могу забыть, что я обязан ему лучшими опытами моей духовной жизни; и я надеюсь, что в глубине своего сердца никогда не буду неблагодарным по отношению к нему»²⁸. Что еще, кроме христианства, может дать подобные опыты духовной жизни? Не лучше ли остаться с ним? Но христианский идеал неосуществим: чем больше времени проходит от Рождества Христова, тем больше люди отходят от Его учения; ныне очень немногие всерьез веруют в заповеди Иисуса. Интеллектуальная совесть Ницше подсказывает ему, что есть иной путь к подлинной жизни, проповедуемый не Христом, а скорее Дионисом. Бог умер для людей, а вместе с Ним и то великое, к чему стоит стремиться. Сделанное открытие о смерти Бога потрясло философа. Впервые он пишет о нем во второй книге «Веселой науки». «Бог мертв, Бог умер, Бога убили!» — кричит на площади безумный человек, окруженный атеистами²⁹. Они смеются над ним и не признают за сво-

²⁶ Мы, филологи. Афоризмы 104, 106.

²⁷ Человеческое, слишком человеческое, отдел 3, афоризм 110.

²⁸ Цитируется по: Д. Галеви. Жизнь Фридриха Ницше, М., 1911, с. 293.

²⁹ Веселая наука, книга 2, афоризм 125.

его, поскольку безумец ищет Бога. Для атеистов подобной проблемы не существовало: зачем искать то, чего нет? Для безумца же ясно: раз Бог умер, то мы должны сделать адекватные выводы из этой новости. Ницше удивляет то, что никто до сих пор их не сделал (произведений Достоевского он еще в то время не знал).

Что означают слова «Бог мертв»? То, что «мы блуждаем в бесконечном Ничто», — объясняет безумный человек, то, что «на нас дышит пустое пространство». Мир лишается своего смысла. Но, сколь бы ни было сложно нам свыкнуться со смертью Бога, пережить ее необходимо. Гибель Бога не означает Его исчезновения из мира. Мертвым Он еще долго будет существовать в виде разных предрассудков, в первую очередь в виде морали. Необходимо наполнить мир иным смыслом, вместо умерших ценностей утвердить новые. Они окончательно исключат мертвого Бога из мира, и тогда восторжествует жизнь. Вместе с Богом надо уничтожить и Его место — весь сверхчувственный трансцендентный мир, ибо подлинный смысл бытия находится не в том мире, а в мире нашем, реальном; он не должен покидать нас, а должен сопутствовать любому проявлению жизни. Воля к власти — так позже назовет этот смысл Ницше. Осмысливая смерть Бога, он пытается создать свой, новый мир в произведении «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого».

Эта великая книга не закончена, как и большинство произведений Ницше. Но можно ли довести до конца замысел, переоценить все существующие ценности? Автором овладело одно из величайших вдохновений, которое когда-либо нисходило на людей: каждую из четырех частей он писал на одном дыхании, за десять дней. В автобиографии Ницше вспоминал: «За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом после Заратустры были несравнимым бедствием. Дорого искупается — быть бессмертным, за это умираешь не раз живьем»³⁰. Он прекрасно понимал значение своего «излюбленного сына Заратустры», понимал, что преодолел не только человека и время, но и самого себя. Он создал новую форму мышления, в высшей степени единство философии и поэзии, а может быть, и музыки; она там звучит — прислушайтесь...

О книге «Так говорил Заратустра» надо писать отдельное большое исследование, но лучше ничего не писать: просто попробовать вникнуть в ее мир. Сам Ницше пророчествовал, что когда-нибудь создадут специальные кафедры для изучения его Заратустры... Для нас же сейчас важно проследить два мотива, звучащие в книге. Один из них — смерть Бога и покинутые Богом люди, собранные в стадо. Второй — проповеди отшельника Заратустры, «самого благочестивого из тех, кто не верит в Бога». «Умерли все боги, — говорит он, — теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек». Уныние и обреченность людей на напрасное существование, оставшиеся после смерти Бога, сменяются великой радостью, когда по земле пройдет сверхчеловек — «соль земли» нашего мира. Все усилия людей должны быть направлены на его появление: требуются стремление к высшей добродетели, основанной на отрицании сострадания, увеличение внутренней силы путем преодоления своей зависимости от стада. Необходимо также свыкнуться с одной мыслью: мир не имеет цели, его развитие происходит по кругу и всегда вернется в начальную точку. Таким образом каждое мгновение бытия будет повторяться бесчисленное количество раз, каждая секунда длится вечно! «Я люблю тебя, о Вечность!» — поет Заратустра, и мы должны ее полюбить. Вечное возвращение не должно ввергать нас в уныние, напротив: мы должны стремиться наполнить жизнь радостью, дабы в следующем цикле возврата иметь больше возвышенного, а не низменного.

Каким же представлял Ницше сверхчеловека? Ответить сложно, ибо его образ очень неясен. Понятно одно: герой Заратустры — не сверхчеловек, так как он преодолел не все человеческие слабости. Как и его автор, он часто впадает в уныние, склонен к состраданию, а главное — тяготится своим одиночеством; его тянет к людям, тем самым, которые есть лишь «обломки будущего». Если эти «пороки» будут побеждены, то, видимо, получится сверхчеловек. Но положительного содержания этой идее не хватает. Сверхчеловек предстает совершенным эгоистом, созерцающим свою силу и величие. Говоря по-христиански, это будет тип безграничной гордости, которая никогда еще не приводила к полноте жизни, а, напротив, вела лишь к мучениям. Вспомним, как страдает Заратустра: «Как! Ты жив еще, Заратустра? Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие — жить еще?» Даже великому отшельнику иногда бывает не под силу перенести смерть Бога, но его все время выручает вопрос: «...Что осталось бы созидать, если бы боги существовали?» Мир настолько глубок и самодостаточен, что имеет смысл в себе, а не вне себя.

³⁰ Эссе Номо, гл. «Так говорил Заратустра», афоризм 2.

Этот смысл Ницше-Заратустра находит в жизни, которая стремится себя расширить и утвердить. Ее он называет волей к власти, и сверхчеловек — окончательное ее торжество.

Идея сверхчеловека — самая яркая во всей ницшеанской философии. Интуитивно мы схватываем, что автор Заратустры был прав и нам следует стремиться к сверхбытию, но какое качество нас туда выведет? Дискуссии ведутся до сих пор, и рецептов много... Но ясно одно: если признать, что сверхчеловек — цель нашего мира, то как это согласовать с идеей вечного возвращения, основанной на утверждении, что цели у мира нет? Ницше понимал это противоречие, и в его последующих произведениях мы не найдем ни одного упоминания о сверхчеловеке. Вечное возвращение вытеснило его. Со времен «Воли к власти» Ницше расстается с мечтой наполнить этот мир новым светом вместо погасшего божественного.

Чем дальше отходит Ницше от «Заратустры», тем резче и нетерпимей становится он в оценках, тем ближе катастрофа, происшедшая с ним в начале 1889 года. Книга «Воля к власти» стала логическим продолжением «Заратустры», призванным разъяснить философским языком его основные положения. Она посвящена исследованию субстанциальной основы мира, его сущности. Но для начала Ницше еще яснее дает нам понять, в каком ужасном Ничто блуждаем мы после смерти Бога. Это блуждание он называет нигилизмом, который означает «то, что высшие ценности теряют свою ценность». Но Ницше предупреждает: если самая великая и светлая идея Бога деградировала и искажилась до неузнаваемости, то и другие ценности вымирают, ибо Бог — основание полагания всех высших ценностей. «Как будто от морали могло что-нибудь остаться, если бы не существовало санкционирующего Бога», — здесь Ницше, казалось бы, согласен с Достоевским. Но понимание ценностей у русского и немецкого мыслителей различно. Ценность у Достоевского — сущностное основание мира и человека; Бог, проявляющийся как Истина, Добро и Красота, указывает нам некую дорогу, отклоняясь от которой, мы не чувствуем себя людьми, теряем смысл своего существования. Ценности, по Ницше, творит сам человек, побуждаемый потребностью в самоутверждении. Если мы начнем серьезно мыслить об истоках ценности, то поймем, что она результат утверждения воли к власти, которая не должна останавливаться на какой-либо одной ценности, иначе быстро рассеется. Долг каждой воли к власти, желающей достигнуть своей полноты, — постоянно переоценивать ценности. Это тоже один из видов нигилизма. О нем сказано и написано много, но, так как интерпретации даются самые разные, попытаемся вкратце выделить из них именно ницшеанское понимание сущности нигилизма, «самого жуткого из всех гостей». Итак:

Нигилизм — процесс исторический. Ценности переоценивали во все времена: одна система сменяла другую, затем вытесняли ее, и так до наших дней. Разрушающая старые ценности воля к власти, носителем которой мог быть или одинокий мыслитель, или партия, или секта, испытывая противодействие со стороны разрушаемого, увеличивала свою силу. Но, стоило ей только утвердить свою систему ценностей, сразу же ее заряд начинал рассеиваться, ибо воля к власти не терпит закостевания на каких-либо ценностях. «Совершенный нигилизм» еще не наступил; он «стоит за дверями» и восторжествует только тогда, когда воля к власти перестанет полагать новые ценности в трансцендентный мир, «на место Бога». Поэтому Ницше пишет «историю ближайших двух столетий» (первое из них вполне оправдало ожидание философа). Именно тогда нигилизм реализует себя полностью.

Нигилизм по своей сути — развитие воли к власти, то есть самоутверждение жизни. Ницше много раз повторяет: ни одно живое существо не стремится просто к жизни. Какой смысл в пустом существовании? Но любой деятель желает расширить себя, проявить свою силу. Только этим оправдывается его существование.

До сих пор нигилизм существовал как пессимизм или «неполный нигилизм». Слишком высокий моральный идеал, заданный христианством, оказался не под силу людям, и они отчаялись его достичь (в этом смысле Ницше говорит, что христианство погибнет от своей морали). Пессимизм наступил также в результате слишком высоких надежд, возложенных на разум. Вопросы о сущем, о смысле жизни так и остались без ответа. Неопределенность привела к разочарованию в разуме. Прежние высшие ценности обесценились, но не полностью. На место умершего Бога поставили иные сверхчувственные вещи, например вещь саму по себе Канта. Полный нигилизм состоится тогда, когда Бог покинет мир вместе со своим местом в нем.

Нигилизм распадается на пассивный и активный. Пассивный — результат упадка жизни, декаданса. После обесценивания прежних ценностей не находится высшего вида человека, способного на их место воздвигнуть новые, содержащие

проповедь самоутверждения и личностного роста. Вместо этого «низший вид» — «стадо», «масса», «общество» — раздувает свои потребности до размеров космических и метафизических ценностей³¹, то есть утверждают «отрешенные, идеалистические ценности, вместо того чтобы господствовать над действиями»³². Цель — противоборство высшим типам.

Активный нигилизм — установление ценностей, превозносящих жизнь.

Нигилизм — процесс патологический и будет преодолен. Это случится, когда уйдут в небытие все высшие ценности вместе с местом их полагания. Новые ценности будут помещены в реальный земной мир, а не в иной, что даст возможность воле к власти (т. е. жизни) утвердиться в мире. Гибель нигилизма означает окончательную смерть Бога. Пока нигилизм не будет преодолен, все наши представления о ценностях будут искажены, так как в нашем мире одни ценности выдвигаются вопреки другим.

После осмысления нигилизма можно обнаружить две смерти Бога у Ницше. Первая — современная, насильственная гибель, ставшая результатом пессимизма. Она не выдумка философа, а констатация факта. Ницше, как и Достоевский, видит, что в его время в Бога по-христиански уже почти никто не верует. Пессимизм победил: люди «убили Бога», уничтожили в себе стремление к Божественной Чистоте. «Мертвый» Бог продолжает существовать в виде морали.

Вторая смерть — та, которую бы хотел видеть Ницше: уничтожение всех форм «божественного тления» и начало эпохи рассвета жизни. Эта смерть — результат активного нигилизма. Она должна стать необходимым выводом из первой, но убить Бога для людей труда не составило, а сделать отсюда выводы и открыть дверь, за которой стоит нигилизм, не под силу. Почему? Ницше наталкивается на другого, более могущественного, чем Бог, врага утверждения жизни — *мораль*.

«Кто расстается с Богом, тот тем крепче держится за веру в мораль»³³, — пишет Ницше. Вывод неожиданный, хотя такие взгляды нередко высказывались задолго до автора «Воли к власти». Но чаще можно встретить точку зрения, сходную с Достоевским: без Бога мораль рухнет, будет все дозволено. Однако противоречия между мыслителями нет. Все дело в том, как понимается мораль и какая оценка ей дается. Мораль, по Ницше, — «система оценок, имеющая корни в жизненных условиях... существа»³⁴. И далее: «Предположим, что вера в Бога исчезла; возникает... вопрос: «Кто говорит?» — мой ответ: говорит стадный инстинкт»³⁵. Стадный инстинкт — это тоже воля к власти, но уже толпы. Толпа мечтает расширить себя как можно больше, ее задача — уничтожить отдельных свободных личностей, не признающих ее правил. Первое средство забить маргинала — обвинить его в безнравственности. Не важно, что сами моральные установки толпы далеки от нравственного идеала; главное — обвинить. Такая мораль не отличается от обвинительного приговора, а всем своим порокам и несовершенствам она поспешит вынести оправдательный приговор. После всего сказанного становится ясно: философ понимает под моралью совсем не то, что понимаем мы.

Система оценок есть не более чем совокупность оценочных суждений. Она может стать моралью, если найдет некое основание, которым будет оправдана, а главное — если оценивающий станет действовать согласно со своими представлениями о должном и недолжном. Основания оценки у Ницше — «жизненные условия существа», но они могут быстро меняться, а мораль не меняется долго. Этот факт и приводит в недоумение Ницше. Не выполнено второе условие: пессимизм настолько въелся в души его современников, что у них больше не осталось никаких представлений о хорошем или дурном, в лучшем случае действует инстинкт толпы. Действие, основанное на инстинкте, во многом бессознательно, а значит, не может быть рассмотрено как моральное. Для Достоевского, напротив, мораль — не оценки, а поступки человека. Судить можно только себя, а не других. Без постоянного самосуждения мораль невозможна. Ницше же постоянно ругает общество, т. е. тоже подвержен «стадному инстинкту», хотя и нигилистическому. Однако надо отдать ему должное: он проповедует неусыпную требовательность к самому себе, вспомним Заратустру...

³¹ Воля к власти, афоризм 27.

³² Там же, афоризм 37.

³³ Там же, афоризм 18.

³⁴ Там же, афоризм 256.

³⁵ Там же, афоризм 275.

Ницше до сих пор многими считается проповедником аморализма. Но вот что он пишет в одном письме: «Я сказал, что занимаю место по ту сторону добра и зла. Разве это значит, что я хочу освободиться от всякой моральной категории? Совсем нет... но существует история человеческого сознания. Эта история открывает нам множество других моральных ценностей... дает многочисленные оттенки чести и бесчестия. Здесь реальность обманчива и инициатива свободна: надо искать, надо измышлять»³⁶. Мы видим Ницше не безнравственного, а мыслящего. Проблема подлинной добродетели для него жизненно важна, а не есть предмет академических изысканий. В аморализме его обвинили те, кто никогда в своем мышлении не поднимался до подобных проблем. Для них, безразличных ко всему, кроме науки, слова «добро» и «зло» давно потеряли всякий смысл. А бессмыслие хуже всякого зла.

Два мыслителя отмечают совершенно противоположные функции морали. У Достоевского она дана нам от Бога в Священном Писании, и исполнение нравственных требований — путь к достижению полноты жизни и постижению мировой гармонии. У Ницше — то, что должно быть необходимо преодолено для процветания жизни на земле. А жизнь не имеет смысла, она сама смысл всего.

«Нет большей власти на земле, чем власть добра и зла», — грустно говорит Заратустра. Его автор, желаящий преодолеть все ценности и объявивший о смерти Бога, наталкивается на проблему преодоления морали. Но под моралью он понимает все устои общества, его предрассудки и даже его пороки. Тем самым задача переоценивающего усложняется тысячекратно. Вспомним: нигилистка из «Бесов», захватившая в провинциальный городок «возбудить студентов к протесту», в беседе со встречавшим ее дядей сразу заявила, что Бога нет. Это было легко. Но расшатать основы общества, как считал Достоевский, маленькой группе нигилистов невозможно. Их хватило лишь на несколько дерзких преступлений. Ницше же на собственном опыте размышлений убедился, что расшатать в одиночку основы цивилизации, где уже нет Бога, но есть могущественные идолы, невозможно. При жизни мыслителя его книги производили впечатление лишь на нескольких философов (особенно русских) и на очень ограниченный круг заинтересованных философов. Поэтому писал он для «свободных умов», людей будущего. Ныне интерес к философии Ницше сильно возрос, вероятно, пришло время осмысления.

Пока же не мораль властвует в современном обществе, а традиция. Именно с ней борется Ницше: «В вещах, где правит традиция, нет никакой нравственности». Нравственный закон слишком слаб, чтобы повелевать обществом. Его нельзя насадить насильем (иного, более действенного, аргумента человечество пока не изобрело) как раз по моральным соображениям, если они действительно таковы. Единственно, что может требовать нравственный человек, — должного поведения от себя самого. А традиция требует подчинения себе, пытается уравнивать всех в способностях — разве не прав был Ницше? Безусловно, в обществе, где «Бог умер», люди способны на бескорыстные и самоотверженные поступки, но случаются они все реже и реже. Тем более неизвестно: испытывает ли человек в результате подобного поступка ту радость и полноту бытия, о которой говорил Достоевский? Появляются ли силы для последующих нравственных действий? Это очень сомнительно. Абсолютное большинство современных традиций держится на соображениях пользы, и даже тому, кто поступает бескорыстно, исключительно по любви к людям, досушие психологи внушают, что выгода, холодный расчет, а вовсе не необъяснимое ощущение должного движет человеком. Воистину, страсть к тотальному объяснению не приведет ни к чему хорошему. Какой же невиданной силой любви должен обладать человек для преодоления всяких «научных» соблазнов!

Думаю, что психология морали, над которой долго работал Ницше, имеет свое будущее, как и вопрос: «Что движет нравственным человеком?» Но этот вопрос не должен иметь заранее предрешенного ответа, скорее на ответ вообще надеяться нельзя, а можно ожидать лишь новых вопросов...

А что стало с ценностями в нынешнем мире? Слова «истина», «добро», «красота», «добродетель», «справедливость», «долг» еще остались, но что в них вкладывается? Не есть ли это только слова? Похоже, их давно покинуло положительное содержание, мало кто думает над значением этих понятий. Вот, например, как говорит о понимании некоторыми добродетелей ницшеанский Заратустра:

«...есть... и такие, для которых добродетель представляется корчей под ударом бича; и вы слишком много слышали вопля их!..»

³⁶ Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. М., 1911, с. 285.

Есть и другие, называющие добродетелью ленивое состояние своих пороков (!)...

Но есть и такие, что считают за добродетель сказать: «Добродетель необходима»; но в душе они верят только в необходимость полиции»³⁷. Последнее особенно отражает современные реалии... Ницше много думал над тем, что означали и означают сейчас слова «Бог», «святость» и др. И, несмотря на явную тенденциозность рассмотрения, мы должны признать: выводы неутешительные... Иногда кажется, что добродетель на самом деле есть «расширенные до предела физиологические потребности».

Ценность, а скорее даже не ценность, а основание всех ценностей, то, что мы постигаем интуитивно и к чему хотели бы стремиться, да сил часто не хватает, заключенное в понятие, быстро перерастает его; она не может долго сохраняться там, где нет жизни для нее,— это понял Ницше в своих размышлениях о нигилизме. Если мы хотим следовать за ценностью, за той чистотой, которой она явлена в нашем стремлении, мы должны постоянно совершать «переоценку» нашего отношения к ней, чтобы не впасть в пессимизм, чтобы сохранить ее живое восприятие.

Ницше, отрицая онтологический статус ценностей и видя в них единственно основания для оценок или условия комфортной жизни «стада», делает невозможной реальную переоценку ценностей; она произошла лишь в голове философа. Зачем людям переоценивать то, с чем так удобно живется (традиция), тем более уже всему в этом мире подобрана цена... И напротив: если мы, подобно Достоевскому, признаем ценности укорененными в бытии, то нам будет к чему стремиться, будет что искать. Едва ли не каждый день придется переоценивать свою ценность и ценность наших представлений о мире.

Ницше поздний, времен «Антихриста» и «Ессе Номо», времен тех произведений, которыми он сам себя прибавил к кресту, испытал некоторое влияние Достоевского, но незначительное. «Достоевский...— единственный психолог, у которого я могу чему-либо научиться»³⁸,— писал он. Сам Федор Михайлович не считал себя психологом, он называл себя реалистом, тем самым подчеркивая, что проблемы, мучающие его героев, жизненно важные. Ницше попытался нарисовать такие же глубокие образы, как у Достоевского, в «Антихристе». Получился ли у него Спаситель или нет — судить нам. После Ницше проблема души человека вышла в философии на первый план, но только в философии. Призыв Сократа «познай самого себя» для большинства людей остался пустым звуком. Часто мы более склонны мыслить о поражающих воображение математических величинах, о судьбах миллионов людей, но только не о себе. Думаю, что самопознание надо начать с вопроса о бытии Бога, тогда у нас будет повод задуматься о своем предназначении...



³⁷ Так говорил Заратустра, гл. «О добродетельных».

³⁸ Смерки идолов, афоризм 45.

Александр ЭТКИНД

Хлысты, декаденты, большевики

НАЧАЛО ВЕКА В АРХИВЕ
МИХАИЛА ПРИШВИНА

Вы, мои сверстники, кто родился и вырос на этой нашей земле, разве не знали вы раньше лик нашего черного бога? /.../ Наши человекоборцы не кому-нибудь другому — ему, ему отдают свой народ на пожранье. Это туда и Лев Толстой бросил свое великое призвание, туда же отдал и Достоевский свой великий дух, когда пророчил: «Константинополь будет наш». И это он, тот самый лик черного бога, показывается, когда некто из народа лепечет иностранные формулы: свобода, равенство, братство, коммуна, экономическая необходимость и пролетарию всех стран, объединяйтесь.

Пришвин¹

Писательская известность Пришвина началась с его первой книги 1907 года «В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)». Текст, стилизованный под путевые заметки, описывал путешествие автора в раскольниковы места северной России. Через два года Пришвин вновь отправляется в путешествие к раскольникам, теперь в сектантские центры Заволжья. Результатом стала еще одна книга — «У стен невидимого града (Светлое озеро)».

В своих экспедициях Пришвин запасался документами от Академии наук и губернских властей. Продолжая полувекую традицию русских «народознатцев»², Пришвин называл себя этнографом; но в отличие от коллег, чаще изучавших племена первобытные или, во всяком случае, очень далекие от своей культуры, Пришвин ехал изучать собственный народ. Потом он так осмыслял свой творческий метод: «В моих больших работах неизменно совершается такой круг: при разработке темы материалы мало-помалу разделяются на этнографические (внешнее) и психологические (субъективное), потом, робея перед субъективным, /.../ я спасаюсь в этнографическое»³.

Путевые заметки Пришвина не претендуют на объективность; жанр их скорее стремится к рассказу об искреннем религиозном паломничестве. Повествование уходит от дневниковых записей светского туриста к истории раскольниковых общин и монастырей, вычитанной из книг, а потом — к дословному изложению собственных дискуссий с сектантами. Текст объединен лишь авторской точкой зрения, его характерной интонацией и непрерывностью движения в пространстве природы и мифа. Впервые докладывая о своих путешествиях, Пришвин рассказал ученой публике о своей вере в леших и «с упоением, жестикулируя головой, руками и ногами, описывал секту каких-то бегунов»⁴; к тому же доклад Пришвина «О невидимом граде» происходил в Русском географическом обществе, как будто автор и правда нашел легендарный город, известный более всего любителям русской оперы. Все это вызывало иронию, но у Пришвина сразу нашлись единомышленники и преданные читатели. Блок, например, находил в его книге «богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения»⁵.

Волшебный мир

Спутник Пришвина по путешествию вспоминал товарища так: «Это был глубоко культурный, серьезный и современный человек, но в то же время его душа всегда тяготела к примитивным пережиткам старых времен. /.../ Был период, и очень продолжительный, когда Пришвин жил в каком-то волшебном мире»⁶. Ранние книги Пришвина описывают необыкновенные явления русской народной веры на фоне столь же необыкновенной русской природы. Вера, народ и природа сливались в одном всеобъемлющем образе, и направление связи угледеть невозможно; природа — символ и выражение народного духа и одновременно его основа и прототип. «Ведь самый чистый, самый хороший бог является у порога от природы к человеку»⁷. С другой стороны, природное начало неотлично от начала материнского: «родившая меня глубина природы, что-то страшно чистое...»

Романтически увиденная природа кажется первородным и прекрасным состоянием культуры, которая безвозвратно теряет подлинность в высоких своих проявлениях. Природа блага и добра, культура лишь портит ее. Эта идея, связанная с Руссо и другими революционно настроенными французами, была одной из основополагающих для русской литературы⁸. Ее манифестом является, например, хрестоматийное стихотворение Лермонтова «Родина».

Классический образец русского мистического натурпопулизма легко найти и в стихотворении Тютчева «Эти бедные селенья». «Природа» здесь уже прямо рифмуется с «народом», но их отношения для автора давно очевидны. Главное здесь в той мистической сущности, которая объединяет русскую природу с русским же народом. Вновь вернувшийся на землю Христос — «царь небесный» — прошел по этой земле и благословил ее народ, никак не различая их между собой. В такого Христа, вновь и вновь возвращающегося именно в родную деревню, верили русские сектанты. Иноплеменный взор не способен понять то, о чем гадает поэт и что ясно его героям, обитателям бедных селений.

Воспроизводя эту традицию, Александр Блок писал: «Между «интеллигенцией» и «народом» есть «недоступная черта». /.../ Это — та же пропасть, что между культурой и природой»⁹: две оси сливаются в одну, народ приравнивается к природе, а интеллигенция — к культуре. «Один из основных мотивов всякой революции — мотив о возвращении к природе; этот мотив всегда перетолковывается ложно», — писал Блок, претендуя на истинность своего истолкования вечной темы: «мотив этот — ночной и бредовой мотив; для всякой цивилизации он — мотив похоронный». Высшая ценность в поздних текстах Блока — дух музыки — выводится за пределы человеческого: не человек создает музыку, а ее дух ведет по пути космических катастроф и биологических метаморфоз. В революционном возвращении к природе и заключается крушение гуманизма; думать, что с ходом истории «массы волеются в индивидуализирующее движение цивилизации», — значит совершать роковую ошибку, потому что массы были, есть и будут «носителницами другого духа». Цивилизация отвратительна, и потому прекрасно все, что уничтожает ее во имя природы, народа и бреда. «Человек становится ближе к стихии; и потому — человек становится музыкальнее. Человек — животное; человек — растение, цветок /.../; весь человек пришел в движение, /.../ производится новый отбор, формируется новый человек»¹⁰. Формулируя старую идею на высоте своего времени, в духе Ницше и в терминах Дарвина, Блок ставит себя в ту же позицию, с которой написана лермонтовская «Родина»: текст устремлен от истории и культуры к природе и фольклорному народу — танцующим мужикам в одном случае, одухотворенным массам в другом.

Совершенно та же дилемма питала «Переписку из двух углов». Михаил Гершензон уподоблял культуру рогам доисторического оленя, от чрезмерности которых род его вымер, и все пытался сбросить постылый груз; под напором этих рогов даже Вячеслав Иванов, вообще-то охотно веривший в «великий, радостный, все постигающий возврат», превращался в почтительного сына истории и адвоката культуры¹¹. История этой темы завершилась тогда вскользь оброненными, но сильными словами Михаила Кузмина: «дух Руссо, обычно сопутствующий всем добродетельным разрушителям и насильственным печальникам о человечестве»¹².

У Пришвина природа тоже включает в себя народ, не теряя от того своего первичного единства; но уже в ранней книге мифология эта подана с кощунственной иронией. Соловьи в саду его матери пели «о том, что все люди прекрасны, невинны, но кто-то один за всех совершил тяжкий грех» (1/390)¹³. Это своеобразное антихристианство: «кто-то один» не искупил грехи человечества, но совершил их; и авторство этого перевернутого мифа отдано соблазнительному голосу природы. Именно

отсюда, из соловьиного сада своей матери, Пришвин начинает путешествие-паломничество к заволжским раскольникам; услышанное таким способом пение соловьев — нечто вроде эпиграфа к книге «У стен невидимого града».

Неортодоксальная вера Пришвина в сочетании с его культом природы ему самому напоминала о Руссо. О своей первой жене, крестьянке, Пришвин вспоминал так: «Я эту девственность души ее любил, как Руссо это же в людях любил, обобщая все человеческое в «природу». Портиться она (душа? — А. Э.) начала по мере того, как стала различать»¹⁴. Позже писатель придаст первоначальной интуиции философское осмысление: «Романтизм вообще в моем понимании есть высшее выражение благородства природы; как есть представление о первородном грехе, так есть и уверенность в первородном добре и зле»¹⁵. Для такого романтика природа изначально добра, а зло вносится в нее человеком и его грешным желанием, из-за которого он и был изгнан из рая. Но как раз влечение и есть очевидный элемент человеческой природы; тут наступает разочарование, и приходится различать.

«Блок был таким же романтиком, как и я», но только был «глуповат и слеп в отношении к дьяволу»¹⁶, — так рассуждал Пришвин в свою зрелую пору. Дьявол здесь — не более чем метафора. Речь идет о той же романтической оценке природы-народа как царства абсолютного добра; Пришвин постепенно стал различать здесь все того же старого знакомого, а Блок остался глуповат. В отличие от Блока и других символистов, стремившихся показать непроходимую границу между благородным, таинственным миром природы-народа-литературы и пошлой культурой-как-цивилизацией, Пришвина скорее влечет их единство. Когда Блок писал о «пропасти» и «недоступной черте», Пришвин искал, наоборот, возможности сближения: «В этой точке на Светлом озере сходятся великие крайности русского духа» (8/35). Обоих раскол и сектанство интересовали как духовное выражение истинного, докультурного состояния человека; но если Блок безуспешно пытается перепрыгнуть через вырытые им самим пропасти, то Пришвин с легкостью путешествует туда и обратно. Потому те же мысли, что у Блока звучат трагически, у Пришвина скорее сентиментальны; там, где Блок ставит точку, Пришвин готов начать новую главу. В отличие от Блока, для которого подлинное и культурное — два предельно далеких друг другу мира, Пришвин верит в то, что «есть вечные вопросы, которые не очень зависят от образования и внешних различий между людьми» (1/388); эти вопросы человеческой природы выпирают из культуры, подобно ее естественному фундаменту, выступающему сквозь вековые осадочные образования. «Какие-то тайные подземные пути соединяют этих лесных немочляк с теми, культурными. Будто там и тут два обнажения одной первоначальной горной породы», — размышляет Пришвин об одной из встреченных им сект (1/473).

Вспоминая свои ранние книги, Пришвин удивлялся, как он «умел за месяц разобратся и выпукло представить себе весь сектантский мир. /.../ Я встречал профессоров, просидевших годы над диссертациями о сектантах, и с удивлением видел, что знаю больше их»¹⁷. Причиной тому, как всегда, было присоединение книжного знания к личному, воспринятому в детстве опыту. Интерес к расколу, сочетавшийся с обоготворением матери-природы и культом личного целомудрия, шел из детских переживаний, из первой религии матери. Она была из богатого рода приокских старообрядцев, а позднее, подобно любимой героине Пришвина, вышедшей из Даниловского раскола Л. С. Егоровой (1/806), приняла православие. Жена писателя рассказывала о «раскольничьем огне», который передался Пришвину¹⁸, и это, несомненно, то, что он сам хотел бы знать о себе.

В советское время, лишенный возможности говорить о народе, Пришвин говорил уже только о природе; в видимом натурализме его охотничьих рассказов скрывался пафос контркультуры, не принимающей современного ей мира и ищущей убежища в материнском неиспорченном лоне природы. «Охота есть забвение, возвращение к себе первоначальному, туда, где начинается золотой век, где та прекрасная страна, куда мы в детстве бежали и где убивают, не думая об этом и не чувствуя греха», — писал он, впрочем, еще до революции (1/281). «Мнится моя работа в лесу, как современное отшельничество, забвение своей личности», — записывал он в 1936 году и планировал с комфортом переоборудовать для этого своего «ухода» автомобиль, заработанный трудом советского писателя. Он осознавал уникальность своей позиции в советской литературе, формулируя ее как «хорошее положение советского юродивого»¹⁹. В течение долгих советских десятилетий его продолжали волновать старые вопросы: почему ушел перед смертью Толстой (8/307) или как понимать конец «Двенадцати» (4/323)? Г. П. Федотов, спрашивая себя в 1938 году, сохранилось ли в советском человеке, «поверхностном и прозрачном», что-либо от старой русской «пантеистической душевности», в своем ответе — неожиданно положи-

тельным — опирался именно на Пришвина: «Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин»²⁰.

В своей поздней книге «Осударева дорога», законченной в 1948 году, писатель снова возвращался в места своих путешествий начала века. Его опять интересуют бегуны, и он вновь поминает старые метафоры, уподобляющие государство антихристу, а революционеров — сектантам (6/11). Сторона, побежденная Петром, и сторона, побежденная большевиками, — все они, верит Пришвин, остаются жить в темном царстве, в котором прошлое граничит с будущим, а культура — с природой — в народе, какой он есть.

Сокровища недр

В своих очерках начала 1910-х годов Пришвин свободно переходит из зала Петербургского религиозно-философского общества в сектантские общины и обратно. У народного сектантства, или, как предпочитали его называть исследователи в начале века, русского духовного христианства, было много самоназваний. Хлыстами, немояками, чемреками, прыгунами и другими людьми с чудными названиями одновременно с Пришвиным увлекались и Мережковский, и Блок, и некоторые другие писатели начала века. Но, как писал Пришвин, между его отношением к хлыстам и отношением к ним Блока была разница: Пришвин подходил к ним как «любопытный», Блок — как «скачующий»²¹. В результате интерес Блока к сектантству не пошел дальше надежд и туманных ссылок в стихах и критических статьях²². Интерес Пришвина имел результатом человеческие документы, сохраняющие значение незаменимого источника.

Придя в Петербургское религиозно-философское общество, Пришвин полагал, что идеи его лидеров, подобно мосту или скорее туннелю, так же соединяют в себе полюса народной и высокой культур, как и его, Пришвина, собственные путешествия. В дневниках Пришвина петербургские мистики, а с ними и вся русская литература начала века представляются занятыми одной этой идеей: «Религиозно-философское общество — это мастерская, где выдвигались крылья поэтов. Крылья поэзии последнее время все более или менее искусственные. /.../ Непосвященная публика ничего не понимает. Не до средней публики этому обществу — в нем ищут сокровища недр своего народа. Литература последнего десятилетия вся состоит из памятников этого усилия»²³. Так понимает Пришвин взлет русской культуры начала века: все эти блестящие стихи, картины, балеты — усилие разбудить спящие глубины национального сознания, сделать для поэтов особые крылья. Эти новые, в соавторстве с народом выделанные крылья будут естественными в противоположность тем, что уже есть в культуре, а их он называет искусственными. Впрочем, все, что сделано, по определению является искусственным. «Кто живет всей полнотой жизни, тот не нуждается ни в поэзии, ни в религии», — думал тогда Пришвин (8/63).

Общество столичных интеллектуалов включало в себя народных сектантов как непрменный образующий фактор. «Новая страничка моего журнала жизни. Поэты, декаденты, хлысты, философ-талмудист, святодуховец и еще... человек 15—30», — записывал Пришвин свои впечатления в конце 1909 года (8/60). Да и сам Мережковский на одном из собраний общества говорил тогда Пришвину: «Меня только сектанты и понимают, а здесь нет» (8/34). В очерке «Астраль» Пришвин даже оговаривается, что все-таки не все религиозно-философское движение целиком можно характеризовать «психологически как стремление повертеться с хлыстами» (2/587). Насмешка Пришвина относилась и к нему самому: вспоминая 1908—1909 годы, он рассказывал, что «целую зиму повертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины»²⁴.

Несмотря на эту сдержанную иронию, связь между «высокой» культурой символизма и религиозной философией и «низкой» культурой сект и согласий оставалась в эти годы для Пришвина центральной темой. Позднее он называл книгу «У стен невидимого града» своим секретным исследованием (8/164); потаенное единство культуры, раскрыть которое верхи не хотят, а низы не могут, — подлинный его предмет. В деревне мужики говорят ему о том же, о чем ученые люди в городе — об общине, о свободе личности, о вопросах пола, и ничего удивительного, именно эти вопросы он и ехал обсуждать с сектантами. «Я разгадываю теперь эту, казавшуюся мне странной, загадку так: в стихии есть все, она отвечает на наши вопросы» (1/419), — записывал Пришвин в самом романтическом духе. Когда люди из разных беспоповских сект спорят между собой на базарной площади заволжского села, где

«что ни двор, то новая вера» (1/418),— Пришвин чувствует себя «будто в центре литературных скрещенных течений» (1/419).

И, наоборот, разочарование вызывают у Пришвина встреченные им здесь церковные миссионеры: «Миссионеры такие пошляки, с рекомендациями которых очень, очень опасно совать свой нос в народ. Да и не нужно»²⁵. К примеру, елецкий священник в своем донесении начальству перелугал впервые появившихся здесь баптистов с буддистами. Обобщая увиденное в Заволжье, Пришвин по-новому осмысляет историческую роль господствующей церкви: «Никогда я не думал, какую бездну тьмы вносит православие»²⁶.

Мережковский вместе с Гиппиус побывал в сектантских местах на Светлом озере за несколько лет до Пришвина. В глухой костромской деревне сектанты-немоляки рассказывали: «Мережковский наш, он с нами притчами говорил» (8/34),— и зачитывались журналом «Новый путь». Они расходились, однако, в богословских вопросах, а питерские хлысты и вовсе считали Мережковского и его коллег «шалунами» (8/61). Пришвин колебался между двумя этими оценками, амбивалентно называя Мережковского «светлым иностранцем», что не мешало ему иронизировать над тем, как Мережковский приехал на Светлое озеро «бариним и даже с урядником на козлах» (8/34); впрочем, и сам он прибыл туда не с клюкой странника, а с документами этнографа. И действительно, то чувство, которое возникло в этих краях у Зинаиды Гиппиус, мало чем отличалось от пришвинского романтизма. «Мы сидели вместе, на одной земле, различные во всем: в обычае, в преданиях, в истории, в одежде, в языке, в жизни,— и уже никто не замечал различия; у нас была одна сущность, одно важное для нас и для них»²⁷,— вспоминала она. Попутно, однако, Гиппиус высказала весьма негативное суждение о народниках, которые все пытались одеться по-народному и накормить народ, но игнорировали его дух.

Позднее Пришвин писал о Гиппиус, продолжая тему глубинного сродства ее и ее супруга с хлыстами из народа: она «всем своим существом исключает представления о деторождении, все что угодно: Белая дьяволица, или хлыстовская богородица, /.../ Прекрасная дама, только не женщина, рождающая живых детенышей. Ее мистические стихотворения, похожие на стихи хлыстов-сектантов,— высокосовершенная поэзия»²⁸. В его восприятии Гиппиус «из богородицы вдруг становится проституткой»; в этом Мережковский тоже похож на хлыстов, и вообще «все люди двойные: высоко парят и падают». Рассуждения и деятельность Мережковских — «какой-то умственный выход из этой хлыстовщины. /.../ Тем она и страшна, эта хлыстовщина, что человек для жизни опустошается. Дает высшую радость самовольной мечте... После все плоско. /.../ Мережковский и хлысты спасали культуру через Эрос»,— записывал Пришвин в феврале 1914 года²⁹.

Только по возвращении в Петербург Пришвин познакомился с Мережковскими и сообщил им, что «на Светлом озере их помнят» (8/32). На заседаниях Религиозно-философского общества Пришвин оставался критичен. Возникший у него интерес к религии лишен мистики; скорее он является еще одним способом понимания своего народа и самого себя. Опыт общения с сектантами становится для него метафорой истории, понятной и доступной ее моделью, ценность которой состоит в относительной простоте: «Первый раз в жизни прочел Евангелие, Павла, немного Библию. Понял, но не принял. И как принять! Мне кажется, что на Светлом озере по людям я, как по страницам, прочел всю историю христианства /.../ от объективного к субъективному, от собора ко мне, одному. И бессознательно мы, интеллигенты, все это уже прошли, и потому невозможно соединиться нам с народом, с нашим прошлым, нечего об этом думать, это психологическая невозможность»³⁰.

Так Пришвин подвергает патетические идеи неонародничества новому виду критики. Унаследовав свой руссоизм от русской литературы, Пришвин разбирает столетнюю традицию на составные элементы. Романтический человек культуры — особенно русский интеллигент — готов найти высшую ценность в примитиве; но на деле народ и вся связанная с ним квазиэтнография есть лишь собственная проекция интеллектуала, зеркальная в отношении его самого конструкция, более всего нужная для оправдания собственной жизни: «Примитивная (первобытная, народная) душа есть зеркало для культурной души; каков сам культурный человек, таким он и отразится в первобытной душе, и часто кажется ему, будто он судит первобытную душу, мужика, а на самом деле он судит себя самого». Народ надо понять, но для современного человека невозможно соединиться с ним в более глубоком смысле: верить в то, во что верит народ. История христианства ведет от соборного всеединства к протестантскому индивидуализму; и интеллигенция в своей литературе прошла этот путь так же, как проходит ее народ в своих сектах. 6 января 1909 года Пришвин записал свой разговор с Зинаидой Венгеровой: «<она> тоже хочет изучать сектант-

ство. Все хотят изучать сектантство. Лютера нет! — сказал я. Вы не знаете, какое большое слово вы сказали, — ответила она»³¹.

В контексте начала века эта идея вряд ли была новой, но оригинальной. Десятилетия подряд славянофильство, народничество, толстовство и, наконец, «Вехи» обвиняли культуру русской интеллигенции в неполноценности, проповедуя безусловное ее подчинение мифологизированной жизни народа. Но Пришвина продолжает волновать его исходная интуиция о глубинном единстве двух культур, интеллигентской и народной, и об их общем религиозном поиске. Культурной моделью, которая все яснее представляется ему, когда он думает о народных сектах и о богословии интеллигенции, оказывается европейская Реформация: беспрецедентно мощный поток, сумевший захватить и соединить высокую и народную культуры. В наблюдениях Пришвина народные секты и религиозное философствование тоже смыкаются помимо официальной церкви и вопреки ей. У русского духовенства, считает он, нет идей антихриста и эсхатологии; «это есть только у народа и интеллигентов: интеллигентам это передалось от народа»³².

Пришвин сосредоточенно коллекционирует эти следы взаимопроникновения высокой цивилизации и «природной» культуры, которые находит и в глуши Выгозерья и Заволжья, и у питерских хлыстов. Если Зинаида Гиппиус кажется Пришвину «хлыстовской богородицей», то настоящая хлыстовская богородица Дарья Смирнова — «второй Гиппиус по уму» (2/672): два мира, народный и интеллигентский, отражаются друг в друге. У староверов он обнаружил не только «зачитанный» религиозно-философский журнал, но и историческую монографию («Жизнь протопопа Аввакума» В. А. Мякотина), которая почиталась как священная книга. Да и сам Пришвин склонен сыграть роль в мире раскола; он составил план восстановления беглопоповского монастыря Краснояра, чтобы подать его нижегородскому купцу Н. А. Бугрову³³.

С этим разрушенным Краснояром связана интересная легенда, которую Пришвин, подслушав ее у народа, пересказывает как притчу об отношениях между народной и официальной культурами. Монастырь, гласит легенда, стоял бы вечно, но дьявол искусил царя Николая. Тот послал гонца, чтобы разрушить монастырь. Пока рушили, царь захворал и, спохватившись, послал другого гонца остановить разрушение храма. Бегут гонцы: один из Краснояра в Петербург, другой из Петербурга в Краснояр. И вот, как встретились они, так ужасная смерть постигла царя Николая (1/406).

Страшный двойник

В январе 1909 года Пришвин готовил питерских членов хлыстовской общины к выступлению в Религиозно-философском обществе. Выступление не состоялось, но узнал он тогда много интересного: Блока, например, хлысты считали пророком³⁴. Пришвин всячески подчеркивал значение хлыстовства и для интеллигенции, и для официального православия, и для русской истории вообще. «Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его страшный двойник», — с неожиданным пафосом восклицал писатель, вообще-то демонстрировавший безразличие к собственно церковным вопросам. «Внутри самой же православной церкви /.../ возникает огромное царство хлыстов неуловимых, неопределенных. /.../ Не узнать, где начинается хлыстовство и где кончается православие. И самое страшное для стражей церковных, что там, где вспыхивает наибольшим светом православие, тут же курится и хлыстовство: Иоанн Кронштадтский — и тут же иоанниты» (8/585)³⁵. И в другом месте, с еще большим пафосом: «Хлыстовство — это неумирающая душа протопопа Аввакума» (2/591).

Хлысты вообще интересовали современников Пришвина; когда он, к примеру, в начале 1909 года случайно встретился в поезде с незнакомым ему Максом Волошиным, писатели сразу заговорили о хлыстах как о самой важной из тем (8/42). «Многие очень искали сближения с хлыстами», — свидетельствовал Пришвин (2/583). Главное отличие хлыста от православного, по Пришвину, связано с пониманием Христа: для православного Христос уже воплотился, для хлыста это воплощение происходит всегда и зависит от человека. «Для хлыста мир не спасен, а нужно сделать личное усилие для спасения от мира» (2/583). Пришвин рассказывает, что настоящие вожди хлыстовских кораблей не называют себя христианами и богородицами; но так их называют последователи, всегда упрощающие идею. «Христос через него говорит, но он не Христос» (1/586). Счесть себя Христом для вождя — соблазн, от которого тот воздерживается, хоть и часто оказывается на этом пути. Пришвин

убеждается в том, что «хлыстовство не есть цельная религия /.../; хлыстовство все в движении, все в исканиях, все в островах. Нет никакой определенности в очертании хлыстовского материка» (1/583). Разделение хлыстовства на разные острова и царства Пришвин понимал несложно: причины его те же, что «у нас, например, разделение социал-демократов: вожди между собою расходятся» (1/586). Итак, «православие — покой и смирение, хлыстовство — движение, внутреннее строительство и гордость». Слишком хорошо знакомое православие застыло на месте; хлыстовство страшно и неведомо, но устремлено вперед, и страх перед ним — это страх перед будущим. «Хлыстовство — /.../ подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в темное будущее» (2/584).

По-видимому, на трактовку Пришвиным хлыстовства заметно повлияло его знакомство с «голгофским христианством». В своем очерке 1910 года, посвященном этому радикально-реформистскому течению светских и церковных интеллектуалов, Пришвин сравнивает его с хлыстовством, вновь приписывая обоим течениям, народному и интеллигентскому, одни и те же черты и противопоставляя обоих вместе официальной православию (1/747—750). «Христос требует, чтобы каждый был, как он /.../. Искушение не совершено до конца. Мир еще не спасен», — учит Пришвина лидер голгофских христиан, старообрядческий епископ Михаил; не случайно его засыпанная снегом дача напомнила Пришвину заволжские леса, где он встречался с хлыстами-немоляками (1/748).

Больше всего Пришвина интересовал, однако, Павел Легкобытов, лидер одной из сектантских общин в Петербурге, ответившей от хлыстовства. В дневниках Пришвина он фигурирует то под собственным именем, то под кличкой «Книжник». Пришвин застаёт его в октябре 1908 года в кабинете Мережковского, в одной компании с Философовым, Дягилевым, Карташевым, Прохановым: «"Книжник", черный лохматый — хлыст». Один из присутствующих сказал, что хочет заняться «систематизацией сектантского хаоса». Мережковский отвечал интересно: «Но мы как раз и дорожим этим хаосом» (8/34).

Стиль Легкобытова Пришвин описывал в дневнике так: «Веселые, в пылу признаний похабные слова, в голосе трагизм или удовольствие». Чаще он писал о Легкобытове с уважением: «Я чувствую в этом человеке спокойную силу, в которой, как в зеркале, все шалуны»³⁶. Подобно герою задуманного Достоевским романа «Атеизм» Легкобытов был купцом, бросившим свое состояние и семью, чтобы скитаться по степям, лесам и Невскому проспекту в поисках истинного бога³⁷. 28 ноября 1908 года Пришвин записывал: «Кто-то приехал в Петербург и сказал: я знаю истину, нашел, и стали вдруг о ней говорить. Это Павел Мих<айлович> Легкобытов».

На языке своих метафор Пришвин рассказывал, как он мысленно сопоставлял Легкобытова, «сильного человека земли», с Мережковским, «светлым иностранцем», вновь думая об исскомом воссоединении культур: «Что, если бы они соединились в одно, и есть ли пути к этому?» Но Легкобытов презирал культуру и верил «в какого-то своего бога здесь, на земле, страшного, черного»; по сравнению с этой верой деятеля Религиозно-философского общества казались Пришвину «малюсенькими пылинками». Впрочем, Легкобытов хотел привлечь и этих людей на свою сторону. По его просьбе Пришвин знакомил его с «вождями религиозно-философского движения». Те «признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим» (1/793). 3 марта 1909 года Пришвин сказал Легкобытову: «Пожалуй, лет через пять и я к вам перейду. Через пять! — удивился он, и я понял, что меня они уже считают своим».

Пришвин посещал и другой хлыстовский корабль под Петербургом, возглавляемый Михаилом Рябовым. Этот соперник Легкобытова считал его Антихристом, но Пришвин легко объединял их обоих с кругом Мережковского: «Он <Легкобытов> и Рябов — их сразу поняли декаденты. Как они говорят и как хлысты — искренне — после как все фальшиво»³⁸. В статье в «Русских ведомостях» Пришвин сообщал, что побывал на именинах у пророка одной секты, близкой к тому, что известно обществу под именем хлыстовства. Этот «черноглазый красавец великан /.../ молодой, но кудрявый, с горящими глазами в темных впадинах» (1/750) и был Рябов. В очерке «Астраль» Пришвин описывает того же хлыстовского пророка: «великан Рябов, косая сажень в плечах, красавец с горящими глазами. /.../ Настоящий Стенька Разин, только вот мешает эта какая-то его особенная религия» (2/589). Можно предположить, что этот Рябов — тот самый глава хлыстовского корабля под Петербургом, который попался Розанову очень похожим на Владимира Соловьева, но «несравненно красивее»³⁹.

По словам Пришвина, Рябов рассуждал за столом на «нелепой смеси славянского с новейшим газетным». Есть две психологии, говорил он: «одна психология

крови /.../, а другая психология — просто чистый янтарь, постав божий». Слова Рябова перефразируются с собственным наблюдением Пришвина, очень важным для его личной философии: «В том-то и ужас хлыстовства, что у него разделение человеческого существа не скорбь, как у нас, а вполне сознательная мера». В этом Пришвин увидел противоположность хлыстовства старообрядчеству, в котором «дух и плоть слиты в единую сущность». У хлыстов же внутренний человек и внешний, богово и кесарево разведены еще больше, чем в привычном мире интеллигенции: та хоть привычно скорбит о своей двойственности, а у хлыстов, по Пришвину, сознательно получается «как бы два человека в одном» (1/750). Эта пропасть лежит внутри человека так же, как и между людьми. Один из питерских хлыстов, «новодеревенский Христос» Обухов называл ее словом «Астраль». У мистиков-декадентов Пришвин наблюдал то же осознанное расщепление: «пишут таинственно, говорят и живут обыкновенно» (1/587). Интересно, что и у Блока он видел «два лица» — одно красивое и искреннее, другое пошлое⁴⁰. Мучительное чувство собственной расщепленности не оставляло Пришвина до конца жизни, пока не привело к озарению: «Я сегодня нашел в себе мысль о том, что революционеры наши и церковники ограничены одной и той чертой, разделяющей мир на небесный (там, на небе) и на мир земной (здесь, на земле). /.../ На самом деле черты такой между земным и небесным миром вовсе не существует»⁴¹.

На именинах у Рябова Пришвин знакомится с неназванным гостем из южнорусского хлыстовского корабля, называвшего себя Новый Израиль — либо его лидером Лубковым, либо его приверженцем. Священное писание надо понимать иносказательно, как притчу, «переводя все на себя», потому что Бог — в душе каждого человека, — повторял этот сектант. «Он здесь, на земле», — учил он; «Из нас всех Христос» (1/750; курсив Пришвина), — говорил лубковец. Во всем этом мало нового по сравнению с учениями старых сект, замечает Пришвин; и, действительно, хлыст дословно следует здесь за речами Шатова из «Бесов». «Но вот где начинается изумительное: когда /.../, веруя в каждую букву Писания, что оно есть программа для устройства Царства Божия здесь, — эти люди приступят к осуществлению этого царства здесь. Сотни тысяч людей объединяются верой в земного Христа, какого-нибудь даровитейшего и умнейшего Лубкова. И потом дальше все, как в Писании: и пророки, и Иоанн Креститель, и семьдесят равноапостольских мужей. /.../ Пятьсот тысяч людей Старого Израиля и быстро растущая громадная армия Нового Израиля живут вместе с нами в той же России такой своеобразной жизнью, что страшно становится» (1/752).

Пришвин едва ли знает, о чем именно он пророчит; но мы вправе понимать его слова как буквальное предсказание близкого будущего.

«Есть ли выход из хлыстовского порочного круга в широкую мировую жизнь? Я долго думал, что выхода нет, но вот на моих глазах в одной из сект, происходящих прямо из хлыстовства, совершилось воскресение мертвой греховной плоти. Внезапно, после долгих мучительных переживаний, у сектантов душа соединилась с плотью, и секта превратилась в социалистическую общину» (2/592).

История была такой. Легкобытов привел Пришвина на окраину Питера, в секту, которая возглавлялась Щетининым. Этот пьяница «бормотал что-то скверное» и днем пользовался имуществом членов секты, а ночью — их женами. «Я убедился, что ты более я, и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку», — говорит Легкобытов; ты более я — любимая фраза Щетинина, главный принцип его учения, с помощью которого он ломал личности своих приверженцев, чтобы они «бросились в чан».

Щетинина знали в Петербурге многие. По словам Гиппиус, это был «маленький, нестарый, живой человек, видимо, сильный волей, властный и одержимый неистовой страстью говорения»⁴². Позже она вспоминала: «Щетинин, чемрецкий «батюшка» — да его не отличишь от Распутина. /.../ Вел он себя совершенно так же безобразно, как и Распутин»⁴³; «Щетинин /.../ только тем от Гришки и отличается, что /.../ к царям не попал»⁴⁴. Плоды деятельности Щетинина ограничились разрушением нескольких рабочих семей, сотрудничеством с охранкой и изданием неудобочитаемых брошюр о «перерождении человека». В его неостановимых речах, которые члены его общины, в основном заводские рабочие, слушали «с отдающимися, верующими глазами», Гиппиус услышала «несомненно-марксистские формулы, /.../ одетые еще в старые религиозные слова, а порой и обнаженные»⁴⁵. И действительно, 12 ноября 1908 года Легкобытов говорил Пришвину: «Ты выше я — <это> коммунизм»⁴⁶. Увлекаясь своим открытием, Гиппиус находила влияние Щетинина и в идеях, далеко ушедших от марксизма: «Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизверческой секте «чемреков»-щетининцев», — писала она о

книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Видя сходство между учениями Щетинина и Луначарского, Гиппиус причисляла их к одной и той же религии, судьбу которой характеризовала с интуитивной убежденностью: «Соединятся ученики их или ученики учеников их. Выработают и общий язык. Каков он будет, не знаю, но знаю, будет, потому что понятия у них одни и те же, /.../ та же общая идея, — «ты больше я», «коллектив выше индивидуальности» — и та же религиозная, вполне религиозная, концепция мира, /.../ религия обратного христианства»⁴⁷. Вскоре, 28 ноября 1909 года, Мережковский говорил в Религиозно-философском обществе: «Хлыстовство есть высшая форма плененности. /.../ Весь народ становится женщиной. /.../ И чем царь несправеднее, тем он слаще. Пример: щетининские хлысты»⁴⁸.

Совсем иначе ссылался на опыт чемреков Вячеслав Иванов. «Только у нас могла возникнуть секта, на знамени которой написано: "ты более чем я"», — с энтузиазмом писал философ в 1909 году⁴⁹. С чрезмерной доверчивостью Иванов увидел в этой формуле чемреков проявление «русской идеи», пример воли к нисхождению и воскресению, серьезное и искреннее выражение национального духа. Откликаясь, в дневниковой записи того времени Пришвин ставил имя авторитетного лидера символистов между именами хлыстовских вождей: «Мелькнула такая мысль: как близко хлыстовство к тому, что проповедуют сейчас декаденты: все «царства» Легкобытова, Иванова, Рябова. И процесс одинаков: Я — Бог. И потом образование царства. Ты больше Я» (2/674); сравните с этим слова Легкобытова о Щетинине в записи Пришвина: «Я убедился в том, что *ты более я* /.../ и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами» (1/793).

Пришвин, который скорее всего и познакомил Иванова со Щетининым или его учениками, за лозунгом «*ты более я*» видел оправдание мрачной тоталитарной утопии: «Воскресните! — хихикнул сатир.— Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану выварились, мы знаем, не только у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга. /.../ — Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми» (1/793).

Итак, в результате своеобразной революции лидерство в общине чемреков отвоёвал у «чучела» Щетинина «сатир» Легкобытов. «На моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо — и выбросили чучело, прогнали пьяницу» (1/793). Пришвин сравнивал все это с «кораблем невиданной формы», который некий народный строитель решил отправить на Парижскую выставку. Круглый корабль утонул, не дойдя до океана (1/794).

Чан

В те годы значение центрального художественного символа приобрел для Пришвина хлыстовский образ чана — по словам жены писателя, метафора самой истории. «Варится некое /.../ варево, неотвратимое, необходимое, и судить о нем по всей правде невозможно участникам, самим варящимся в этом чане. /.../ Все крутится и орет от злости и боли, жара и холода, вдруг на одну только минуту отдышка. /.../ Сколько тут будет веселья, неожиданных мыслей, слов, тут же рожденных, веселья самого искреннего, задушевного, пока старший не крикнет «Ребята, в чан!» — и все опять завертится»⁵⁰.

Хлыстовский чан был тем более удобной метафорой, что и сама народная традиция давно уже придала ему образное, скорее поэтическое значение. По некоторым сведениям, у хлыстов действительно были общины, которые радели вокруг чана с водой: «становятся круг чана кольцом, близ чана мужчины, а в другое кольцо женщины /.../ и начинают ходить, как можно скорее, круг чану мужчины по ходу солнца, а женщины против солнца, и каждый бьет лозою переднего сколько в силу, а задний его, и так далее — все друг друга»⁵¹. В таком случае обряд вступления в секту начинался купанием в этом чане, а после радений воду из чана брали в сосудах по домам и употребляли как лекарство. Сравните с этим описание хлыстовского радения в романе Писемского «Масоны»: «Это сборище бегало, кружилось и скакало вокруг чана, /.../ причем все они хлестали друг друга прутьями и восклицали: «Ой, Бог!.. Ой, дух»⁵².

Кажется маловероятным, чтобы поздняя хлыстовская община Щетинина — Легкобытова практиковала скакание вокруг чана. Ритуал здесь был, по-видимому, сильно редуцирован; большее значение, чем традиционные радения, имели тексты, которые писали эти люди, и образ жизни, который они вели (ср. пришвинское «а хлысты вовсе и не вертелись»). Ссылки на чан в речах Легкобытова имели, очевидно, то же значение поэтического тропа, что и в тексте профессионального писателя. Легкобытов рассказывал: «В этом рабстве мы узнали друг друга до нитки, до чулков, до подштанников, и у нас все общее, где мы все варимся, чан, где варится человек»⁵³.

Писательское перо требовало глобального символа, который имел бы зримую связь с экзотическим хлыстовским ритуалом, с одной стороны, и мог бы служить собирательным образом русской культуры, с другой. «Русский Бог страшен тем, что требует поглощения личности», — писал Пришвин. Именно в этом качестве, как противостоящий индивидуальному человеку, хлыстовский чан смертельно опасен; но в том и состоит странность русского интеллигента — и его культуры вообще, — что как раз такой чан представляет для него величайший из соблазнов. Один Пушкин был свободен от чувства вины за свой отказ от саморастворения — от самоубийственного народничества русской литературы. «Может быть, со времен Пушкина вся наша последующая литература за немногими исключениями была песней на краю кипящего чана»⁵⁴.

29 ноября 1908 года Пришвин вместе с Блоком, Ремизовым и Сологубом посетил общину чемреков, где хлысты говорили о своем «чане»⁵⁵; лидером ее еще оставался Щетинин. Любовь Блок писала свекрови: «Саша и Ал<ексей> Мих<айлович> пошли вместе на заседание хлыстов, Саша верно напишет Вам, ему очень понравилась»⁵⁶. В тот же день Александр Блок не без смущения сообщал матери: «пошли к сектантам, где провели несколько хороших часов. Это — не в последний раз. Писать об этом — как-то не напишешь»⁵⁷. 28 ноября 1908 года Пришвин записывал: «Блок с Книжником говорили о том, что есть нечто, в чем все люди сходятся — половой акт». По словам Книжника — Легкобытова, задача и православной церкви, и хлыстовских общин одна — пересоздание человека; но у хлыстов, считал он, возможностей для этого больше. «Так вот что значат слова Легкобытова: нужно создать человека: за стеной звери, а тут в церкви создают человека... Но все отделены в этой церкви, не действены... А у хлыстов? Театр, красота», — записывал Пришвин, пытаясь разгадать специфику действий Легкобытова. «Грех-смерть», говорил Легкобытов⁵⁸, иными словами, люди смертны, пока грешат. Можно предполагать, что «пересоздание человека» и разговоры о поле как о реальности, объединяющей людей, выливались в одну общую тему, волновавшую и Блока, и Легкобытова, — конечное преодоление пола, освобождение людей от власти постылого акта.

В 1914 году Пришвин сопоставил предложение Легкобытова «броситься в чан» с искушением сатаны и с предсмертным уходом Толстого⁵⁹. В этих же терминах он анализировал неонароднические идеалы своего поколения: ушедшего в народ поэта-символиста Александра Добролюбова, который, по мнению Пришвина, стал «вождем одной из очень могущественных религиозных сект», последовавшего за ним Леонидом Семеновым и самого Блока: «Всюду вы встречаете одно и то же: спев несколько песен, поэт видит себя поющим на краю кипящего чана, народа: *не до песни, нужно дело*, он бросается в чан, в бесловесное. /.../ Искупающий броситься в чан не сдерживает своего обещания, поэт воскресает не как поэт, а как сектант, лжепророк, самозванец»⁶⁰, — писал Пришвин. Силу хлыстовского соблазна он хорошо знал по себе. Ему самому в 1948 году все еще снилось, что он пишет книгу *о невидимом граде*⁶¹. Легкобытов говорил интеллектуалу: «Жизнь наша — чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного. /.../ Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа»⁶². С помощью этой хлыстовской метафоры устремления очень разных людей Пришвин сводит к одному: «Не знаю, как это назвать, — чан, пропасть или пасть, поглощающая художника. На одной стороне пасть религии страдания, на другой — эстетизм бесплодный, беспочвенный (группа «Аполлона»). Третий выход: приспособление к новой социал-демократической религии (например, Горький)»⁶³. Блок тогда отказался броситься «в чан», спрашивая: «А моя личность?»⁶⁴

Прошли годы, и именно в этих терминах Пришвин интерпретировал энтузиазм Блока по поводу большевистской революции: «Я думаю сейчас о Блоке, который теперь, как я понимаю его статьи, собирается броситься или уже бросился в чан. /.../ В тот маленький чан он не бросился, а в нынешнем большом опять стоит на краю». Для Пришвина большой чан революции по-прежнему сохраняет свое родство с хлыстовским радением; европеец не бросится в него, а русские часто к этому готовы, с

сожалением видит Пришвин. «Не забудет себя европеец, не бросится, потому что его «Я» идет от настоящего Христа, а наше «Я» идет от Распутина»⁶⁵. Блок действительно давал поводы подозревать его в особой симпатии к Распутину, очередному хлыстовскому Христу; достаточно вспомнить его собственную дневниковую запись (Пришвин вряд ли ее читал, но о подобных настроениях мог слышать от самого Блока): «Ночь, как мышь, /.../ глаза мои, как у кошки, сидит во мне Гришка, и жить люблю, а не умею». Сам Пришвин, однако, относился к героям своего времени с редкой трезвостью. «Распутин, хлыст — символ разложения церкви и царь Николай — символ разложения государства», — записывал он 3 апреля 1917 года.

По-видимому, опыт чемреков и в самом деле имел типологическое сходство с совершившейся революцией; во всяком случае, на языке своих метафор Пришвин сумел описать ситуацию раньше и, как сегодня кажется, пронизательнее многих своих современников. В феврале 1918 года Пришвин с яростьюотреагировал на знаменитую статью Блока «Интеллигенция и революция» в фельетоне под названием «Большевик из "Балаганчика"»⁶⁶. Эта полемика с редкой ясностью показывает хлыстовский контекст, в котором определенному кругу русских интеллектуалов виделась революция. Пришвин публично вспоминает здесь то, о чем раньше писал только в дневниках, не предназначенных для печати: как петербургские хлысты приглашали Блока сделаться их вождем-пророком и как трудно было отказать поэту-символисту, который именно в таком служении и видел свою роль перед народом: «Хлысты говорили: «Наш чан кипит, бросьтесь в чан, умрите и воскресните вождем». Блок спрашивал: «А моя личность?» Ответа не было из чана»⁶⁹. Пришвин одобряет этот отказ 1908 года; поэт и вообще интеллигент должны сохранять себя как личности.

Ответа из чана Блок не получил тогда и не получит теперь. «Также не будет ему ответа из нынешнего революционного чана, потому что там варится Бессловесное. /.../ В конце концов на Большом Суде простится Бессловесны (так. — А. Э.), /.../ но у тех, кто владеет Словом, — спросят ответ огненный, и слово скачущего барина там не примется». «Бессловесным», то есть народу-природе, грехи простятся; ответственность же лежит на тех, кто владеет словом, — на поэте, философе, интеллигенте. «Блок для меня — это человек, живущий «в духе», редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами»⁷⁰, — признавался Пришвин, уподобляя Блока народным сектантам, а сам дистанцируясь от них.

В рассказе «Голубое знамя» (январь 1918 г.), который еще войдет в учебники русской литературы, Пришвин показывает свою картину революции. Дана она от лица маленького человека, преемника Евгения из «Медного всадника»: у героя застрелилась любимая племянница, он приезжает в революционный Питер по торговым делам и, беспомощно грозя новой власти, сходит с ума. Тут наш купец встречается с человеком, которой хочет «собирать хулиганов под голубое Христово знамя». Усвоив новый род безумия, герой рассказа так обращается к большевикам: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного». И сам проект, и сакраментальная фраза эта принадлежат знакомому нам Рябову, одному из хлыстовских лидеров Петербурга, и без изменений перешли в «Голубое знамя» из очерка «Астраль» (2/590). Пришвин тонко ведет свою игру: с одной стороны, мы узнаем, что «наперекор всему новому, красному, как бы голубым знаменем раскинулось старое»; с другой стороны, «голубое Христово знамя выступает как символ петербургского безумия, в конце рассказа сливаясь с революцией так, как старое сливалось с новым. Революционный купец под своим голубым знаменем ведет повстречавшийся ему пьяный патруль. У них нет страха, и пули их не берут: «безумный впереди, пьяный позади, в странном обменном согласии» (2/635).

Эта концовка звучит как злая пародия на финальную сцену «Двенадцати»: тот же патруль, то же безумие, те же подспудные хлыстовские мотивы⁷¹ и тот же Христос с флагом, только знамя это у Пришвина голубое, а у Блока — кровавое. Рассказ Пришвина, однако, был опубликован до того, как Блок закончил свою поэму. Хотя работа над текстами шла почти одновременно, более детальный анализ показывает, что Блок мог читать, и почти наверняка читал рассказ Пришвина в решающие дни завершения работы над поэмой; Пришвин же не мог читать поэму Блока, работая над своим рассказом, и вряд ли что-то слышал о ней. Последовательность этих событий 1918 года выглядит так. Первая запись о «Двенадцати» в записных книжках Блока помечена 8 января. Его «Интеллигенция и революция» выходит 19 января, «Голубое знамя» Пришвина — 28 января. На следующий день Блок слышит внутри себя «страшный шум» — тот самый, который, по его словам, воплотился в «Двенадцати». 16 февраля появился «Большевик из "Балаганчика"» с его хлыстов-

ской темой и оскорбительными подробностями: «Блок как деревенская вековуха: засмыслился, ко всем льнет и не может ни на ком остановиться». «Г-н Пришвин хает меня в «Воле страны», как не хаял самый лютый враг», — сразу же записывает Блок, этим же днем помечено его ответное письмо Пришвину. 17 февраля Блок вновь садится за «Двенадцать». Более того, в этот день он решает переделать самые важные для него стихи — «Возмездие» и «Скифов»⁷². «Двенадцать» вышли в свет только в марте.

Тогда, в феврале 1918 года, они относились к действиям друг друга с напряженным вниманием: Пришвин публично обидел Блока, на что знаменитый современник ответил резким и очень личным письмом. Пришвин до конца жизни продолжал размышлять над концом «Двенадцати»; Блок к Пришвину более не обращался и на него не ссылался, но за «Двенадцатью» последовал «Катилина», который тоже завершается сценой шестивия, еще более кощунственной⁷³.

Итак, финальная сцена «Двенадцати» оказалась такой, какая она есть, после прочтения «Голубого пламени» и «Большевика из "Балаганчика"»; независимо от того, писал ли и переделывал ли Блок свою поэму под влиянием Пришвина, он знал, что именно в контексте его полемики с Пришвиным она будет восприниматься общим литературным окружением. Используя те же символы, что и Пришвин, Блок придает им радикально иную, могущественную интерпретацию. Иначе прочитывая те же события, Блок доказывал своему двойному врагу, критику и предшественнику: он встал под знамя, он окунулся в чан и не боится ни критики, ни заимствования. В результате пришивские «Большевик из "Балаганчика"» и «Голубое знамя» оказали на «Двенадцать» влияние и психологического стимула, и литературного подтекста: любопытный случай, в котором яростная идейная борьба кодируется куда более тонкой и скрытой интертекстуальностью. Существенно, что впервые о странном сходстве текстов Пришвина и Блока написала вдова Пришвина⁷⁴, почему можно догадываться, что и сам он знал о влиянии, которое его рассказ оказал на «Двенадцать».

Поучительно, что разговор именно на этом языке казался Пришвину самым понятным способом объяснить, что такое революция. Революция есть хлыстовский чан; в нём варится Бессловесное. Каждый должен сделать выбор: либо броситься в чан и молча танцевать там; либо бороться против, хотя бы Словом. Поучительно и то, как в момент главного выбора этот певец природы и знаток народа предпочитает им индивидуальную личность, ее личную ответственность и ее отдельный долг перед культурой. «То, что называется «саботажем», есть сопротивление личности броситься в "чан"», — формулировал Пришвин собственную позицию в 1919 году. Тогда солдаты позвали Пришвина быть у них комиссаром: «Хорошие ребята, чувствуешь такую же тягу, как у пропасти, хочется броситься, чтобы стать их царем, как у сектантов Нового Израиля, когда они предлагали броситься в "чан"». Эта метафора играет центральную роль в его пореволюционных мыслях. «Слово «партия» произносится с таким же значением, как у хлыста его Новый Израиль, — вообще партия большевиков есть секта»⁷⁵.

«Начало века»

В марте 1909 года Щетинин был низложен. В результате долгой и трудной борьбы лидерство в маленькой подпольной общине чемреков завоевал Павел Легкобытов. Эта история подробно документирована в томе, роскошно изданном Бонч-Бруевичем⁷⁶. «Однажды они все одновременно почувствовали, что /.../ они своими муками достигли высшего счастья, слились в одно существо, — и выбросили чучело, прогнали пьяницу» (1/793), — так рассказывал об этом Пришвин. Члены старой общины Щетинина называли себя чемреками; свою новую секту, состоящую в основном из тех же людей, Легкобытов назвал «Начало века». Пришвин характеризовал эту секту как «самую интересную во всем свете» (2/590).

В черновых набросках повести «Начало века» Пришвин хотел рассказать обо всем, что было им пережито с сектантами и символистами в 1900-х годах. Повесть была задумана, по-видимому, в начале 1910-х годов, но Пришвин продолжал думать о ней и в первые пореволюционные годы. Текст так и не был написан; в архиве остались подробно разработанный план повести и наброски-конспекты отдельных глав. В отличие от лирических путешествий в поисках Невидимого града новые заметки он пишет, не уезжая из Петербурга, и жанр их — эпический. «Время эпоса, а не лирики», — пояснял Пришвин. Автор далеко уходит здесь от популистского романтизма своих первых книг. Текст должен был воплотить разочарование во многих прежних надеждах — и в Щетинине с Легкобытовым, и в Блоке с Мережков-

ским, и в Ленине с Бонч-Бруевичем. Если в первых книгах Пришвина искренне ищущий паломник не без труда притворялся этнографом, то в «Начале века» авторская позиция, наоборот, критична и исторична. Это не мешает автору опираться на более чем неожиданные метафоры. Цель свою писатель характеризовал, впрочем, довольно традиционно: «Какие знамения времени были в художественной литературе в послевоенное десятилетие падения Российской Империи».

Необычными стали сами эти «знамения» — те признаки раннего обнаружения катастрофы, которые Пришвин сумел увидеть там, где одни не видели ничего достойного внимания, а другие находили предмет для радостного умиления. Речь по-прежнему идет о русских сектантах на фоне русской истории. Приобретенный опыт заостряет перо, и место прежнего любования занимает радикальная историческая редукция. Как написано в наброске Экспозиции: «Действие происходит на окраине Санкт-Петербурга. В героях — интеллигентных и простонародных — отражаются богоискатели из Религиозно-философского общества и петербургские сектанты. /.../ Щетинин возле истины, Легкобытов возле правды, союз между ними и борьба — мысль повести. /.../ Щетинин и Легкобытов после заключения своего договора (как в Фаусте) отправляются покорять Россию и в конце концов попадают в Питер, где встречаются с интеллигенцией, где хотят покорять ее».

В качестве героя задуманной повести Легкобытов «верит в общее», тогда как Щетинин «издевается над всяким общим», Щетинин утверждает истину, с которой оказывается связана ложь, а Легкобытов утверждает правду и стремится «вернуть истину на землю, а то она любит уходить на тот свет». Вольно используя старинное различие между мистической истиной и рациональной правдой, Пришвин пытался разработать довольно сложную формулу: «правда может в борьбе с ложью истины бороться с самой истиной». Итог этой истории, в изложении Пришвина, теперь выглядел неутешительно:

«Щетинин — царь, его мудрость принимают чающие и мало-помалу воскресают. Такова теория, но по какой-то ошибке (греху личному) /.../ Л<егкобытов> сам превратился в царя и те в его рабов. Щ<етинин> был просто обыкновенным «Христом» хлыстовства, мошеником и понемножку имел от всего, но Л<егкобытов> его практикой ввел в теорию, «поднял человека» и за это свое хорошее, гордое дело стал царем. /.../ Апофеоз дела Легкобытова: свержение Щетинина, сам становится царем, объявляет воскресение. /.../ Израиль достиг теперь земли обетованной, и все могут теперь венчаться. Все эти рабыни старые, изможденные надели белые платья и венчалась, закончили круг»⁷⁷. Действительно, свержение Щетинина и «перерождение» чемеков немедленно увенчались коллективной свадьбой: под руководством Легкобытова бывшие девушки Щетинина вышли замуж за холостых членов той же секты⁷⁸.

В замысле Пришвина секта «Начало века» отождествляется с другим интересовавшим Пришвина сообществом. «Религиозно-философское общество выразить как борьбу Легкобытова с Щетининым», — ставит себе задачу Пришвин. В его замысле Легкобытов отождествлялся с Мережковским, Щетинин — с Розановым. Основания для такой аллегорической конструкции были и биографическими, и психологическими. После дела Бейлиса Розанов был изгнан из Религиозно-философского общества, лидерство в котором принадлежало Мережковскому; по-видимому, Пришвин в своей повести собирался совместить оба эти переворота, Легкобытова против Щетинина и Мережковского против Розанова. «Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова /.../. А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова /.../. Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает», — записывал Пришвин; он так и формулировал свою позицию, понимая действия Мережковского по аналогии с опытом чемеков: «это не просто исключение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту».

Возможно, в этой любопытной конструкции сыграло свою роль особое отношение Пришвина к Розанову, который в качестве гимназического учителя исключил когда-то юнога Пришвина из гимназии. «Розанов и Мережковский прельщают меня своей противоположностью», — записывал Пришвин (8/60). В его дневнике Легкобытов сам сравнивает себя именно с Мережковским: «я чувствую в нем дух, равный себе, /.../ но он шалун» (8/61). Пришвину от этих разговоров было «жутко до бесконечности», но в целом он соглашался с Легкобытовым, повторяя за ним «мы — шалуны» и развивая именно его тему: «У Мережковского /.../ культура превращена в книгу. И в ней, в этой книге, герой Христос. /.../ Приходят к нему хлысты, люди, которые потеряли веру в историческую личность Христа и начали с утверждения личности Христа в себе. Мережковский говорит им о едином Христе. И вся разница между ними — культура: они то же, но без культуры»⁷⁹. Обе стороны этого диалога утеряти веру и ищут для нее новых воплощений: Мережковский воплощает Христа в слова своих книг, Легкобытов — в тела своих последователей.

Все та же идея о глубинном единстве народа и интеллигенции, которая питала воображение Пришвина во время его ранних путешествий, теперь звучит совсем иначе. Поэтический или скорее историософский троп остался тем же, но его вектор и акцент переменялись, а с ними и весь смысл риторики. Раньше Пришвин отправлялся в своих метафорах от знакомого ему богоискательства интеллигенции — к загадочному миру сектантов. Теперь он делает обратное: старается понять ставший для него чужим мир революционной интеллигенции, уподобляя его более понятному (после практических наблюдений) миру сектантов. Если раньше Пришвин приходил в умиление, находя у народных сектантов сходство с людьми высокой культуры, то теперь он приходит в отчаяние, находя в высокой культуре черты известной ему секты. Теперь визит Легкобытова к Мережковским описывается так: «кривляние Павла Михайловича, смех Философова, страх Мережковского /.../ Диагноз Мережковского: у нас был Антихрист».

Теперь Пришвин с иронией повторяет прежде любимый образ: «Религиозно-философское общество — мастерская, где выдвигались крылья поэтов /.../ Идеи — это стальные молоты». Пришвин так перечисляет последовательные «циклы идей», которые молотами обрушивались на русское сознание: Ницше, Розанов, Джемс, Мережковский. В другом месте писатель дает анализ, намного опередивший десятки защитных на эту тему ученых работ: «Два светила восходят в сознании русского мальчика конца прошлого века: Маркс и потом Ницше. /.../ В этот свой период марксизма он пишет трактат о рынках. В 90-х годах он делается неокантианцем. /.../ Через несколько лет он становится приверженцем Ницше /.../, изучает славянские мифы, воскрешает древнее народное язычество. Пробует писать стихи. После 1905 г<ода> возвращается богоискателем, соловьевцем и, наконец, когда юношеские его идеи восторжествовали на родине, /.../ постригается в священники. /.../ Исходный пункт его исканий есть утрата родного Бога, на место которого постепенно становятся на испытание все господствующие учения века. /.../ Недаром он, будучи марксистом, вначале ожидал мировой катастрофы. Быть может, это чувство конца и соблазнило его стать марксистом, а чувство конца света воспринято им от русской старухи»⁸⁰.

Этот ответ на важнейшую для новейшей истории проблему национальных источников большевизма воспринимался Пришвиным как личное переживание — скорее факт жизни, чем плод анализа. В мае 1915 года его хлыстовская знакомая Дарья Смирнова приснилась ему в эротическом сне: «какая-то большая народная мистерия, и там глубокая старуха /.../ вся черная действует, я подхожу к ней, старуха становится моложе, совершается чудо: старуха превращается в довольно молодую полную русскую женщину, сильно напудренную, похожую на Охтенскую богородицу»⁸¹. Большая народная мистерия — совершающаяся на его глазах «марксистская» революция — подсказана «русским мальчикам» русской же старухой няней; а та в страшном и соблазнительном сне превращается в хлыстовскую богородицу.

В качестве примеров для намеченной теории Пришвин называет Сергея Булгакова, Добролюбова, Семенова, Горького. Есть, по его словам, пути незаконченные: таковы судьбы Семашко и Брюсова. Дальше следуют новые герои, литературные и политические: «Литература раньше пережила революцию: декадентство, футуристы и есть революция»; «Сапог рабочего и футуриста /.../ зовут в чан, в материю, в безликое»⁸²: в тот самый чан. После революции Религиозно-философское общество становится ненужным: «коммуна крест народа и дальше не нужна мастерская для крыльев». Нужна «радость жизни и радостная песня»; что же касается старых проблем и печалей, то «сфинкс исчез»⁸³, — на время поверил Пришвин.

Согласно схематическим рассуждениям писателя, цивилизация и культура создают в России каждая свой национальный тип: цивилизация создает кулака, культура — странника. Оба они в своем развитии доходят до крайних, предельных форм, которые в силу этого неспособны к сосуществованию: «Наш кулак доходит до последней своей вещественности, а странник — до последней духовности /.../ и все разрешается революцией». Есть, впрочем, и особая возможность для совмещения русских полюсов, и возможность эта отсылает к хорошо знакомым реалиям: «кулаки и странники, симбиоз — хлысты», возвращается Пришвин к старой русской идее. Но синтезом или «симбиозом» борьба культуры и цивилизации, кулаков и странников, «разрешиться не может, так как противники равные». Не способные к примирению противники найдут выход в экспансии своего конфликта. «Она <борьба> может принять только универсальные размеры, захватив в себя весь мир. Русский вопрос сделается вопросом всего мира и даст нам возможность существования на земле тем, что будет принят на плечи новых свежих масс. И так в будущем наш русский кулак-мешочник сделается американским капиталистом, а странник града Невидимого каким-нибудь новым Ницше».

И после революции Пришвин не устает вспоминать о харизматической фигуре своего бывшего приятеля, «сатира-пророка». «Накануне революции пророк секты

Нового Израиля («Начало века») говорил мне: «Теперь осень, время жатвы... И началась жатва», — рассказывал Пришвин⁸⁴ (ср. примерно такое же пророчество Легобытова в рассказе 1911 года; 1/792). Сектант потому предвидел революцию лучше философа и писателя, что революция — его рук дело, это он ее посеял. В соответствии с изменившимся настоящим меняются и оценки прошлого. Новый стиль, которого ищет Пришвин, скорее пародирует рассуждения, звучавшие в Религиозно-философском обществе: «"От них к нам" — естественно, но как "От нас к ним"? Самый легкий путь ослабить секту, в России только скажи что-нибудь, и сейчас же организуется секта. Но секта есть частичное решение вопроса. А если предложить целое, то примут за Ивана-Царевича». Последнее отсылает к известному сюжету из «Бесов», популярному в начале века; сокурсник Блока, поэт Леонид Семенов, прошедший путь от социал-демократа до сектанта, в 1904 году всерьез мечтал стать Иваном-царевичем⁸⁵.

В своем пореволюционном разочаровании писатель заходит далеко: «Вырождение в эстетизм. «Аполлон» и педерастия. РФО в Петербурге ничего не имеет общего с Московским соловьевским обществом, тут были богоборцы. Розанов и архiereи, православные и старообрядцы, еп. Михаил и люди прямо из народа: рабочие и баптисты, штундисты, хлыстовские пророки, раза два я встретил там знаменитую Охтенскую богородицу. /.../ Секты — это собственницы Бога, божественные товарищества на паях»⁸⁶.

Соединяя исторические реалии, Пришвин заземляет их, выражая свое разочарование, не нашедшее выхода. Очевидные современникам различия между Московским и Петербургским обществами; известная нам Охтенская богородица; Михаил Семенов, по рождению еврей, ставший старообрядческим епископом и религиозным диссидентом, одна из самых примечательных фигур начала века; Розанов, которого Пришвин, несмотря на старые счеты, продолжал чтить; гомосексуализм неназванных, хотя и широко известных сотрудников «Аполлона»... Эта риторика кажется не вполне добросовестной; однако в другом наброске того же плана под названием «Общество религиозного сознания»⁸⁷ Пришвин дает на редкость глубокою характеристику центральному интеллектуальному событию прошедшей эпохи. «Вехи: возвращение к славянофильству, стихии, религии, детству, мистике через Метерлинка и оккультистов. Шикарный жест Гершензона: европейский крах индивидуализма»⁸⁸. Из этого эскиза легко видеть, насколько отличаются теперь его идеи от тех, которыми жил он в годы своей веры в «волшебный мир» и путешествия к сектантам — как раз во время выхода знаменитого сборника под редакцией Михаила Гершензона.

В главке «Мобилизация духовенства» речь должна была идти о проекте соединения православной и англиканской церквей; такой проект действительно обсуждался в Религиозно-философском обществе. В связи с этим Пришвин собирался рассказать о ссоре Розанова и Блока, которая в его восприятии каким-то образом была связана с этим проектом. Потом по плану следовала главка с характерным названием «Теургия Распутина»; интересно, что любимое слово русских символистов связывалось здесь с практикой Распутина, но на деле речь должна была пойти о голгофском христианстве. Потом следовала главка «Неудавшийся опыт».

«Что рассуждать о сладчайшем? Нужно действовать. Это был вихрь и готовность на всякие опыты (Ремизов, Блок, Кузмин). Собрались для мистерии. На всякий случай надели рубашки мягкие. Сели — на квартире Минского; ничего не вышло. Поужинали, выпили вина и стали причащаться кровью одной еврейки. Розанов перекрестился и выпил. Уговаривал ее раздеться и посадить под стол, а сам предлагал раздеться и быть на столе. Причащаясь, крестился. Конечно, каждый про себя нес в собрание свой смешок (писательский) и этим для будущего гарантировал себя от насмешек: "Сделаю, попробую, а потом забуду"».

Этот интересный рассказ нуждается в историческом комментарии. В мае 1905 года к Василию Розанову приехали Вячеслав Иванов и Николай Минский «с предложением всем завтра сойтись на собрание у Минского на квартире, с целью молитвы и некой жертвы кровью, то есть кровопускания»⁸⁹. Лучше всего мы знаем об этом случае от Евгения Иванова, который был у Розанова во время того памятного «предложения» и сообщал об этом Блоку: «решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но "вкупе" /.../. Собраться решено в полночи /.../ и производить ритмические движения для /.../ возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец, особого рода мистические символические телорасположения»⁹⁰. К Минскому Е. Иванов не поехал; не был там и Блок. О происходившем мы знаем от падчерицы Розанова, которая рассказывала Е. Иванову, а тот — Блоку. «Действительно было то, что у Минского обещано было быть», — записывал Е. Иванов. Пришвин в этой записи не упоминается; присутствовали Вяч. Иванов, Бердяев, Ремизов, Венгеров, Минский (все — с женами), Розанов с падчерицей, Мария Добролюбова, Сологуб...

Гости сидели на полу, погасив огни. «Потом стали *кружиться*», — сообщал Е. Иванов, подчеркивая ключевое слово⁹¹. «Кружились — вышел в общем котильон»⁹². Потом Вячеслав Иванов, игравший в ритуале центральную роль («только благодаря ему все могло удержаться»), поставил посреди комнаты «жертву» — добровольно вызвавшегося на эту роль молодого музыканта С. Этот С. был, как подробно и с некими значениями писал Е. Иванов, «блондин-еврей, красивый, некрещеный». Он должен был быть «сорасят», что выражалось «в символическом пригвождении рук, ног». После имитации крестных мук «<Вячеслав> Иванов с женой разрезали ему жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу...»⁹³ (в другом варианте «прирезал руку до крови»⁹⁴). Кровь музыканта смешали с вином и выпили, обнося чашей по кругу; закончилось все «братским целованием». Такие собрания, сообщал Е. Иванов, «будут повторяться».

На встрече у Минского совершалась имитация хлыстовского радения, на что указывает и само употребление термина «радение», и «кружения», и ритуальное жертвоприношение. Как любой переход от слов к делу, радение у Минского произвело взрывной эффект; оно необычайно часто упоминается в переписке и воспоминаниях современников, как правило, с резко негативным оттенком. Для Блока радение у Минского явилось поводом поставить «большой вопросительный знак» над Вяч. Ивановым. Е. Иванов, видевший здесь «бесовщину», писал, что действие это «несколько удалось» тем, что «почувствовалась близость у всех»⁹⁵. Блок трактовал эту близость как характерный эффект всякого «любительского спектакля», но колебался: может быть, и такая близость «священна и строга»⁹⁶. Жена Розанова взяла обещания с мужа и дочери на радения больше не ходить. Жена Ремизова тоже осудила радение у Минского; ей после «кошунства /.../» радений «> было «плохо и мучительно», а Гиппиус утешала ее: «Вы не зная пошли (не зная — м<ожет> б<ыть> и я бы пошла)»⁹⁷. Упоминается это «радение» и в переписке Шестова и Ремизова⁹⁸. С чужих слов писал о нем в мемуарах Андрей Белый: «в каком-то салоне кололи булавкой кого-то и кровь выжимали в вино, называя идиотизм "сопричастием" (слово Иванова)»^{98а}. Впоследствии Гиппиус использовала этот случай как пример деградации: «в хитонах водили будто бы хороводы с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом "распивали"»⁹⁹. Как и Пришвин, Гиппиус путает пол жертвы, но верно указывает ее национальность; вполне вероятно, что у них были общие источники информации о произошедшем.

Пришвин собирался рассказать и о мистических теориях Вячеслава Иванова и его круга; главка называлась «Мистический анархизм»: «Если каждый будет творить согласно природе своей индивидуальности, то и будет достаточно священное безначалие. Мы — боги, мы начинаем. Потом, когда это не удалось, то на помощь явились оккультские настроения разных планов: это совершается в каком-то плане и тогда, а не теперь, страна покроется оркестрами и факелами». Утопическое философствование, так легко узнаваемое по статьям Вячеслава Иванова и стихам вдохновенных им поэтов, вновь опровергается Пришвиным с помощью отсылки к его излюбленной культурной модели: «Способность русского человека отдаваться, слушаться почти всегда имеет что-то красивое; точно так же редко бывает что-то обратное, чтобы красив был человек, взявший власть. Я встретил в секте «Начало века» чистых голубей послушания и двух вождей: один именовался Христом, царем, другой /.../ учил, что настанет час, когда царь — Христос в их общине не будет нужен /.../ и тогда будет настоящая коммуна и начало века».

Следующая главка «Начала века» имела центральный характер и называлась, как нетрудно угадать читателю, «Чан»: «В то же самое время Легкобытов стал проповедовать «Начало века» и выступил с предложением интеллигенции броситься в чан народа. Таким образом были два чана: интеллигентский и народный. У народа чан удался, потому что там сохранилась способность *отдаваться*, здесь же каждый хотел быть царем. По Мережковскому, способность отдаться — русское начало, а быть царем (личностью) — европейское, так что схематически получаются чан Европы и чан России. Богема противопоставляется хлыстовству. Кающаяся богема, ищущая нравственности богема, кающиеся боги, и там обожаемое рабство /.../. Это были поиски моста веры между интеллигенцией и народом. Мост веры обломился. Истинный мост есть: любовное действие в молчании. /.../ Неверность тут в тоне, а не в смысле: претензия». Пришвин продолжал эти рассуждения в другом месте: «Плазма народных царств (чанов) аналогична плазме общества религиозного сознания. /.../ Кажется, что и там и тут все говорят об одном и том же и люди одни и те же, хотя всем кажется, что они начинают век».

Обобщая идеи начала века — «перерождение человека» в версиях Щетинина — Легкобытова и «революцию духа» в версиях Розанова — Мережковского, — Пришвин был готов перейти и дальше — к марксистским версиям революции по Луначарскому — Бонч-Бруевичу. Пытаясь понять слова Легкобытова о том, что надо «опрокинуть небо», «ввести Христа в земную жизнь» и «признать его в лично-

сти человека», Пришвин объяснял: «Это значит война против инстинкта, тайны, надежд, неба, высоты, прошлого, далей, горизонтов — только настоящее. Раб поднимает человека. Уничтожение ночи. Марксизм и легкость бытия <хлыстовство — зачеркнуто> имеют общим: 1) причина всех причин (метафизика); 2) требование царства на земле; 3) превращение рабской массы в сознательную личность. /.../ История секты Легкобытова есть не что иное, как выражение скрытой мистической сущности марксизма. Получается не земля просто, но земля обетованная /.../ государство будущего вместо обыкновенного государства. Непережитое и страстно желанное — это исход всего Израиля. А потом уже начинается с этим расправа¹⁰⁰.

И «марксизм», и «легкость бытия» означали для Пришвина полное отрицание романтизма как признания благородства природы. «Мы живем бессловесной корневой жизнью в молчании подснежной глубины: вот почему теперь нет у нас слов, цвет увял... крест задавил... /.../ Там крест для человека, тут человек для Христа... и вокруг все бессловесное, пустыня, снег: не я иду, а меня куда-то ведут»¹⁰¹, — резко противопоставлял Пришвин свой идеал добровольно-жертвенного, природно-стихийного «романтизма» — и утопизм «государства будущего», которое он приравнивает к чемрековской общине и отчетливо воспринимает как невозможное, искусственное, насильственное.

Сладкое бремя

Итак, в пришвинских дневниках опыт знакомства с сектой питерских хлыстов Щетинина — Легкобытова обобщается до символа русской революции.

«Помню, /.../ заинтересовались мы одной сектой «Начало века», отколовшейся от хлыстовства. /.../ Христом-царем этой секты был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. /.../ Пьяный, он по телефону вызвал к себе их жен для удовлетворения своей похоти.

И было им это бремя сладко, потому что им всем хотелось жертвовать и страдать без конца.

Так и весь народ наш русский сладко нес свою жертву и не спрашивал, какой у нас царь. /.../

Мир отражается иногда в капле воды. Когда свергли не хлыстовского, а общего царя, хотелось думать, что народ русский довольно терпел и царь отскочил, треснул /.../ так и Щетинин отскочил, когда для секты «Начало века» наступило легче время их жизни», — вспоминал Пришвин в январе 1918 года¹⁰². Наблюдения за экспериментом в общине чемреков были живой моделью, с помощью которой понимался ход истории. И действительно, сходство было не только типологическим: «Эту секту после провала старца Щетинина подобрал прохвост Бонч-Бруевич /.../ и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. /.../ И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна величайших и пугающих нелепостей», — давая волю чувствам, записывала Гиппиус в ноябре 1916 года¹⁰³.

Между тем познакомились они, Легкобытов и Бонч-Бруевич, в 1909 году на докладе Пришвина о его поездке в Заволжье¹⁰⁴, — том самом, на котором Пришвин признался в своей вере в волшебство. В 1910 году Пришвин стал свидетелем беседы между уже победившим сектантом и еще не победившим сектоведом. «Прихожу на Херсонскую к Бонч-Бруевичу. Там Легкобытов. Опять религиозные разговоры.

— Суть не в изменении моего характера, а в отношении друг к другу, — говорит Легкобытов, — восстановление векового первоначального отношения людей, /.../ не один, а семья, одно живое целое, /.../ а самое главное в семье: равенство. Нужно привести человека в совершенную простоту и дать ему простое назначение». Так была напечатана эта дневниковая запись в Собрании сочинений Пришвина (8/61). Архив доносит до нас фразы хлыстовского лидера, пропущенные в 1986 году, вероятно, из-за неприятных ассоциаций с советской риторикой: «Легкобытов говорит: роковое число 17 марта: до этого они были рабы, /.../ теперь наступила жизнь. Так и считаем: до 17-го и после 17-го /.../ Все, что было раньше велико, нужно умирить и начать все из себя, действительность отвергнуть и вне действительности создать действительность. /.../ Нужно привести человека в совершенную простоту и дать ему простое назначение. Человек нуждается в Боге, пока он еще не человек. А как стал человек, тогда зачем Бог? /.../ Щетинин не провокатор, а убежденный хлыст-Бог. Он делает все, чтобы испытать жизнь до конца, зло до конца. /.../ Начало одно, Бог взял начало, значит, человек безначальный, и нужно взять начало, и вот мы есть начало века»¹⁰⁵.

Поначалу, сразу после 1909 года, когда Легкобытов в своей общине переборол Щетинина, эта чемрековская модель позволяла Пришвину прийти к весьма оптимистическому прогнозу:

«Я был счастливым наблюдателем: на моих глазах царь и христос секты «Начало века» был свергнут своими рабами: в одно воскресенье /.../ они воскресли для новой жизни, пришли к царю своему и прогнали.

Мой рассказ не сказка: /.../ в собственном доме жизнью полной коммуны, с общей детской, столовой, строгих нравственных правил, живут теперь свободные прежние рабы царя и христа А. Г. Щетинина».

Но мирный переворот, произведенный Легкобытовым в хлыстовской общине, во всероссийском масштабе воспроизвести оказалось труднее, и Пришвин довольно скоро признал модель чемрекской революции ошибочной; он продолжал исходить, впрочем, все из той же теории народного мазохизма вместе с любимой метафорой чана: «Но, кажется, чувства мои ошибались: не до конца еще натерпелся народ, и последний час, когда деспот будет свергнут, еще не пробил — чан кипит»¹⁰⁶. Ощущавшаяся им связь между политическими религиозными поисками современников волновала Пришвина как разгадка главных проблем революционной эпохи; «Социализм, с одной стороны, имеет черты сектантства (немоляки): нетерпимость, частичность, /.../ гордость и прочее; с другой стороны, опять как сектантство, сохранение чего-то вечно живого, присущего всему миру»¹⁰⁷.

В новых условиях чан означает не только общее кружение и общее имущество, но вбирает в себя и самую интимную из человеческих функций. Старые народнические лозунги в воображении писателя переплетались с новыми эротическими идеями: «Народ, земля, отец, мать — требуют возвращения в свое лоно» (8/61). Естественно, практика Щетинина и Распутина давала для этого удобные метафоры. «Коммунистов зовут теперь куманьками», — записывал Пришвин 18 сентября 1918 года. Созвучием дело не ограничивалось: «Кумовство — это подпольная сторона России (женственность), это чем всякие дела делаются. /.../ Кумовство — это не свобода. /.../ Распутин своим способом хотел покусить всю Россию. /.../ Распутин наш всеобщий кум»¹⁰⁸. «В этом "браке на неизвестной" характерная черта народа русско-го. И возможно, что ею, этой чертой, бывает окрашена и любовь некоего интеллигента к неизвестному безликому образу» (8/77). «Известно, что Россия легко представляет как огромная дебелия баба. Все рассуждающие мистики в один голос признают начало женственное, пассивное основание в России (успех Распутина)». Все вместе Пришвин характеризует как «безликий романтизм»¹⁰⁹. Эта любопытная тема напоминает о Блоке, певце Прекрасной дамы и человеке, которого Пришвин сравнивал с деревенской бабой: «ко всем льнет и не может ни на ком остановиться»¹¹⁰. Этот вечный сюжет, в России ассоциировавшийся с Соловьевым и еще с переводом «Пола и характера» Вейнингера, для Пришвина неожиданно попадает в новый контекст: он работал над переводом книги Августа Бебеля «Женщина и социализм», и именно об «абстракции полового чувства»¹¹¹ собирался писать в 1915 году повесть «Марксисты».

После совершившейся революции в дневнике Пришвина появляются эротические метафоры особого рода: «Заливай, гончий здоровенный пес, страдает половым бессилием, он спит с Зорькой в соломе, даже не пытаясь ее удовлетворить, а возле соломы полный двор кобелей. /.../ Так Россия теперь лежит, охраняемая здоровенным и беспомощным кобелем, а вокруг стоит, высунув языки, "буржуазия"»¹¹², — пишет он в 1918 году. В недатированном наброске Пришвин заводит этот ряд эротических метафор очень далеко. Идеи социализма, нового человека и рациональной организации жизни приравниваются к бесовству и перверсии: «Бес живет в пустоте и соблазняет человека начать жить по-новому, совсем по-новому, так, чтоб всем жилось хорошо /.../. Прасковья Васильевна пошла к этим людям не потому, что правда хотела добра им, а просто она была одинокой женщиной. /.../ У тех как-то все было легко. /.../ Невероятные усилия делала, чтобы обыкновенное чувство матери сделать не обыкновенным, а как у тех (те жили любовью Лесбоса): социализм нужно начинать со своих /.../. Над кроватью висят таблицы нового воспитания, а в кровати дети онанизмом занимаются».

Народнические и народные корни большевизма будут долго оставаться проблемой для историков, но Пришвин знает: «все это наше, и большевики с коммуной, все наше». В его дневниках крестьянин рассуждает: «Коммуна, — я так понимаю, — это /.../ чтобы все в стены, в чан и там все вместе не выходило до срока /.../, когда все понимать будут /.../ одинаково, /.../ тогда власть будет не нужна»¹¹³. «Против идей коммуны мы ничего не имеем», — говорили Пришвину «в народе и в интеллигенции», и он записывал с огорчением: «Они бы и Христу предложили быть комиссаром в своей государственной секте»¹¹⁴. У этого сентиментального путешественника всякое умиление по отношению к народу прошло намного раньше, чем у его коллег, городских поэтов-символистов. «Как легко простой народ расстается с религией», — удивляется он в январе 1915-го¹¹⁵. В апреле 1918 года он с горечью размышляет над «одним из великих предрассудков славянофилов»: они восхищались крестьянским трудом русского мужика, тогда как «нет в мире народа менее земледель-

ческого, чем народ русский, нет в мире более варварского обращения с животными, с орудиями, с землей, чем у нас» (8/109).

Итак, Пришвин находит в истории хлыстовской секты «не что иное, как выражение скрытой мистической сущности марксизма». Аналогия между хлыстовством и большевизмом оказывается центральной темой размышлений Пришвина в годы революции. Это не только поэтическая метафора, но продуманная историософская парадигма. Большевистский проект так же радикален, как хлыстовский; оба они направлены на уничтожение семьи, частной собственности и государства, — еще истории: «Семья дана природой, о ней все уже сказано и сосчитано в Библии. И вся разница нашего времени в одежде, облакающей ее. /.../ Есть такое чувство вечного, которое не мирится с его коренным нарушением, с коренной обидой в каком-то колене. И вот, если такая обида вышла и папаша лишился отца-матери, то начинается бунт против природы во имя самой природы, искони данной. Так возникают наши разные эсдеки, выступающие против существующего общества с именем общества вечно данного, в котором все люди равны, все дети одного отца. Для него существуют только прошлое и будущее, настоящее — предмет борьбы, преодоления»¹⁶. В мае 1915 года Пришвин сравнивает: «Легкобытов не дождался будущего и объявил «воскресение» — так и марксисты объявляют воскресение». В марте 1917-го Пришвин характеризует социал-демократов из Петросовета как «маленькую кучку полубразованных людей сектантского строя психики». Та же аналогия — в другом варианте, обновленном новым поворотом темы (ноябрь 1917-го): «Хлыстовство так же относится к православной церкви, как пораженчество к русскому государству. И хлыстовство приводит к Распутину, а пораженчество — к Троцкому»¹⁷.

В ноябре 1918 года литературный подтекст, лежащий под системой этих исторических метафор, подсказывает чудесную надежду. Легкобытов и большевики, как гетевский Мефистофель, творят зло, но именно этим делают добро: «В конце концов, конечно, большевики, творя зло, творят добро. Легкобытов, прежде чем достиг своей коммуны, мысленно разрушил государства всего мира, нынешние большевики только выполняют мысленную функцию того человека. Мережковскому Легкобытов казался демоническим существом — почему? Смотря на Легкобытова — видишь источник *воли* матроса». 30 ноября 1918 года Пришвин с иронией записывает: «Читал в народном университете лекцию о народной вере, мало кто это понял»; читал же он о том, что «Распутин был орудием мести протопопа Аввакума царю Алексею и сыну его Петру, был Распутин царем»; нетрудно предположить, что в восприятии Пришвина те, кто в 1917-м сменил Распутина у верховной власти, продолжали страшную месть, вновь воплотив в себе неумирающую душу Аввакума. В декабре 1918 года историософское обобщение готово: «Нужно собрать черты большевизма как религиозного сектанства /.../, идея коммунизма ощущается сектантством как всемирная, всеобъемлющая»¹⁸.

Разочарование в возможности такого союза нарастает. Архив Пришвина доносит интересную характеристику человека, воплощавшего в себе сектантскую утопию русского социализма — народника-сектоведа в прошлом и большевика-аппаратчика в настоящем, личного друга Легкобытова и Ленина: «Этот тупоумный Бонч-Бруевич, раб народа, заваленный материалами о народе, которые собирал всю жизнь и теперь не может ни издать их, ни обработать»¹⁹. Пришвин вполне мог бы отнести это и к собственным недавним еще увлечениям.

Советская идеология, одним из соавторов которой был Бонч-Бруевич, начиная с возврата правительства в Москву и кончая культом Ленина, и была попыткой соединить народную веру и утопическую государственность. Об этом гадали с куда меньшим знанием деталей и действующих лиц и другие наблюдатели. «Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его», — писал Георгий Федотов²⁰. Странные знакомства и не менее странные метафоры Пришвина 1900-х и 1910-х годов как раз и были направлены на понимание этих «знамений времени». В декабре 1919 года он записывал: «Государственная коммуна в государстве, где народ считает издавна власть государства делом антихриста. Между тем религиозная коммуна считается в обществе высшим идеалом. Я хотел показать, как этот советский бык Бонч пытается перекинуть мост через бездонную пропасть этих двух коммун»²¹. По причинам, о которых нетрудно догадаться, это пришевское исследование идей и целей Бонч-Бруевича до нас не дошло.

В послереволюционных разочарованиях Пришвин возвращался к давним идеям Гиппиус, с которыми он, защищая свой «природный оптимизм»²², спорил все предыдущие годы. В 1909 году, в пору восторженного знакомства Пришвина с заволжскими и питерскими сектантами, Гиппиус поставила им свой диагноз: «обратное христианство». Для историка важнее, что она уже тогда разглядела внутреннее родство между Щетинным и Луначарским, хлыстами — и большевиками: «они все „вожаки“ одного и того же движения. /.../ Соединятся ученики их или ученики уче-

ников их /.../. Понятия у них одни и те же, одни и те же стремления /.../ и та же религиозная, вполне религиозная, концепция мира». Из такого понимания событий, знакомств и книжек следовал очень долгосрочный прогноз:

«О, конечно, все еще смешано, ничего еще почти не обозначилось, и всегда немного стыдно говорить, даже в самых общих чертах, о будущем. Но в делах «веры» нельзя без этого обойтись, что нам доказывают представители новой религии — обратного христианства — постоянно и обильно говорящие именно о будущем, о своем будущем.

И все верующие непременно верят в полную победу своего Бога. /.../ С нами Бог, сделавшийся Человеком, — с ними Человек, которого они сделают богом. Ну, что ж, пусть встретятся»¹²³.

От автора. Я благодарен Л. А. Рязановой и Я. З. Гришиной за предоставленную возможность работы с архивом В. Д. Пришвиной. Этот архив хранит записки и наброски М. М. Пришвина разных лет, частично опубликованные ранее в его Собрании сочинений (1982—1986) и некоторых других работах, цитируемых ниже. В интересующей меня области записки Пришвина подверглись сокращениям цензурного характера. До некоторой степени они восстановлены в недавно изданных под редакцией Л. А. Рязановой и Я. З. Гришиной «Дневниках» Пришвина; однако часть этих записей осталась неопубликованной в силу того, что не имеет дневникового характера либо предшествует хронологическим рамкам новой публикации «Дневников».

Поток материалов из архива Пришвина обесценивает довольно объемную литературу о нем советского периода; сохраняет свое значение лишь книга В. Д. Пришвиной «Путь к слову». Современную попытку монографического исследования см.: К. Янович-Страда. Михаил Пришвин. В кн.: История русской литературы. Серебряный век. М., «Прогресс-Литера», 1995, сс. 311—319. Необычный характер настоящей работы, в которой архивная публикация соединена с историко-биографической интерпретацией, определен отрывочным характером материалов, затрудняющим их публикацию в виде цельного корпуса текстов. Остается надеяться, что своеобразие моего подхода отражает сложность авторской позиции Пришвина как свидетеля эпохи, ее историка и философа.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архив В. Д. Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 11.
2. См., например: В. Г. Базанов. Русские революционные демократы и народознание. Л., Советский писатель, 1974.
3. М. М. Пришвин. Дневники. 1914—1917. Подготовка текста Л. А. Рязановой и Я. З. Гришиной. М., Московский рабочий, 1991, с. 177.
4. К. Н. Давыдов. Мои воспоминания о М. М. Пришвине. М., Советский писатель, 1991, с. 43.
5. А. Блок. Собрание сочинений в 8 томах. М. — Л., 1961, т. 5, с. 651.
6. Давыдов. Мои воспоминания о М. М. Пришвине. Сс. 42, 44.
7. М. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. М., Художественная литература, 1982—1986, т. 8, с. 34. Далее ссылки на это Собрание сочинений Пришвина следуют в тексте с указанием тома и страницы в круглых скобках.
8. О ранней истории восприятия этих идей в России см.: Ю. М. Лотман. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века. В его кн.: Избранные статьи, т. 2. Таллинн, «Александра», 1992, сс. 40—99; о более поздних дискуссиях см.: А. Эткинд. Культура против природы: психология русского модерна. «Октябрь», 1993, № 7, сс. 168—192.
9. Письма Александра Блока к родным. Л., Academia, т. 1, 1927, с. 228.
10. Блок. Собрание сочинений. Т. 6, с. 103.
11. Вяч. Иванов, Мих. Гершензон. Переписка из двух углов. В кн.: Вяч. Иванов. Родное и вселенское. М., «Республика», 1994, сс. 130—131, 133.
12. М. Кузмин. Условности. Петроград, «Полярная звезда», 1923, с. 156.
13. Это место особенно нравилось З. Н. Гиппиус; см. дневник Пришвина от 21 октября 1908 года (8/37).
14. Цит. по: В. Д. Пришвина. Путь к слову. М., Молодая гвардия, 1984, с. 103.
15. Блок в дневнике Пришвина и найденное письмо Блока Пришвину. Публикация В. В. Круглеевской и Л. А. Рязановой. Литературное наследство, т. 92, кн. 4, с. 329.
16. Там же, с. 331.
17. М. Пришвин. Записки о творчестве. «Контекст — 1974». М., Наука, 1975, с. 319.
18. Пришвина. Путь к слову. С. 7.

19. Там же, с. 68.
20. Г. П. Федотов. Русский человек. В его кн.: Новый град. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952, с. 87.
21. М. Пришвин. Большевик из «Балаганчика» (ответ Александру Блоку). «Воля страны», 3/16 февраля 1928 г.
22. А. Эткинд. Русская мистика в прозе Александра Блока. *Studia Slavica Finlandesica*, 1994, 11, сс. 22—76; А. Эткинд. Революция как кастрация: психология пола и политика тела в поздней прозе Блока. «Октябрь», 1994, № 8, сс. 162—188.
23. Пришвина. Путь к слову. С. 165.
24. Пришвин. Записки о творчестве. С. 319.
25. Архив Пришвиной. Картон «Письма Пришвина А. И. Рязановскому». Письмо от 18 мая 1908 г.
26. Там же.
27. З. Гиппиус. Светлое озеро (дневник). В ее кн.: Алый меч. Санкт-Петербург, изд. М. В. Пирожкова, 1907, с. 380.
28. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 23—24.
29. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 54.
30. Архив Пришвиной. Письмо Рязановскому от 11 октября 1908 г.
31. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 30.
32. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 41; ср. слова Мережковского: «В широких слоях общества думают, что мужичкий антихрист что-то вроде черта... Ничего подобного... Это настоящий христианский антихрист» (8/35).
33. Об этом миллионере-старообрядце написал очерк Горький: см.: М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 15. М., 1951, сс. 208—240.
34. Блок в дневнике Пришвина..., с. 329.
35. Иоанниты — петербургская секта, объявившая о. Иоанна богом: впрочем, о духовной близости кронштадтского священника к хлыстам писали и Бердяев, и Романов.
36. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 65, 121.
37. Ср. набросок повествования о Легкобытове в дневнике 1915 года, где Пришвин, слегка меняя биографические детали, собирается рассказать об уходе Легкобытова от его благополучной чиновничьей жизни и о его странствии со Щетининым. М. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 170.
38. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 71—72, 87.
39. В. Розанов. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). Петербург, 1914, с. 89.
40. Блок в дневнике Пришвина..., с. 330.
41. М. М. Пришвин. Мы с тобой. «Дружба народов», 1990, № 9, с. 253.
42. Лев Пуцин (З. Гиппиус). Литературный дневник. III. Обратная религия. «Русская мысль», 1909, 2, с. 174.
43. З. Гиппиус. Маленький Анин домик. В ее кн.: Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, «Мерани», 1991, т. 2, с. 62.
44. З. Гиппиус. Петербургские дневники. В ее кн.: Живые лица, т. 1, с. 257.
45. Лев Пуцин (З. Гиппиус). Литературный дневник. С. 174.
46. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 64, 272.
47. Лев Пуцин (З. Гиппиус). Литературный дневник. С. 174.
48. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 118.
49. Вяч. Иванов. Русская идея. В его кн.: Родное и вселенское, с. 369.
50. Пришвина. Путь к слову. С. 164.
51. И. Г. Айвазов. Христовщина. Т. 1, с. 80.
52. А. Ф. Писемский. Собрание сочинений в 9 томах. М., Правда, 1959, т. 8, с. 85.
53. Пришвин. Дневники. 1914—1917, сс. 54, 12.
54. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 40, 7.
55. Блок в дневнике Пришвина..., с. 329.
56. Александр Блок. Исследования и материалы. Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 340.
57. Блок. Письма к родным. Т. 1, с. 236.
58. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 7, 72, 82.
59. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 52.
60. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», с. 2.
61. Пришвин. Мы с тобой. С. 250.
62. М. Пришвин. Дневники. 1918—1919. М., Московский рабочий, 1994, с. 26.
63. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 3.
64. Пришвина. Путь к слову. С. 188.
65. Пришвин. Дневники. 1918—1919, сс. 26—27.
66. Блок. Собрание сочинений. Т. 7, с. 281; в примечании Вл. Орлова указывается, что Гришка — это Распутин (с. 501).
67. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 267.
68. Пришвин. Большевик из «Балаганчика». С. 1.
69. Пришвина. Путь к слову. С. 188.
70. Пришвин. Большевик из «Балаганчика». С. 331.
71. О раскольничьей или хлыстовской природе Иисуса из «Двенадцати» писали П. Флоренский, С. Соловьев, Ф. Степун. Из новых работ см.: К. М. Азадовский. Письма Н. А. Клюева к Блоку. Вступительная статья. Литературное наследство. Т. 92, кн. 4. М., Наука, 1987, с. 452.

72. Записи Блока см.: А. Блок. Записные книжки. М. Художественная литература, 1975, сс. 382—388; письмо Блока Пришвину опубликовано В. Д. Пришвиной в: Литературное наследство. Т. 92, кн. 4, сс. 327—328.
73. См.: Эткинд. Революция как кастрация: психология пола и политика тела в поздней прозе Блока.
74. Пришвина. Путь к слову. С. 183; см. также комментарии к: Пришвин. Дневники. 1918—1919, с. 347.
75. Пришвин. Дневники. 1918—1919, сс. 333, 326—327.
76. Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества, т. 7. Чемреки. Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича. Санкт-Петербург, 1916.
77. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», с. 7.
78. См.: Материалы к истории русского сектантства...
79. Пришвин. Дневники. 1914—1917, сс. 28—29, 30, 57.
80. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 14.
81. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 166.
82. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 3.
83. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», сс. 3—4.
84. Там же, с. 10.
85. Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке. Публикация Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова. «Блоковский сборник-1». Труды научной конференции. Тартуский государственный университет, 1964, с. 376.
86. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», с. 3.
87. План помечен «1907—1908», но относится это не к дате составления плана, а ко времени событий, о которых идет речь.
88. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», с. 3.
89. Воспоминания и записи Евгения Иванова, с. 393.
90. Письма Александра Блока к Е. П. Иванову. М. — Л., 1936, с. 109; более полный вариант опубликован в: Л. А. Стоюнина. «Так жили поэты...». Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л., изд-во ЛГУ, 1989, сс. 176—180.
91. Стоюнина. «Так жили поэты...», с. 179.
92. Воспоминания и записи Евгения Иванова, с. 393.
93. Стоюнина. «Так жили поэты...», с. 179.
94. Воспоминания и записи Евгения Иванова, с. 393.
95. А. Блок и А. Белый. Переписка. «Летописи Государственного литературного музея», кн. 7. М., 1940, с. 132.
96. Письма Александра Блока к Е. П. Иванову. С. 35.
97. Horst Lampl. Zinaida Hippus an S. P. Remizova-Dovdello. Wiener Slawistischer Almanach, b. 1, 1978, p. 164.
98. Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. Публикация И. Р. Даниловой и А. А. Данилевского. «Русская литература», 1992, № 2, с. 144.
- 98а. А. Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 176; см. также комментарии А. В. Лаврова на с. 499.
99. З. Н. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 145.
100. Архив Пришвиной. Картон «Черновики к "Началу века"», сс. 6, 7, 9, 13.
101. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 11.
102. Пришвин. Дневники. 1918—1919, сс. 26—27.
103. Гиппиус. Петербургские дневники, с. 272.
104. См. В. Бонч-Бруевич. Вступительная статья. Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества.
105. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 120.
106. Пришвин. Дневники. 1918—1919, с. 27.
107. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 49.
108. Пришвин. Дневники. 1918—1919, сс. 165, 197.
109. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 83.
110. Пришвин. Большевик из «Балаганчика».
111. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 179.
112. Пришвин. Дневники. 1918—1919, с. 179.
113. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 137—138, 291, 195.
114. Пришвин. Дневники. 1918—1919, с. 333.
115. Пришвин. Дневники. 1914—1917, с. 124.
116. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», сс. 13, 37.
117. Пришвин. Дневники. 1914—1917, сс. 170, 255, 384.
118. Пришвин. Дневники. 1918—1919, сс. 188, 333, 192.
119. Архив Пришвиной. Картон «Богоискатели», с. 118.
120. Федотов. Русский человек, с. 87.
121. Пришвин. Дневники. 1918—1919, с. 333.
122. Блок в дневнике Пришвина..., с. 331.
123. Лев Пуцин (З. Гиппиус). Литературный дневник. С. 175.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

Бесконечная цитата

Бывают фильмы и бывают книги о кино. Однако так ли надо о нем писать? Да и что делать с главным противоречием: слово не воспроизводит движущуюся картинку? Согласен. А почему бы не попытаться пересказать кино, как в детстве пересказывали ребятам во дворе? И еще добавляли от себя, придумывали с три короба.

Мы выросли. Это значит лишь — некоторые вещи и явления мы имеем право называть иными именами. Прерывистость мысли и определенную нелогичность при добром желании легко посчитать особого рода монтажом.

Притом сразу надо принести извинения. Например, извиниться за обилие цитат, которые порою и слишком длинны. Но, мне кажется, кино более всего есть повторение — цитата, трактуемая на разные лады, — оно умножается само собой. Бестелесная оболочка укрепляется, становится понятием, становится положением, становится сюжетным ходом, предметом в конце концов, хотя предметом странным, меняющим функции и очертания. Впрочем, и литературная цитата от бесконечно-го цитирования тоже меняет и букву, и смысл.

Пусть кино — единственно пространство, зато пространство, где значения, предметы и эмоции словно принимают магические функции, теряя привычные (вспомните хотя бы «эффект Кулешова»: одно и то же лицо, склонившееся над тарелкой супа и над гробом ребенка). Так в сказке полотенцем не вытирают лицо, а бросают его — и перед погоней возникает река, так торт в кино — не еда, а своего рода препятствие, им кидают в лицо преследователя. Смыслы искажаются, вырастают новые. Было бы любопытно, хотя в принципе и невозможно составить предметный каталог кинематографа: деревья-катапульты у Бастера Китона, статую Девы в качестве спасательного средства (римейк фильма «Мы не ангелы»).

И следует помнить важное свойство. Тут все замкнуто и соотносено настолько, что саморефлексией становится любое движение. И потому, пусть ни покажется странным, «Айболит-66» соотносится не только со временем, в котором сделан. В кинематографическом пространстве он сопоставляется с любым произведением. Сказка Р. Быкова переключается, к примеру, с фильмом «Ленин в 1918 году». Похожесть прокатных названий лишь подчеркивает действие закона. И это не парадокс. Что же до авторского намерения, оно дело десятое.

Итак, кино — замкнутое целое, именно замкнутое, именно целое, хотя в нем ничего и нет. Или по крайней мере нет, когда хочешь проверить наличие, ведь нельзя потрогать рукой ни луч света, ни тень. Ощущаешь тепло солнца, чувствуешь под пальцами шершавость стены, грубость натянутого полотна. Можно коснуться экрана, однако сколько ни старайся, до кино не дотронешься. Хотя все здесь по-своему ощутимо и связано со всем. Так до бесконечности. Бесконечность и повторяемость — суть кино. Но о том говорилось.

Если же некоторые пассажи будут казаться неоправданными длиннотами, стоит ли обижаться либо негодовать? Пусть называются отступлениями, а уж оставить их в тексте или вывести в примечания — дело вкуса. Условия диктуют собственное произволение да непреложный печатный объем. Болтливость и усталость — вот два ограничителя мудрости.

Это заложено в духе кино. Самоповторение, разработка пустоты в вещь, сгущение пустоты и опять истребление, истощение полученной вещи в пыль, в ничто, возвращение ее в пустоту путем повтора. Сначала художественный прием, затем штамп, затем пародия. Потом наступает небытие. И все начинается снова.

*О начале русской кинематографии, о смертельных сражениях жуков
и о том, что остановка в кино — не техническая накладка,
а смерть кинематографа*

МИГАЮЩИЙ СИНЕМА. Ранние годы русской кинематографии. Воспоминания, документы, статьи. «Родина», «Титул», Дом Ханжонкова, 1995.

Русская кинематография начиналась прекрасно. Хотя, как всегда, в кино присутствовали анекдотичность, нелепость, коммерческий расчет и железная хватка. Широта, рисковость и то, чего нет у других, — некое русское «авось», которое могло породить не переводимое на прочие языки понятие «воля».

Что еще? А еще выдумка, фантазия, нахрап. При съемке картины о войне 1812 года, чтобы волки раздирали тела раненых и мертвых солдат, манекенам под мундир вкладывали куски свежего мяса. Кадры получились очень эффектными.

Война студий и неизбежная гонка, желание перещегоолять: если кто-то снимал, скажем, «Войну и мир» за десять дней, другие снимали картину на ту же тему за неделю. Узнав о том, что на противной студии делают фильм под таким-то названием и на такой-то сюжет, опережая противников, срочно делали картину под таким же названием, с таким же сюжетом. Разумеется, продукция соперников моментально устаревала, не находила сбыта. Самый знаменитый случай из истории «срывов»: за-памятовал, уж кто, подпоив сторожа, ночью снял фильм в чужих готовых декорациях на студии конкурентов.

Кроме подобного рода курьезов, спешки и борьбы, было и кино. Работали высококлассные режиссеры-профессионалы — Яков Протазанов, Петр Чардынин. Блистали звезды — красавец Витольд Полонский, божественная Наталья Кованько и мистический Александр Вертинский, предсказавший, будто вызвавший смерть Веры Холодной романсом, ей посвященным:

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.

Были поразительные удачи и грандиозные провалы. Сейчас рассказ не о них, ибо в противном случае разговор никогда не закончится. Рассказ об одном-единственном человеке, кинорежиссере Владиславе Старевиче, фигуре и в те времена первостепенной. Он эмигрировал, и у нас его подзабыли, теперь заново начинают открывать.

Старевич неистощим, парадоксален, на долю его фильмов достался феноменальный успех, достаточно напомнить, что американцы из русской кинопродукции покупали почти исключительно ленты Старевича.

Но, может, главным из произведенных им фильмов, выдуманных и блистательно снятых трюков в перспективе времени кажется то, что он, чисто кинематографический человек, знавший досконально среду (вспомним его мультфильм о жуке-кинооператоре и киношных нравах) и понимавший законы кино, выдумал метафору и поставил кинематографическую шутку, предвосхитившую многое в кинематографе.

В мультфильме «Прекрасная Люканида» он рассказал историю о жизни жуков-рогачей и жуков-усачей. Тут и война, и поэтический роман. Нечто подобное спустя годы возникнет в стихах Николая Олейникова о жуках, мухах, тараканах или о блохе мадам Петровой, переживающей взлет и падение, вызванные любовью.

Она юбки надевала
Из тончайшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке:
И про ножки, и про ручки,
И про всякие там штучки
Насчет похоти и брака...¹

В результате феноменальный успех. Режиссера расспрашивали, как он умудрился выдрессировать столь необычных актеров, тот поднимал руки, закатывал глаза. Всячески разыгрывал. В действительности Старевич работал с мертвыми жуками, он размещал их на пластилиновом поле, а чтобы придать определенное положение, прикреплял к лапкам воском проволоочки. Жуки действовали, выразительно играли.

¹ Не исключено, что ленты Старевича о насекомых как-то повлияли на творчество Олейникова. Тут требуется отдельное исследование. По крайней мере сопоставление правомерно, даже если Олейников фильмов Старевича не видел.

Родилась бессмертная метафора Старевича. Что есть актер? Живой материал? Автомат? Марионетка? Натурщик? Кукла для манипуляций? — вот как прочитывается «Прекрасная Люканида» во временной перспективе. К тому же здесь присутствует творимая реальность в том смысле, в каком интересовался ею Лев Кулешов².

Фильмы Старевича трудно перечислить, разные, сделанные в различной технике, с поразительной выдумкой, умно, убедительно. Он бы и без того остался в истории культуры навсегда.

Но режиссер решил пошутить, и разыгранная им шутка тоже превратилась в символ. История подробно описана в мемуарах А. Ханжонкова, на нее следует обратить особое внимание. Происходило дело под Новый год, собрались сотрудники студии и их близкие. Им показывали фрагменты картин, находящихся в производстве. Предложил показать свою ленту и Старевич: «Картина началась кадрами традиционного рождественского деда. Дед Мороз на экране вдруг замер. Проекционный аппарат привычно потрескивал, но поза Деда Мороза не менялась. Это вызвало у зрителей подозрение, что пленка остановилась под горячим лучом дуговой лампы. Искушенные в киноделе зрители знали, что так обычно начинаются пожары.

Зрители тревожно, как по команде, привстали на своих местах и ждали, оживет ли кадр. И вдруг в центре экрана появилось зловещее темнеющее пятно, быстро воспламенившееся и покрывшее экран огненными языками. Паника охватила присутствующих. Одни бросились, опрокидывая стулья, к выходу, другие устремились к проекционной будке. Неожиданно дверь кинобудки открылась, и вместо ожидаемых облаков дыма и пламени показалось бледное лицо нашего опытного кинемеханика. Потрясая руками, он кричал: «Ну и жулик же ваш Старевич!..»

Хохоту и шуткам не было конца... Потом оказалось, что все эти «пожарные» эффекты были нарисованы, а частью выцарапаны и раскрашены на самой пленке».

Забавная проделка, в ней заложен глубокий смысл. Режиссер спародировал балаган, даже имитировал пожар в дешевой киношке. Зачем? Не только ради смеха. А ради того, чтобы показать: остановка ленты, потеря движения — катастрофа для кинематографа, его смерть. Великий символ, который стоит затвердить наизусть. Помнить, даже полубуднично о самом Старевиче, даже ничего не ведая о нем. И откуда нам что-либо знать о режиссере, десятки лет назад умершем во Франции? Лишь из скурых строчек энциклопедии, короткого очерка в книге о раннем русском кинематографе да из упоминаний в специальных журналах, минующих руки непрофессионалов.

Шло время. Отшумела революция. А выдумки старого режиссера живы. Как не вспомнить о человечках-жуках, думая о нашем веке? Метафора жива, потому что в ней равно существуют ирония и трагизм, два качества, присущие жизни.

В память о русском мультипликаторе перечитаем стихотворение того же Николая Олейникова «Из жизни насекомых», написанное в 1934 году.

В чертогах смородины красной
Живут сто семнадцать жуков,
Зеленый кузнечик прекрасный,
Четыре блохи и пятнадцать сверчков.
Каким они воздухом дышат!
Как сытно и чисто едят!
Как пышно над ними колыхнет
Смородина свой виноград!

Могут возразить: идиллическая картинка не соответствует действительности. Аресты, лагерь, невыносимые условия существования. И тем не менее тот, кто приезжал, например, в Большевикскую колонию для малолетних преступников, видел образцово-показательные бараки, а потом искренно делился впечатлениями с высокой трибуны. Знаменитый писательский пароход по мере его продвижения встречали шикарные клумбы, разбитые по берегам Беломорканала. Так где здесь ирония и где подштукатуренная, однако, действительность?

Жизнь тянулась за искусством, а то шагало впереди жизни, тащило ее за собой. Необыкновенной красоты дома, на самом деле — декорации, построенные со всем тщанием архитектором А. К. Буровым к эйзенштейновскому фильму «Старое и новое», неудачи и достижения крестьянской артели, счастье, наступающее в конце фильма, снова заставят вспомнить и о людях-насекомых, и о том, хорошо ли им живется под замечательной красоты кустом, чаяние ли это, ирония или ложь. Все постигается в сравнении.

² Не тут ли истоки кинематографа Тарковского, кинематографа, где совершается постепенный уход от актерской игры, который приходит к конструированию уже не кинематографического, а живописного, неподвижного изображения, кончается неподвижностью рублевской иконы, данной во весь экран? Поэтику Тарковского можно рассматривать как конечный пункт пути, начатого фильмом о жуках.

О честности и справедливости, о точности мемуаров, о сомнительных комплиментах и о самообольщениях, а также о маленькой мании величия

Евгений ГАБРИЛОВИЧ. ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА. М., «Локид», 1996.

Воспользуемся законом контраста, чтобы взглянуть пристальней, пристрастность тут ни при чем. Так начинался век, а сейчас он заканчивается. И следует сравнить конец с началом. Тем более есть возможность: вот она, книга, написана о том, как человек прожил век, прожил почти до доньшка.

И простой ли человек? Если воспользоваться его собственным подразделением: кто-то воспевал действительность, кто-то ее порицал. А существовал еще слой: «К нему принадлежал и я. Свой, но не в доску»³. И все же. Пусть, по его мнению, что-то недодали, но он написал десятки сценариев, был не слишком обласкан, однако награжден премией, которую в свое время величали Государственной, хотя раньше она носила куда более громкое название. Что еще? Плавание на пароходе со знаменитой писательской бригадой по Беломорканалу и участие в монографии, которую теперь не разыскать у букинистов. Еще? «Я видел полеты Чкалова и допросы советской контрразведки, знал крупнейших людей, чьи имена заросли». Знал и тех, чьи имена остались,— Гроссмана, Раневскую, Мейерхольда, Пырьева и Рину Зеленую.

Этот человек не благодарен большевикам и не честит их почем зря, ему мешали писать, ему дали выжить и даже что-то рассказать о времени. И многое из сказанного им напослех верно. Верно, что следует пересмотреть наново советскую литературу, наново перечитать и книги, снесенные на книжный развал, и аккуратно пристроившиеся на полках шкафов. Верно и то, что не всяк хорош, кто уехал, а после вернулся с триумфом.

В общем, открывается жизнь причудливая, половинная: «Меня уважали.

Потом внезапно остереглись печатать. Потому (так я понял), что прежде излишне славил социализм: чтобы сегодня остаться в справочниках, надо было, оказывается, славить его с икотой. С подстрочным подтруниванием, недоступным дряхлеющей цензуре».

Есть о чем подумать. Да беда. Не старости, памяти присуще свойство: она лишь на первый взгляд объективна. Она и постаралась бы вспомнить, как происходило в жизни, да жизнь ушла, а память осталась, и что-то перезабывает, а нечто утратив, с чисто кинематографической одержимостью занимается перемонтажом, перестановкой фрагментов, соединением равнодалекого. Она переделывает прошлое, считая: так и вправду происходило. А в иных случаях, искренне уверенная, что происходило иначе, старается, чтобы выглядело поприглядней.

Человека можно понять. Он подводит итоги. Он перебирает неделанное, неразрешенное, а каким-то образом чуть осуществившееся в мире. И тут он прав. Задача автора, самого плохого, самого третьестепенного,— создавать то, чего не существовало, наполнять пространство никогда не бывшим. Врут болтающие о реализме. Кому нужен второй мир, точно такой же, как первый? Ад не раскаленные сковородки, не разнообразие страшных труднопроизносимых, хоть переносимых, мук (ведь в аду не гибнут, а мучаются без конца и края). Ад прячется в гладкости зеркала, в отражении, подхваченном весенней лужей, в точной мерке, снятой портным (по крайности тут содержится зерно, откуда вдруг вырастает адское пламя), ад — двойники на армейских плакатах, люди, изображенные с необычайной точностью, похожие друг на друга.

Но, перечисляя адские ужасы, просто увлечься. Тем более старик, сидящий за столом и перебирающий извлеченные из дряхлых папок остатки бумажных листов, где запечатлены разговоры, либретто, синопсисы сценариев, коли и пытался создавать подобия, чертовские копии,— мало преуспел. Потому и осталось это лежать в затертых папках, тут не свидетельства эпохи, не слепки, не точные портреты (а их так любит эпоха, даже если и губит потом творцов). Страх перед карой, перед смертью лишь из ряда причин, почему папки сохранили листки, в которых никому нет нужды.

Автор же заблуждается. Он создал то, что никогда не имело места, то, что почти лишено соприкосновения с жизнью, а потому вызывает естественное любопытство. Но авторские амбиции, но желание славы... Выкладывая на стол залежавшееся в письменном столе — не по причине низкого качества, нет, просто так не положено было сочинять,— автор старается утвердиться. Пусть я плох или не слишком хорош. Я по отдельности. Я был такой, как все, со всеми, но я прожил человеком: «Бывало, я шел против совести, однако — так думается — не сильнее других. И помалкивал не крупней. Ни с кем из могучих не пировал и не парился в бане. И даже не был знаком.

³ Странная формулировка «свой, но не в доску» для создателя образа Ленина и Коммуниста, произнесенная почти перед смертью, логична, что станет понятно чуть дальше.

Конечно, я тоже обструган, но не обструганной прочих. В чем-то я все-таки остался самим собой, хотя меня долго вели под уздцы. Я прожил пристойно. Было ли это легко? Вспомним Время». Он говорит и добавляет замечательное, достойное высокой литературы выражение: «Я был **начальстволюбив**». Разве так оправдываются? Тем более позабывая парадокс: в отрыве от эпохи человек ничего не значит. Если же он принял вину времени, тут уж нет оправдания. Зато открыт путь к спасению...

И следует напомнить, как происходило на самом деле: ведь не один страх и не одно творческое бессилие давили человека. Почему случилось, что он осуществился, и осуществился столь необычно?

В силу обстоятельств у советского кино отсутствовала возможность обращаться к жизни: не воспевать эту замечательную жизнь, не хаять ее, а усваивать новый материал, столь нужный искусству. Но было даровано свыше особое право на саморефлексию. Десятки тем и менее десятка персонажей, а также два настоящих героя — вот с чем оставалось советское кино в те годы. И поначалу результат чисто кинематографического кружения в пустоте оказался отменным. Не об авангарде речь, а о массовом кино. Фигуры персонажей делались отчетливой, фигуры вождей — колоссальной.

Покажется странным, а факт неоднократно подтвержден — Сталин любил кино и по-своему в нем разбирался. Разумеется, он не был киноведом. Однако с амбициозностью и настойчивостью профессионала указывал, как развиваться кинематографу. Он определенно чувствовал присущий кино закон селекции и поставил селекцию на недостижимую высоту. Считал: лучше поменьше картин, зато повыше качеством (понимая качество сообразно своему разумению). И явление перешло в собственную противоположность. Повторяемость осталась, исчезла свободная мутация. Кино перемололо самое себя, в пыль извело и темы, и персонажей.

А теперь вернемся к нашему герою. Что делал сценарист? Он творил. В рамках возможного, в пределах доступного. Когда малокартинье кончилось, продолжал напряженно работать. Он сочинял разные сценарии, в том числе и о Ленине. Он выбрал тяжелый хлеб. Документы недостижимы. Скажешь лишнее — не поймут, недоскажешь — покажется, будто умалчиваешь... А цензура настороже. Переворачивает каждую точку, следит, не скрыто ли что под ней запретного.

Как же автор оценивает свои произведения в конце жизни? Говорит, что картинками о Ленине гордится. Почему? Можно отречься, покаяться. Нет, ситуация сложнее, чем на первый взгляд. Шла какая-то творческая встреча или диспут. Дежурные вопросы, проходные ответы. И вдруг скандал: «...как всегда, меня захлестнуло, я взлетел и, увлекшись, признал, что в работах над сценариями об Ильиче мне до тех пор не удавалось поймать магистральную нить, пока я не ухватил, что Ленин — это я. Что все, о чем думает он, — это я. Сомнения, надежды, уверенность, отчаяние — я. И как только я это внутренне осознал, работа пошла».

Рядом с таким ответом высказывание Флобера о мадам Бовари — дикий примитив. Да и что сравнивать литературу и кино! Лучше прочитаем, как оценивал своего героя Е. Габрилович уже не на аудиенции со зрителями, а наедине с самим собой. Оценивал и не побоялся записать: «Я думаю, что Ленин, в противовес легализованным суждениям, был весьма скрытным человеком. Он был **многим и всяким**, в зависимости от того, что требовалось по обстоятельствам и кем был его собеседник. И совсем не таким прямодушным, как живописуют мифы. Он был разнообразней, криволинейней да и хитрей того имиджа, который десятки лет пытались ввинтить нам в душу. Разномастным и кажущимся».

Впрочем, таков удел всякого, кого сохранила История — в позор или в похвалу.

Сколько людей настаивали на дружеской близости с ним, но не было никого, о ком можно сказать, что он был ему **сокровенно** близок. Вздохом и выдохом спянным с ним.

Вздорен и недоверчив. Порой высокомерен и всегда деспотичен. Очень самолюбив.

Однако высокая (но тайная) самооценка причудливо сплеталась в нем с традиционной для демократа **приравненностью** в соприкосновении с людьми.

Предвижу, какая брань обвалится на меня за это утверждение. Однако настаиваю на нем.

Не было у него друзей! Включая и Крупскую. Не отступлюсь от этого, как и от многого из того, о чем вслед за этим скажу.

Завещано полагать, что он был как бы елочным дедом — добрым, заботливым, мягким, неким партийным, душевным, святочным ведуном, озаренным любовью к несчастным, которыми (к бездонной скорби его) веками кишит земля. Таким, кому дороги былинка и клейкий весенний листок. Нет, он не был таким.

В нем, в его естестве — подоплека всего, что явил собой большевизм».

На том бы и закончить. Более эксцентрической самооценки я не знаю. И все же ради справедливости следует добавить то, что добавил сам Е. Габрилович: «Ле-

нин — русский интеллигент, пусть мегатонны брани и желчи истратил он, чтобы ошелмывать интеллигента».

Так человек говорит о себе, разглядывая прожитое, сравнивая дурное с добрым, прикидывая, что перевешивает на столь несовершенных весах, как память, подводя итог девяносточетырехлетней жизни⁴.

Об актерах и натурщиках, звездах и вечных данниках массовки, с присовокуплением нескольких любопытных примеров и разного рода анекдотов

ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА. М., «Терра», 1996.

Как в действительности выглядит кинозвезда? Взглянем пристальней на этого героя, пусть покуда и не станем называть имен. Юная девушка смотрит на него «и приходит в жестокое смущение, увидев в нем самого прекраснейшего из мужчин. Темно-русые кудри осеняли гордое чело его с тонкими бровями; густые согнутые ресницы доказывали, что они скрывают прекрасные глаза... Широкие плечи, высокая грудь, тонкая талия, рост более обыкновенного...», а если прибавить, что юноша еще и хорошо образован, наделен необычайной силой, мужеством и проворством...

Кто он? Возможно, молодой Марлон Брандо или Роберт де Ниро и уж никак не Фред Астер или Чарлз Бронсон. Что же до гениального Джина Хэкмена — он и вовсе ни при чем.

Впрочем, следует честно признать, актера, чей портрет дан с такой красочностью, нет в Голливуде. Он явился со страниц лубочной повести о битве русских с кабардинцами. То обстоятельство, что в повести есть многое, присущее появившемуся позднее кино, — и ремарки, схожие с титрами на экране, и захватывающее действие, и разнообразие характеров (кстати, повторяющихся из повести в повесть, столь похоже на кинематограф), к сожалению, ничего не меняет.

И заданный с улыбкой вопрос: «Кто это?», сменяется более трудным: что такое кинозвезда? Писанный лубочный красавец, прекрасная оболочка или талант, способный порой заменить и красоту, и ум, и напряженную духовную жизнь? Какими данными надо обладать, чтобы добиться всемирной славы и славу потом удержать?

Кумир женщин на протяжении тридцатилетия — и после смерти оставшийся таковым — Рудольф Валентино был бездарным актером, лишенным обаяния, да еще имел и противоестественные для мужчины наклонности. А своеобразно одаренный, мужественный Юл Бриннер изображал лишь самого себя, точнее, выбранный образ, следовал ему до конца.

Такое можно сказать чуть ли не про всех голливудских звезд, по крайней мере мужчин: есть крупный талант, внешность подкачала. Когда же наоборот, лучше не смотреть фильмы с их участием.

Была бы возможность, столько историй, почерпнутых из этой книги, можно порассказать, столько сплетен и полусплетен, кто с кем живет, сколько раз женат, чем занимается в свободное время. И добавить собственные фантазии, которые не имеют (а вдруг, очень опосредованно, все же имеют?) отношения к действительности. Ведь актеры и созданы для того, чтобы привлекать общественный интерес.

Но — вот загвоздка. Хорошие актеры обычно не выставляют личную жизнь напоказ. Кому какое дело, что Дирк Богарт пишет книги, а Энтони Хопкинс любит играть на фортепьяно, причем играет замечательно. Если же кто-то проявляет к их жизни излишний интерес, любопытного выставляют вон. Конечно, есть правила и есть исключения.

Язык не повернется назвать кинозвездой Мэла Брукса. Он слишком умен, умен и талантлив, к тому же досконально знает, и как делается кинокартина, и как создается кинозвезда. Он порождение кинематографа, воплощенная кинорефлексия, фильмы его пародийны. «Пылающие седла» — вестерн, «Молодой Франкенштейн» — фильм ужасов, «История мира. Часть 1» — костюмная постановка, «Космобольцы» — напоминание о космических войнах. А насмешливый фильм «Жизнь — дерьмо» передразнивает американскую мелодраму. И вот он, закон кино: уже и на картины Брукса появилось рефлексирующее «Молчание ветчины» (режиссер Э. Греджо) с Мэлом Бруксом или актером, удачно загримированным под него, в

⁴ Между тем сделанное не определяется количеством, оно определяется новизной. Пусть ново совсем малое, малое искушает и долгую творческую жизнь, и тяжкие страдания за письменным столом. «Коммунист в очень хорошей ленте Габриловича несчастен, даже одинок. Он один пилит дрова, и, кажется, даже двуручной пилой», — сказал доживший до девяносто трех лет Виктор Шкловский, человек, у которого были свои тяжбы со временем. Осознанная, нет ли, тут настоящая похвала. На такой образ можно смотреть по-разному. Можно расценивать его, как превосходный гэг, вроде двустволки, стреляющей в противоположные стороны широко разведенными стволами, или часов, при входе бандитов с оружием поднимающих вверх стрелки, словно руки. А можно увидеть здесь выразительную метафору. Я отнюдь не шучу.

эпизоде. Круг замыкается. Пародия в кино подчеркивает: тема исчерпана, начинается распад приемов, ситуаций, понятий.

Нет, так мы не разберемся. Да и талант, много ли он значит? В умелых руках режиссера и посредственного актер исполнит свою роль. Значит, что же, возвращение к натурщикам, к типажам, к тому, с чего начинало кино?⁵

А борьба между типажностью и «звездностью», несомненно, существует. И тут следует вспомнить старый анекдот, почерпнутый из действительности. Муки «звездной болезни» в полной мере испытывал подобранный по типажной похожести Никандров, исполнявший в давних фильмах роль Ленина. Как следствие — недуг множества настоящих кинозвезд, глубокие и отвратительные запои. Амбиции и рожденные ими поступки, совершаемые этой звездой ли, типажом, соответствующие. Оператор Э. Тиссе сообщает С. Эйзенштейну в частном письме: «Никандров бродит ежедневно к прокурору с требованием: чтобы ему платили денежки с момента фотопробной съемки, то есть с декабря прошлого года. [...] Потом дальше: свой ленинский костюм ни под каким видом не дает — говорит, что он — Ленин и костюм принадлежит ему».

Меры воздействия не помогли, запой продолжался. И в очередном письме режиссеру сообщает: «Никандров устроил Грише истерику. Плача у Гриши в номере, катался по полу, ссылаясь на то, что его все бросили [...] и что теперь он уже окончательно погиб, что благодаря нашему халатному к нему отношению Россия в его лице потеряет своего Ленина и что ему придется тоже уйти в Мавзолей. [...] После этой истории я выхожу в коридор и вижу: Никандров всю ухаживает за прислугой — вот мерзавец! Как вам это нравится?»

Столь же определенно, что вокруг настоящей кинозвезды возникает специфическая трудно анализируемая атмосфера. О том, как переменчиво понятие «звезда», как легко оно раздувается, стоит подумать.

Когда знаменитый киноактер Роско Арбэкл попал в двусмысленное положение — на его глазах, а может, и при участии, по крайней мере на организованной им вечеринке произошло изнасилование, никакой статус кинозвезды не спас, не помогли судебные доказательства невинности. Публика перестала ходить на его filmy, слава пошла на убыль.

В другом случае иначе. Уйдя из кино, знаменитый Кэри Грант остался кинозвездой. Работая в косметической фирме, он изображал никого иного — только себя. И дамы, дамы, которых трудно чем-то удивить и уж тем более взволновать, таили от встречи со своим кумиром.

Так где же проходит грань между посредственным актером и актером настоящим, между прямой и вечно находящимся на вторых ролях актером, какового узнают на экране в лицо, но никак не могут запомнить фамилию? В чем, наконец, разница между «звездой» и обыкновенным натурщиком: ведь завтра понадобится чуть-чуть обновить экран, и вместо Ван Дамма появятся сотни молодых людей с еще более развитой мускулатурой и замечательной растяжкой, позволяющей сесть на шпагат?

Вопрос, кажется, останется вопросом. Верно, однозначного решения не существует. Кто знает определенно, что такое «кинозвезда»? Кто ведает, как правильно жить на свете? А если прав насмешливый Хичкок, актеров презиравший и принимавший их как неизбежное зло? Впрочем, его поддерживало чувство юмора. Он смотрел на мир иронически и потому видел куда больше, чем видят обычные люди. Он видел событие то в ужасном, чудовищном приближении, то из далекого далека, будто вертел бинокль. Ирония и есть переворачивание воображаемого бинокля, игра линзами и совмещение разных точек зрения. Человеческая память не освободилась от предыдущей картинки, а ей предлагают новую. Рождаются головокружения.

Головокружение вроде того, которое испытывает Кэри Грант, когда в фильме «К северу через северо-запад» ползает, словно букашка, по высеченным в отвесном склоне горы Рэшмор в Северной Дакоте головам самых знаменитых американских президентов⁶. Как можно прокомментировать эти кадры? Повторить банальность,

⁵ Оригинальная попытка предпринята в сделанном как пародия на старый комикс фильме «Дик Трейси». Отрицательные персонажи одеты в соответствующие, преувеличенные маски, их фигуры утрированы. Главные герои, которых играют Уоррен Битти и Мадонна, воплощают положительное начало, а потому играют без масок. Ну, чем не деление на звезд и типажей? Все бы хорошо, но Уоррен Битти наряжен, как персонаж известного комикса, а Мадонна специально, по собственному почину, пародирует Марлен Дитрих. Следует отдать им должное — играть они умеют.

⁶ Кинематографическая саморефлексия возникает и в самый напряженный момент (вечно подкашивая зазевавшегося, развесившего уши и распахнувшего глаза зрителю: «Не стоит так переживать и мучиться. Вы смотрите кино. И все здесь всегда повторяется. Будьте проще»). В фильме режиссера Д. Бэдхера «Напролом» (США, 1991) в схватку с бандитом-маньяком вступает киноактер, причем герой ползет по громадной макету собственной головы, в качестве рекламы сигарет прикрепленной на верхотуре небоскреба. Это самый смешной эпизод фильма, пусть тот и не удался: он не похож на кинокомедию.

что при всех различиях культур и кинематографической специфики разных стран встречаются совпадения? Вспомним хотя бы знаменитые профили, высеченные на сопках в наших холодных краях,— грандиозные плоды не художества, а мании величия.

А может, стоит поменьше рассуждать. Лучше перечитать олейниковские стихи.

В траве жуки проводят время в занимательной беседе.
Спешит кузнечик на своем велосипеде.
Запутавшись в строении цветка,
Бежит по венчику ничтожная мурашка.
Бежит, бежит... Я вижу резвость эту, и меня берет тоска,
Мне тяжко!

Пожалуй, если бы великий Альфред Хичкок осенял своим именем не только бесконечные антологии жутких историй и детективных повестей, а составил хотя бы одну антологию поэтической, эти стихи заняли бы там серьезное место.

О всеведении критика, о драме «Лодка» и о бесконечной битве русских с кабардинцами

Нея ЗОРКАЯ. ФОЛЬКЛОР. ЛУБОК. ЭКРАН. М., «Искусство», 1994.

Один разбойник все уходил из тюрьмы. Как ни закрючат двери, сколь ни наложат засовов и припрут тяжелыми железками, он ускользает. То снимет кандалы разрыв-травой, то разрушит ею замки. А то и просто взял трубку, закурил и напустил дыма столько, что у караула потекли слезы. А когда протерли глаза — и решетки целы, и двери заперты, а разбойника нет⁷.

Постарались, поймали его еще раз. Кажется, уж знают все возможные ухищрения, ждут наготове. А разбойник сидит, думает тяжкую думу. Пораскинул мозгами и вдруг ни с того ни с сего решил устроить представление.

Разостлал на полу кафтан, взял в руку уголек. Кому какой вред? Так и отвечают охранники на его вопросы — что кафтан и есть кафтан, уголек и есть уголек. Не более того. А разбойник продолжает, провел угольком извилистые линии по растеленному кафтану. Спрашивает: что я сделал? Углем кафтан напачкал — отвечают ему.

«— Вот то-то нет, на этот раз не хватило инструмента — не догадались. Это я провел в острог реку Волгу».

Разбойник угольком начертил еще одну линию и снова спросил, что он сделал. Опять испачкал кафтан, ответили ему.

«— Тоже не хватило инструмента. Это я сделал лодку.

Затем разбойник уселся.

— Верно, вы и теперь видите, что я сделал.

— Как не видеть!

— А что же я сделал?

— Сел на кафтан.

— Зевайте, ребята. Это я сел в лодку. Теперь смотрите, пушусь кататься по Волге; будьте здоровы, не поминайте лихом.

Взялся за ухо да как затянет во всю глотку:

Вниз по матушке, по Волге...
По широкому раздолью...

Откуда ни возьмись волны так и хлещут, лодка летит стрелой, а разбойник загибает песню; все остолбенели: как выехал он из острога — никто не понимает, и броситься за ним в реку не смеют, а он себе и поплыл, и скрылся из виду».

Я столь подробно процитировал народную драму «Лодка» не просто потому, что она много имеет общего с кинематографом. А и затем, чтобы напомнить киноведу: стыдно быть категоричным, есть вещи нам неизвестные, и таких вещей огромное количество. Например, Н. Зоркая утверждает, что самые ранние записи «Лодки» относятся к 1870 годам, я же цитирую текст, относящийся к годам 1840-м.

Вразумишь ли критика? Он считает себя в душе единственным специалистом в своей области, это дает ему чувство превосходства и порождает возможность причудливо шутить — он-то понимает, что говорит.

⁷ Люди сведущие сразу узнают в этой табачной дымке балаганный дым, которым любители украшать разные панорамы и представления. А кто присмотрится внимательней, увидит и тот дымок, что всегда вьется, как ни старайся, кружится в луче кинопроекторного аппарата, прокладывающем дорожку через зал. У кино давние истоки, в том числе и в народной драме.

Иногда шутки безвкусны или глуповаты, но — ох, уж кино! Сколько смыслов, не три, а тридцать три отыщешь в замкнутом наглухо и, напомним, странно пустом пространстве⁸.

Мне бы не хотелось выискивать ошибки в этой любопытной книге, пусть ошибок и оговорок не счесть. Автор утверждает бесспорные положения, подкрепляя сказанное очень спорными аргументами. Разумеется, кинематограф произошел из балагана (взять хотя бы превращение предметов. В «Лодке» из раскинутой по полу одежды, проведенной угольком черты рождаются река и сама лодка). Да, старые сюжетные схемы повторяются, но повторяются они чаще, чем о том знают исследователи.

Вот знаменитая книга Николая Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», о которой подробно написано в монографии. Напрасно Н. Зоркая заявляет, что «прямых послеоктябрьских продолжений или подражений тема «Битвы...» не имела, просто ей не встретился рассказ Вс. Иванова «Пустыня Тууб-Коя». Здесь тема травестирована: женщина, любовница белого генерала, в руках красных, из них некоторые кавказцы. Чтобы спастись, она предлагает вожделеющим солдатам бежать вместе с ней, сулит любовь, а по дороге хладнокровно убивает одного за другим. Кстати, в архиве писателя существует вариант того же рассказа, названный «Кавказский пленник»⁹.

Столь же абсурдно утверждение, будто кино обладает международным языком, его везде понимают. Понимают, но по-разному, иначе не было бы перемонтажа в расчете на разное культурное восприятие. Виктор Борисович Шкловский писал, как перемонтировали иностранные фильмы для революционной России. Что уж там — сменить титры на противоположные! Меняли сюжеты, используя ножницы лучше заправского портняжки, исправляли смысл и форму неудачной, по мнению прокатчиков, ленты.

Первое место, как вспоминал Шкловский, принадлежало одному из братьев Васильевых. По новому сюжету герой должен был умереть, а он все существовал, жил, со вкусом широко зевал. Тут режиссер остановил кадр — человек с раскрытым ртом — и сделал подпись «Смерть от разрыва сердца».

Я не хочу далее ловить критика на мелочах. Неприятен выбранный тон изложения, чуть слащавый, чуть наставительный. Неприятно, что критик недооценивает старые советские фильмы «Трембиту», «Свадьбу в Малиновке» (справедливости ради отмечу: в статье, опубликованной позднее в «Искусстве кино», акценты расставлены иначе).

Интересный материал, широкие обобщения напрасны. Решая главный вопрос, что такое фольклоризм и каково его значение в современной культуре, автор пользуется чужими утверждениями и лишен какого-либо личного отношения к предмету исследования, кроме любопытства исследователя. «Фольклоризм — социально детерминированный эволюционный процесс адаптации, репродукции и трансформации фольклора в условиях, отличающихся от тех, в которых развивался и бытовал традиционный фольклор», — утверждение безупречно верное. Тем не менее холодные слова остаются холодными словами, ни к жизни, ни к искусству они отношения не имеют.

А что если предположить: миф разрешает противоречия жизни, фольклоризм, заменивший миф для тонкого слоя повседневного сознания, противоречий жизни попросту не замечает, обращает их в данность, о которой не следует задумываться.

Вспомним «Свадьбу в Малиновке». Красный командир, разноцветные, пестрые бандиты, очаровательный мерзавец Попандопуло. Так разыграна гражданская война. Представляя, как бы эта история произошла на самом деле, не стоит. Кто кого бы зарыл живьем в землю, посеял шапками, искрошил из пулеметов. Прецедент восприятия делается прецедентом отношения, облегчается сердце, смягчается душа, уходя от классовых противоречий и указующих формулировок учебников. Мы были бы другими, не посмотри в свое время «Свадьбу в Малиновке», невеликий фильм, однако что-то изменивший в нашем ощущении прошлого и настоящего. Мы были бы другими, отсутствуй фольклоризм, безоценочность его.

Или иной пример. Существует современная реальность, превращающаяся в миф: последствия афганской войны, потерянные и озлобленные люди. Существуют

⁸ Проводя излюбленные ныне опросы, киноведа, кажется, только и делают, что шутят, выказывая свой высокий интеллект. Один по разделу лучший фильм в жанре «хоррор» назвал «Великого гражданина» Ф. Эрмлера и «Клятву» М. Чиаурели. А другой предложил в лучшие актрисы мирового кино Эйко Мацуца, исполнившую главную роль в «Империи чувств» Н. Осимы. Кто смотрел фильм, помнит, вся ее игра сводилась к непрерывному подлинному половому акту перед кинокамерой. Хотя, может быть, стоит взглянуть пристальней — и Эйко Мацуца действительно идеальная актриса-кукла.

⁹ Можно предположить, что круг завершился, тема себя исчерпала полностью, однако появился новый фильм С. Бодрова о «кавказском пленнике» и том повестей А. Битова с тем же названием. Где уж тут быть категоричным?

солдаты, оставшиеся на чужой стороне, в плену, а потом ассимилировавшиеся, сменившие родину. Если оценивать такие явления, соизмеряя с жесткой конструкцией мифа, неизбежны и ненависть, и вечные проклятия.

А что же в лубочной повести о войне между русскими и кабардинцами? Там примирение сторон, там все правы. И князь Узбек, бывший враг русских, и покорившиеся кабардинцы, и красавица Селима, ставшая по крещении Софьей, но прощенная отцом за отказ от родной религии. Узбек прощает даже убийство есаулом Победоносцевым собственного сына, ибо поединок проходил честно. Здесь разлита атмосфера утишения, какой-то будущей правоты. Вместо непреложных мифологических оппозиций — утихомиривание, прощение. Может быть, фольклоризм затем и явился в культуре? А нам нужно утихомириться?

Главная слабость книги в том, что автор забывает о кинематографической специфике. Кино из единичного случая рождает обобщение, метафору — такова его природа. Но уход в исторические изыскания мешает увидеть в предмете или явлении возможные смыслы. Ах, клубится дым, вечная принадлежность балаганной феерии! А вдруг мы смотрим не балаганный спектакль, а репортаж из Югославии? Ах, опыты Л. Кулешова, умиляется критик, — соединение памятника Гоголю на Пречистенском бульваре и здания Капитолия в Вашингтоне. Какой смелый монтаж! Представьте между этими двумя точками пространства летящую ракету. Мы живем в двадцатом веке, мы живем в веке кино. Киноявления многозначны. Кино исчерпывает возможные варианты полностью. И наличие кино также заставляет иначе смотреть на прочие искусства.

Прослушаем заново марш из той же лубочной книги, марш, исполняемый хором и столь подходящий для русской истории. Он звучит, то оттеняя события, то высмеивая их, то с ними соединяясь. Он по-своему кинематографичен, хотя по видимости в нем лишь простенькие, почти ничего не значащие слова.

Кабардинцев победивши,
Мы в обратный путь идем,
Их ручьями кровь проливши,
Сладостной награды ждем.

Что наш царь благословенный
Обратит небесный взгляд
На венки, из лавр сплетенный,
К нам пролетят дары отрад.

Торжествуй, наш православный,
Небесам любезный царь!
Мы свершили подвиг славный:
Славься, славься, государь!

Пускай враг тебя трепещет,
Чтет тебя и твой закон;
Удивленья взоры мечет,
Что поправн тобою он!

И всегда поправн он будет,
Коль владеешь нами ты!
Твоей славы не забудет...
И оставит все мечты.

Опираясь на книги, я хотел написать об искусстве, далеко от словесности. Чтобы облегчить задачу, я представил кинематограф как бы «в лицах». Режиссер, сценарист, актеры, критик. В силу разных причин я не написал о последней, самой высокой кинематографической инстанции. О кинохранилищах, где на полках рядом лежат коробки с фильмами гениальными и посредственными, интересными и скучными, популярными и позабытыми. Чем чаще снимают фильм с полки, тем счастливее его судьба. Следовательно, он нужен. Ведь при полной замкнутости кинематограф накрепко связан с текущим временем. Куда крепче иных искусств.



Вячеслав КУРИЦЫН

Любите сохранять добро

Меня пригласили выступить перед первокурсниками Литературного института, рассказать что-нибудь про постмодернизм. Студентов на мякине не проведешь: на протяжении всего мероприятия аудитория задавала мне всяческого жару. Одни попрекали меня тем, что трактористу не нужно то, что я тут говорю (именно в таких терминах: трактористу не нужно; приятно было слышать это в Литинституте осенью девяносто пятого года). Другие — группа припанкованных, как мне, близорукому, показалось, молодых людей — скандировали что-то вроде: «Всех вас пора на свалку истории». Среди последних особо выделялась презрением к гостю девушка, сидевшая то ли в летном шлеме, то ли в шапке-ушанке.

В январе этого года я увидел эту девушку во дворе Дома Ростовых, в галдящей толпе, отправляющейся в Ярославль на совещание молодых писателей. Было очень шумно, отдельных семинаристов провожали папы и мамы, несли их картонные чемоданы, совали свертки с пирожками, словно перед отправкой в пионерский лагерь. Истреблявшая меня девушка стояла одна в сторонке и внимательно смотрела на дерево. Как, соответственно, Наташа Ростова на первом балу. Конечно, она оказалась на семинаре, которым я руководил. Звали ее (да, в общем, и сейчас зовут) Светлана Богданова. Сочинения ее, как уже нетрудно догадаться, мне особо понравились.

Только что у Светланы Богдановой вышла книжка с несколько, на мой вкус, вампирическим названием «Предвкушение» — правильная малотиражная книжка без указания издательства, — и именно этим поводом я воспользуюсь, чтобы рассказать вам о Светиных текстах.

Нынче модно любить жизнь и мир. Удивляться и восхищаться жизни и миру. Тот самый постмодернизм, который любит ниспровергать Светлана Богданова, истончил вещи и жесты до просвечивающей виртуальности: мир-симуляция колыхается на самом краю восприятия, которое тоже кажется вещью, вполне отдельной от человека. На краю мира и на краю тела материальные формы начинают колотиться с удивительной силой, и гибель их — такое же возможное и рядовое дело, как их компьютерное преобразование. Хочется плакать над формой чашки, геометрией дождя, насекомой букашкой и атмосферным давлением: настоящее чудо, что мы можем это воспринимать и об этом говорить.

Надо довести себя до такого состояния, чтобы из восприятия нужно было выбираться, как утопающий из черных безжалостных волн. «Я начну читать, но смысл будет лишь урывками добираться до моего сознания, и я превращусь в один напряженный болезненный орган восприятия окружающего мира. Я буду содрогаться от ветра, который пролетает над моим балконом и задевает заиндевевшие железки — остов древнего торшера, вывесившийся прямо над темной бездной газона».

Но если удается сосредоточиться на каком-то одном ощущении, тут же начнет разбегаться по сторонам сам воспринимаемый предмет. «Я буду смотреть на желтые блики, растекшиеся по черному лаку пианино, отбрасываемые зажженной в прихожей лампочкой. Буду как бы нарочно стараться отыскать в их узоре, в случайной их топографии какие-то осмысленные картины, словно бы занимаясь неким не известным никому и понятным только мне и только теперь гаданием. Однако, помимо моей воли, они заколышутся, задышут, и я удивлюсь их ритмичной пляске...»

Я отношусь к людям, любящим и немножко умеющим намазывать многие и многие километры пешком, не по полю-лесу, а по шумному грязному городу. По Москве, когда-то по Свердловску, по какому-нибудь городу импортного происхождения. Город, еле видный, замыкает периферию зрения, но иногда, на каком-нибудь перекрестке или у какой-нибудь особо фактурной, особо обшарпанной и особо кирпичной стены, он бросается к тебе, как верный пес, и колышетесь, и дышит, и я, как было сказано, удивляюсь каскаду этих ритмичных плясок.

Но человек навязывает всякой ситуации этику, которая, конечно, там и не нечвала. Какой еще верный пес? «Мой друг Нью-Йорк», — пишет Эдичка. Шиш он ему друг. Городам и вещам на нас наплевать. Нежно-трепетно любить детские игрушки, бытовые диковинки и прочие прекрасные мелочи, как и город, как и прикроватную тумбочку, заставленную не только у Бродского, но и у многих других кремляни и манхэттенами склянок и пузырьков, любить все это хозяйство приходится безвозмездно. «Прислушайтесь утром к бодрящему хрусту корнфлекса. Золотистые, как буратинские монеты, хлопья отправляются в ваш влажный, горячий, разнеженный после сна рот и будят его грубыми своими прикосновениями, и коробят нежные розовые десны, и заставляют работать ставшие бесполезными за ночь зубы, и все ваше тело звенит и щелкает, отдаваясь мучительному процессу пробуждения», — но этим хлопьям нет дела до тела, которое щелкает и звенит. Тело открывается миру, рвется в него, калечится, чтобы стать ближе звукам и запахам — хотя бы так: «я скорее всего порежусь. Пусть, ведь я так люблю жизнь, правда?»

Человек заговаривает жизнь, он ее любит и думает: а вдруг жизнь тоже окажется живой и способной к ответной любви?

Тексты Светланы Богдановой мне кажутся похожими на тексты Андрея Левкина, большого мастера описывать какую-нибудь арматуру и процесс горения электрической лампочки. Только Богданова более пафосна, открыта, взволнованна и романтична. «Онемевшим от боли лбом вы бьетесь о дисплей, куда-то проваливаясь. Открыв глаза, вы обнаруживаете, что лежите ничком в траве, и над вами какие-то звонкие летние насекомые поют свои серебристые песни». Слишком детский, кажется, слишком наивный мотив прорыва в очарованное Там — только теперь человека от этого Там отделяет компьютерный экран, который, понятно, с этим же Там его и соединяет.

Эту историю — не очень ловкую обычно в современной словесности тягу к «прорывам» — можно рассмотреть чуть подробнее.

Трогательное внимание к корнфлексам и прочей картонной и фарфоровой мелюзге — совершенно типичный постмодернистский эффект защиты вещей, сильно покалеченных авангардной волей к горячечному переделыванию мира. Такие же мягкие следы заметны на зеркале, на том самом зеркале, что именно авангардистами и символистами было окончательно превращено в символ пошлой глубокомысленности («Друг друга отражают зеркала, взаимно умножая отраженья...»). Замкнулся мрачный ряд двойников и выходящих из зеркал отражений, вся эта симметричная мифология *совпадений или антисовпадений*, будто именно в совпадении обнаруживается «глубокий смысл». Вера в институт совпадения и позволяет переделывать мир, чтобы он больше и лучше совпадал с истиной, с замыслом, с помыслом.

Набоков, вопреки инсинуациям, зеркал не любил. В зеркала и совпадения верит только один его герой, рассказчик «Отчаяния», слабый художник и убийца. У Набокова все зеркала неправильные — и с искажениями, с сюрпризами, с обманкой, фальшзеркала. Это неуважение к символической глубокомысленной зеркальности доплелось и до нас. Светлана Богданова: «Мимо зеркала пройду, не заглянув в него. Что я по сравнению с этим? Думать о себе кажется смешным». Смешно спрямлять оптику — до пары «отражаемое — отражающее». «Я чувствую, как шевелятся книги, стоящие на полках, как скрежещут шершавые их переплеты, как свистят шелковые их страницы, как шуршат в них бессмысленные свинцовые знаки. Я представлю их тайны, чудеса и тяжесть и удивюсь легкости и эфемерности этих знаний. Руки мои сами тихо сомкнут половинки обложки, склеят набрякшие листы, пустой, скучный, почти прозрачный параллелепипед, напоминающий труп, скелет, тень, скользнет на пышущий свежестью и ореховой силой паркет».

Светлана Богданова, судя по ее прозе, тоже относится к людям, любящим часами — годами — ходить по городу. На Арбате «огромный черный тряпичный паук сладострастно навис над послушным женским бельем». Видимо, это витрина. На Полянке — «Когдамотришь на неумолимо поднимающийся с горделивым башням мост, то ощущаешь вызывающий блеф панорамы и перестаешь различать шероховатости асфальтовых хрящей под ногами»...

В определенных ментальных ситуациях путник — это я снова включаю свой опыт — способен так ахнуть московским блефующим панорамам, такой разворот пространства, такой плотный ватман на месте неба, что хочется свалиться на брусчатку и удариться лбом оземь в знак преданности — да хотя бы великому государству.

Но блуждающий по улицам, вопреки равномерной постмодернистской приветливости, заражается вирусом бунта. Он его выхаживает своими ногами, как можно вылепить своими руками из глины то, что принято лепить руками из глины. Он, слипаясь с ненадежной, придуманной этикой города, противостоит другим человеческим особям, в нем внутри — в печени, в аорте, в сердце, путаясь в диафрагмах и в альвеолах,— начинает жужжать черная звездочка романтизма.

Счастье сознания, выставленного на край тела, чревато возвращением в память, в которой, увы, дела обстоят не так новогодне-празднично, как в жизни-на-последнем-дыхании.

Я мечтаю, чтобы кто-нибудь из наших нынешних сочинителей, умеющих жить и видеть на краях тела (те же Левкин и Богданова, Александр Верников), сочинил наивно-романтический бестселлер для подростков — в ряд Хемингуэя, Сэлинджера, Лимонова, Ирвина Уэлша. Книгу, в которой человек, уставший от постмодернизма с его тягой к комфорту и конформизму, мог бы снова посылать всех нас к чертям собачьим, как это получалось у Эдички и, скажем, Гарри Галлера. А потом бы он сломался на своем бунте, но доброжелательно-безразличное общество не дало бы ему пасть, вернуло бы к жизни и к тихим домашним ценностям. Но пусть он немного побунтует. В конце концов мы свое дело сделали, мы десять лет были лояльны к власти, мы помогли этим летом победить демократии, мы с благодарностью встретили новый грубый класс, поделивший страну и теперь уже за нее отвечающий. Пора в катакомбы, пора снова начать презирать сильных мира сего. Сам я как человек слабый и ленивый бунтовать не хочу, но вовсе не прочь, если бы этим занялся кто-нибудь из моих друзей.

Не думаю, что представления упомянутых писателей о своем предназначении должны совпадать с моими, тем более что стремление истончать телесность не способствует творческой и социальной активности: слишком интересно общаться со своим телом и сознанием, не отвлекаясь на корриду и писанину.

Тринадцать тысяч брызг пройдут сквозь блестящую череду фотокарточек, запечатлевших разбитую каплю молока.

Ее корона будет опадать мучительно долго. И здесь нечего будет делать литературе.



Отклик

ДМИТРИЙ БЫКОВ. ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. Книга стихов. М., РИФ-«РОЙ», 1996.

Смерть придет, у нее
будут твои глаза.

Чезаре Павезе — Иосиф Бродский

Композиция третьего сборника стихов Дмитрия Быкова «Военный переворот» подчеркнута стройна и гармонична, решительной авторской рукой приведена в строгое равновесие: книга открывается и завершается *маленькой поэмой* («Черная речка» и «Военный переворот»), два цикла — «Старые стихи» и «Новые стихи» — обрамляют сердцевину, состоящую из четырех поэм («Элегия на смерть Василья Львовича», «Поэма повтора», «Поэма отъезда», «Памяти Николая Дмоховского»). Драмам и радостям ранней юности, о которых рассказано в первом цикле, отвечают трагедии и восторги обретаемой зрелости, которая выявляет себя во втором. Любопытно, что вслед за каждым «старым» стихотворением автор неизменно указывает дату написания, но ни одно «новое» датой не помечено. Значит, автор воспринимает сборник как серьезный итог не только своего поэтического, но и экзистенциального становления.

Не сомневаюсь, что четкость, выверенность и «округлость» построения призваны оттенить — по контрасту — драматичность и противоречивость, расколотость и угловатость образа лирического героя и его идейно-эмоциональных устремлений.

«Военный переворот» можно было бы понять как постмодернистскую игру в романтизм, как романтическую стилизацию, если бы автор не был так серьезен, так горестно, страстно серьезен. Поэтическую книгу с такой открытостью, незащищенностью чувства давно встречать не приходилось.

С бесстрашной прямоотой и даже торжественностью автор говорит о том, о чем человеку нашей ироничной и подмигивающей эпохи говорить без ужимки, без насмешки как бы даже и не пристало, — о мучениях любви, о страхе смерти и ужасе жизни. Поэт не скрывает ни искренних слез, ни возвышенного тона, ни трогательно-молодой, наивно-беззащитной жажды сочувствия и сопереживания:

Я не был в жизни! счастлив! ни минуты!
Я в польмя кидался из огня!
На двадцать лет усталости и смуты
Найдется ль час покоя у меня?

Конечно, обыгрываются «вообще»-романтические мотивы («в душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит»), а точнее сказать, как мне кажется, — романтические мотивы юного Аполлона Григорьева. Вот если бы «Григорьев» с детства воспитывался не только на Лермонтове, но и на Бродском...

«Печать проклятья иль избранья» совершенно открыто наложена автором на возвышенное чело лирического героя:

Участь избранника — травля, как ни печально.
Нам же она предназначена изначально.

Трагическое избранничество питает и гордость юного героя, и надрывное, бесконечное чувство вины. Поэт-избранник самим Богом призван принять в сердце боль мирового порядка (беспорядка), понять и оплакать суетливый маскарад повседневности, страдать за себя и за ближних, но... но именно поэтому он виноват, виноват перед этими самыми ближними, которым, видите ли, некогда страдать и слать проклятия или благословения своей судьбе — они «делом заняты»:

Здесь ходят за хлебом, выгуливают собак,
Стирают белье, глядят, как играют дети,
Готовят обед — а те, кто живет не так,
Живут не так, как следует жить на свете.

Лирический герой живет «не так», но иначе не может и не хочет, ибо «Что-нибудь следует делать со смертью — Ибо превысили всякую смету Траты на то, чтоб не думать о ней».

Мысли автора и чувства лирического героя неостановимо вращаются вокруг смерти, стремясь понять и примириться, не в силах примириться и понять. Образы смерти многочисленны, но ни на одном невозможно остановиться, приняв его за окончательный: смерть — это «отвердевание жизни», это ужас от «убывания в мире меня», это трагическое (но и просветляющее?) задание «Не любя, не зоя, не жалея, не плача, Под конец научиться не быть вообще», это минутное облегчение от надежды, что за жизнью откроется «пустой простор — обещанье всего и вся», это мгновенная отчаянная радость, что за гробом кончится

Этот мир с его непрерывным бредом,
Мир больниц, казарм, палачьих утех,
Голодовок, выправок, маршировок,
Ледяных троллейбусных остановок —
Это тоже пытка, не хуже тех...

При столь остро заявленном следовании романтической традиции неожиданной оказывается полная безволиесть лирического «я». Все волюнтаристские, бунтарские пути преодоления смерти для героя закрыты, ибо безволие его принципиально и переходит даже в «Похвалу бездействию». Вмешиваться в жизнь герой не просто не хочет, но считает недопустимым:

Мы подошли к чумному аду,
Где, попирая естество,
Сопротивление распаду
Катализирует его.

Почему, собственно?

Можно было бы предположить, что жизни герой боится не меньше, чем смерти, что жизнь кажется ему предрешенной, а тем самым оконченной, но в книге наряду — и в противоречии — со страстно заявленным ужасом существования звучит и мотив радости жизни. Можно даже сказать — *карамазовской* радости, радости «клеящих листочков», безоглядно-страстной, когда жизнь любима «прежде смысла ее»:

А все-таки — выпьем за вечер,
родной, городской, на Тверской,
Который, по счастью, не вечен,
поскольку настанет другой,
За первые майские грозы
в сверкании капель и глаз,
За наши небывшие слезы!
За зло, миновавшее нас!
За листья! за крик воробьиный!
За круговращенье планет!
За этот вишневый, рябиновый,
каштаный, сиреневый цвет...

Впрочем, вспышки радости, как и черные молнии отчаяния, только прорезают — в понимании лирического героя — безнадежную пустоту, в которой события не складываются в действие, пусть мучительное, но последовательное и осмысленное. «Поэма повтора» наиболее отчетливо запечатлевает эту метафизическую коллизию книги: жизнь и смерть уравниваются то ли в бессмыслице, то ли в невозможности прорваться к смыслу. «Поэма повтора» — это своего рода «Шагреневая кожа» наоборот: герой поэмы обнаруживает в своей сегодняшней жизни совпадения с событиями прошедших дней («Там было все, что он считал важнейшим...»), былые радости и горести возвращаются, и герой решает, что череда совпадений имеет предусмотренный Судьбой (Высшими Силами, Тайной бытия...) глубокий и трагический смысл. Ужасаясь необходимости заплатить жизнью за обретение смысла жизни, он готов погибнуть ради того, чтобы в последнюю минуту, когда заветная череда повторов исчерпается, понять: ради чего же все это было? Но вот повторы исчерпываются — и что же? Обманули и жизнь, и смерть, и повторенья — смысл и замысел так и не открылись:

Чего боялся ты, герой?
О чем душа твоя кричала?
Жизнь, описавши круг второй,
Пошла по третьему, сначала.

Надо понимать, пойдет и по четвертому с тем же успехом или неуспехом.

Осмысленность и последовательность существованию может придать только любовь. Но разделенной, счастливой, верной, вечной любви лирический герой так и не встретит, ее вообще не может быть, как утверждает автор, в нашу переходную эпоху, в нашей страдающей отчизне. Сплетение темы любовного страдания с темой (как бы даже гражданской?) трагедии Времени и Родины — постоянный поэтический прием автора: мучаясь невозможностью помочь любимой, герой неизменно вспоминает, что ведь и «Русь моя — жена моя!».

Так и брожу. А вокруг, погружаясь во тьму,
Воет отчизна — в разоре, в позоре, в болезни.
Чем мне помочь тебе, чем? Повтори, не пойму!
И разбираю: исчезни, исчезни, исчезни.

В сущности, именно невоплощенностью любви обусловлены в поэтическом мире книги и ужасы жизни, и призрак «военного переворота», и обжигающая ледяным дыханием смерть. И лирический герой, и сам автор словно говорят, перефразируя Павезе — Бродского: «Любовь уходит, *ты* уходишь, и тогда у смерти я вижу твои глаза».

Елена ИВАНИЦКАЯ



В содержании по вине типографии неверно дано имя автора. Следует читать Александр ЭТКИНД.

*Уважаемые читатели,
жители Москвы и Подмосковья!*

Если Вы почему-либо не успели оформить подписку на «Октябрь» на 1997 год, то можете это сделать до 20 января 1997 года непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) с 12 до 18 часов в любой день, кроме субботы и воскресенья. К тому же по льготной цене — 12 500 рублей за номер. В редакции также можно заказать очередной номер журнала. Получать журналы Вы будете у нас.

Телефон для справок: 214-31-23

О ЧЕМ ТУТ ДУМАТЬ? ВЫПИСЫВАЙ И ЧИТАЙ



Индексы: для подписчиков Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей: 32428 — ежедневный «Труд», включая выпуск «Труд-7», и 34265 — только пятничный выпуск «Труд-7». Для остальных регионов: 50130 — на ежедневный выпуск и 32068 — на выпуск «Труд-7».